1 р. 50 к.



ИНДЕКС 73274

ЧИТАЙТЕ В БЛИЖАЙШИХ НОМЕРАХ:

книгу русского философа Ивана ИЛЬИНА
**"Поющее сердце";**

воспоминания Евгения ЧИРИКОВА,
близкого друга А. Чехова и А. Куприна,
русского писателя, оклеветанного "желтой прессой"
начала XX века,
**"На путях жизни и творчества";**

статьи Зинаиды ШАХОВСКОЙ;

автобиографическую повесть отца Дмитрия ДУДКО
**"Проповедь через позор"**
(свидетельство православного священника,
прошедшего через унижения властей и брежневские лагеря);

роман Николая КОНЯЕВА
**"Гавдарея";**

стихи Элиды ДУБРОВИНОЙ, Виктора КОЧЕТКОВА,
Станислава КУНЯЕВА, Виктора ЛАПШИНА, Николая ТРЯПКИНА;

статью Дмитрия БАЛАШОВА
о национальных проблемах в нашей стране;

*материалы новой рубрики*
***"Летопись России: история в лицах";***

серию статей о современном катастрофическом сознании.

Наш современник, 1991, № 5, 1–192.

НАШ СОВРЕМЕННИК

№5 1991

ISSN 0027-8238

# НАШ СОВРЕМЕННИК

*Журнал писателей России*



## №5 1991

АРМИИ НАШЕГО ОТЕЧЕСТВА
ПОСВЯЩАЕТСЯ ЭТОТ НОМЕР

**На снимке:** командир мотострелковой роты старший лейтенант А. Афанасьев.

Фото В. Хабарова.

# НАШ СОВРЕМЕННИК



ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ
РСФСР

## №5 1991





ИПО
СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ
СССР
МОСКВА

## *Содержание*




Технический редактор **Л. Л. Ежова** Корректоры **М. И. Кононова, Л. Н. Тихонова**

Адрес редакции: 103750, ГСП, Москва, Цветной бульвар, 30 Телефоны: 200-24-24 (главный редактор), 200-24-83, 928-32-16 (заместители главного редактора), 200-24-94 (ответственный секретарь), 921-48-71, 200-23-05 (отдел прозы), 200-23-07 (отдел поэзии), 200-24-28 (отдел очерка и публицистики), 200-24-70 (отдел критики), 200-24-76 (отдел писем, корректоры), 921-43-59, 200-24-32 (бюро проверки, технический редактор), 200-24-12 (зав. редакцией)

Сдано в набор 13.02.91 г Подписано к печати 12.05.91
Формат 70×100[1]/[16]. Бумагв типографская № 2. Печать высокая.
Усл. печ. л. 16,8. Усл. кр.-отт. 17,24. Уч.-изд. л. 19,21. Тираж 276800 экз. Заказ 427

ИПО Союза писателей СССР, 103750, Москвв, Цветиой бульвар, 30.
Ордеиа «Знак Почета» типография «Красиая звезда»,
123826, Москва, Хорошевсиое шоссе, 38.








**КАРЕМ РАШ**



# ДЕРЗАЙТЕ, РОССЫ!

Накануне февраля 1917 года Россия оказалась единственной в истории человечества страной, у которой не было ни одной здоровой, общенациональной и сильной правой партии. Даже упитанные кадеты были левым центром. Они метнулись в белое движение только тогда, когда их бывшие союзники — социал-демократы стали ставить их к стенке. Нет ни одной партии, у которой не было бы лавых, правых и центра. Но чтобы не путаться в трех соснах, надо всегда помнить о масштабах. Есть неразбериха мелких партий, но есть мировой политический процесс. Мы держава мировая, а потому должны выверять партии и движения не по кочке межрегиональной или иной, а по мировой шкале. По общемировому табелю все коммунисты и весь социалистический интернационал при всей пестроте спектра есть левое движение в мире. На земле по этой шкале нет ни одного правого коммуниста. И Полозков, и Горбачев, и недавние члены КПСС — Попов, Травкин, Станкевич — это всё левые. Горбачев и Миттеран — это левый центр. Как, скажем, Буш, Коль или Тэтчер — это правый центр.

В 1917 году государственный корабль не мог не перевернуться, когда все партии броснлись к левому борту.

Страна, в которой почти все партии одержимы перестроечно-реформаторским зудом, обречена на смуту. И вряд ли какой-либо умный бизнесмен вложит деньги в страну, где для взаимоупора, порядка и силы нет ни одной созидательно-правой партии. Будем помнить, что за последние сто лет левые ни одному народу в мире не принесли счастья. Даже фашистская национал-социалистическая рабочая партия выползла из левого социалистического движения. На каком фланге ГУЛАГ и на каком Освенцим — справа он у них или слева, — пусть решают сами левые. Ну, допустим, на конгрессе социалистического интернационала. Но это не значит, что в лавом движении не было и нет людей, одержимых благородными стремлениями. Отнюдь. Наше левое движение в XIX веке вобрало в себя почти все самое подвижническое, что дала Россия. Но есть один закон, который не должен быть никогда нарушаем в нашей стране при любой политической перепалке. И закон этот касается нашего воинства.

В России можно освящать частную соб-

---

РАШ Карем Багирович родился в 1936 году в курдском селе Акко в Армении. Учился в Ленинградском университете на факультетах востоковедения и журналистики. Автор книг «Лето на перешейке», «Сибиряки против СС», «Кто сеет хлеб, тот сеет правду», «Парад» и других, а также ряда статей и очерков. Член Союза писателей СССР. Живет в Москве.

ственность, внедрять парламентаризм, митинговать, но единственное, чего нельзя делать в России (как показали события с февраля 1917 года), — это никогда не трогать армию, а тем более шельмовать ее, хихикать, ёрничать по ее поводу. В России это занятие самоубийц. Гибель миллионов невинных в 1918, 1923, 1933, 1937-м и т. д. началась с сознательного унижения офицерского корпуса.

Второй главный исторический урок, который мы должны усвоить в преддверии нового тысячелетия, — это нерушимость святых уз русских, белорусов и украинцев как гарантов державы. Они не русскоязычные, как неуместно и глумливо острит печать, они после 1812, 1933, 1945-го и после Чернобыля уже не мало-, бело- или великороссы, а правороссы.

В Германии есть земли, которые имели тысячелетние свои династии, даже веру разную (баварцы — католики, пруссаки — протестанты), но считают себя германцами и живут в прекрасной федерации. А здесь и вера одна, и судьба одна, и языки одного корня, — здесь ли не быть братству?!

Где, в какое время и на каком поприще с наибольшей силой, выразительностью и жертвенностью проявилось русское товарищество трех народов-братьев? Воплотилось это в создании на рубежах первой в мире не наемной, не феодальной и не рекрутской армии — а подлинно всенародной армии в лице казачества. Казачество — главный творческий подвиг народа в веках. Если китайцы для защиты рубежей воздвигли Великую китайскую стену, то русский, украинский и белорусский народы создали Великую православную казацкую стену. Этот грандиозный живой вал заслонил праворосcов, протянулся от Японского моря до Черного и от Дуная до Амура.

Россия встретила октябрьский переворот одиннадцатью казачьими войсками. История не знает случая, чтобы Дон воевал с Сечью при любом столкновении держав. Об этом-то русском товариществе и пророчествовал Тарас Бульба. Белорусы выдвинули на рубежи «панцирных бояр» (этих несгибаемых крестьян позже переселили в XVIII веке в Сибирь). Россия провела с Турцией больше десяти кровопролитных войн. Но при всей военной мощи и ресурсах русским солдатам ни разу после Олега не довелось драться ни под стенами Константинополя, ни в самом городе. А вот объединенный флот Дона и Сечи задолго до Петра не только разгромил наголову линейный флот Оттоманской империи, но донцы и запорожцы не раз наводили ужас на столицу османов и дрались на улицах Стамбула прямо под окнами султанского гарема, ибо ни моряков, ни воинов, равных православным казакам, мир не видывал. Это признавали и на Западе не раз. Когда священник читал Евангелие перед Казачьим кругом, сечевики и донцы молча и грозно вынимали из ножен наполовину шашки в знак готовности умереть за правое дело. Вы помните, как рассчитался со своим сыном Андреем Тарас Бульба за измену православию? Запад справедливо называл казачьи войска «христианскими республиками», таковыми их признавал и русский народ, в сознании которого казак был всегда олицетворением русского идеала жизни, где вольный уклад соединил без государства плуг с шашкой.

После 1812 года, когда казаки были признаны всей Европой лучшей в мире кавалерией и превзошли как кирасиров Мюрата, так и венгерских гусар, многие страны пытались создать у себя войска по образцу казачьих. Но ни у кого не получилось — ни у Англии, ни у турецкого султана Хамида, который пытался из курдов сформировать иррегулярные полки по типу казачьих войск — «хамидие». Казачество — творчество только правороссов, и повторить это не дано никому, как никому не пережить их судьбу. Вот почему тайна русской жизни и русской судьбы заключена в ее границах. Только у одного народа в мире граница дала народу жизнь, родила эпос (былины и «Слово о полку Игореве»), отлила в форме круга политический уклад. Без знания границы и сейчас ни одного шага разумного не сделать правительству.

Под стенами великого казацкого вала праворосcов тысячу лет разыгрывались самые главные битвы народа. Под этими стенами на южных рубежах России Румянцев станет Задунайским, Потемкин будет Таврическим, Долгоруков — Крымским, Суворов — Рымникским, Дибич — Забалканским, Паскевич — Эриванским, Муравьев — Карским, Семенов — Тянь-Шаньским, другой Муравьев — Амурским и самый великий русский воин после Ильи Муромца — Ермак по повелению Ивана Грозного станет князем Сибирским, и в знак утверждения княжеского достоинства ему будет послана воинская реликвия — доспех самого крупного русского полководца князя Шуйского. Сам Илья Муромец, восемьсот лет со дня смерти которого не отметила ни одна газета, потому что все, кто сыто икает, день и ночь воют о пустых полках магазинов, а баловни застоя придумали такое мерзкое словосочетание — «накормить народ», будто речь идет о беспривязном содержании скота. Они же когда-то пустили в оборот хитрую идейку, что в казаки бежали в основном беглые холопы и голытьба. Исторические свидетельства подтверждают, что первыми уходили справные крестьяне, окрепшие хозяева и часто старосты деревень — словом, те, для кого было создано позже, созидательной столыпинской порой, сильное, точное и разящее слово — КУЛАК.

Потому-то за всю историю русской живописи нет более пасквильной и неверной исторически картины, чем «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». Среди этих расхристанных люмпенов, этих типов, подсмотренных около городского кабака, нет ни одного казака. Казаки, пробегавшие на чайках и стругах от Днепра до Синопа, Варны и Стамбула через все Черное море на морских веслах, готовые по сигналу броситься на абордаж, казаки, не победимые в седлах и в рукопашной, эта лучшая в мире морская пехота на судах «река — море», пришедшая на Дон и Сечь, чтобы отомстить за полон сестер и братьев, за пожарища «русских украин», — эти казаки не только не были худосочны, тучны и брюхаты, но, выполняя работу «чемпионов мира» по гребле, они не имели ни грамма лишнего веса. Казаки — это молодежь не старше тридцати, это бойцы русского исторического «спецназа». Если юный лейтенант жил на последней войне не больше одной-двух атак, то жизнь казака была ненамного длинней. Он знал, что в случае неудачи его, как милость Божья, ждет галерная цепь. Но чаще, если живым, не приведи господь, дался врагу, неминуем кол или кипящая смола. Репинская картина (как и его «Бурлаки на Волге») — это русское искусство, оскверненное критическим прищуром на действительность. Великая казацкая стена от Японского до Черного моря — это русская «украина» на западном и восточном его флангах, и сейчас звучит древняя и певучая речь малороссов как отголосок былинной киевской поры.

На этих же украинах, за казацким валом, в русскую лексику вошло сначала слово «кавказцы» — речь идет о ермоловских офицерах отдельного кавказского русского корпуса, спасшего грузин и армян от физического истребления. Кавказцы отличались умом, отвагой и независимостью нрава. Это в их рядах сложили свои песни офицеры Лермонтов, Бестужев, Одоевский и впервые в новой истории воспевшие величие духа своих соперников. Как позже это сделает Толстой в «Хаджи-Мурате».

После слова «кавказцы» в русскую лексику пришло слово «болгары». Так называли русских солдат, дравшихся за свободу Болгарии. Двести тысяч их легло на Балканах. «Болгары» — это прежде всего офицеры Скобелева, Радецкого, Драгомирова.

После «болгар» Россия заговорила о «туркестанцах». Туркестанцем был маршал Шапошников, как и русский военный министр Куропаткин, прославившийся отвагой и умом капитан в отряде Скобелева в Болгарии. Куропаткин, уже военным министром, не позволял, чтобы хоть один офицер-«туркестанец», появившись в Петербурге, не отобедал у него дома. «Туркестанец» было словом, наполненным для них особым звучанием.

Наконец, в русском языке появилось слово «афганцы». Из-за куцей памяти своей мы предаемся стенаниям: дескать, вот жили хоть и небогато, но вполне терпимо, хоть и постанываем о пустых полках, а холодильники не пусты, — словом, жили тихо, приземленно, набивали себя мороженым мясом без постов да овощами с нитратами, боялись болезней, любили слухи, молились сертификату, и вдруг в эту застойную заводь ворвались «афганцы», презирающие «обывательские» радости, где магазин заменяет приходскую церковь, а универмаг — кафедральный собор, где целая формация, выросшая на чужой дрыг-эстраде, убеждена, что люди делятся только по возрасту (молодежь или не молодежь) или по полу — даже в обращение вошло: «мужчина», «женщина». Формация, которая все свое оскверняет, а от заграничного пускает пузыри, и «ловит» свой «кайф»-наркотик в любимом занятии дураков — осуждении порядков и в критике начальства на типовых кухнях. «Афганцы» отвергли это, как сказал бы Флоренский, «люциферическое евангелие Пайка». После горных засад, свиста пуль, взрывов мин, после перевалов, походов и тоски им не могли не показаться комичными их сограждане-несуны. Нет почти ни одного мужчины или женщины, которые не семенили бы угрюмо с сумкой в руках. У всех пакеты, портфели, сумки, авоськи, рюкзаки, кошелки. Такого не было никогда. Раньше были зонты, трости, стеки и посохи. Теперь все что-то несут. Каждый несет свой паек — от высших аппаратчиков до критикующих их телезрителей. Страна несунов. В минуты затишья на эскалаторах и в транспорте, зажав сумки, слюнявят друг друга и обжимаются — такова теперь любовь пайконосцев. Почувствовав, что «афганцы» неподкупны, смелы и принципиальны, решили их приручить, задобрить телевсхлипыванием над их горькой участью, ранами и увечьями. Даже самый покалеченный «афганец» на голову выше и счастливей любого сертификатного кооператора. То, что ведомо «афганцу», что он хранит в сердце, не купишь ни на золото, ни на маги, «Тойоты» и шашлык: их святыня — это воинское братство и верность державе.

Но вернемся к «кавказцам», «болгарам», «туркестанцам» и «афганцам». При всем различии этих слов и заключенном в них понятии всех их роднит три базовых принципа. Во-первых, все они родились на южных рубежах России, на русских «украинах» под стенами великой казацкой стены, отмеченной самой длинной в мире русской пашней от Дуная до Амура. На тех южных рубежах, лицом к которым стояло тысячу лет воинство. Второй базовый принцип — слова эти родились в столкновениях с самыми реакционными и клерикальными режимами, готовыми и грабительские мотивы драпировать дорогими простым людям религиозными идеалами.

И третий базовый принцип заключается в том, что даже злостные враги России вынуждены были признавать, когда уляжется пыль, истерика и демагогия, что действия русских в этих краях оказали прогрессивно-благотворное влияние на судьбы насельников края.

Что касается Афганистана, то надо со всей суровостью признать, что не солдаты повинны в трагедии, а политики. Если бы наши политические деятели проявили бы столько же мудрости, сколько доблести показали солдаты, то не погиб бы ни один наш солдат и ни один афганец. Мы могли и должны были ввести войска только с одной целью — не дать разгореться братоубийственной гражданской войне.

Но те политические пошляки, которые сравнивают Вьетнам с Афганистаном, оскверняют тысячелетнюю историю русского воинства. Не говоря о том, что из Вьетнама не стреляли по Америке, а из Афганистана обстреливали, и не раз, нашу территорию.

Те же пошляки умалчивают о том, что еще за три года до ввода войск Хекматияр не скрывал, что он завладеет северным Афганистаном и превратит всю нашу Среднюю Азию в одну кровавую «Фергану».

Они же умалчивают, что Зия уль-Хак хотел прибрать Афганистан и создать военный блок против СССР, включить в этот пакт Турцию, Иран, Афганистан и Пакистан и заполучить на это дело как нефтедоллары, так и американские доллары. Афганская война в историческом плане сравнима по печали, рожденным там песням, оторванности от Родины и героизму с трагическим походом князя Игоря в половецкую степь. «Слово о полку Игореве» родилось на тех же южных рубежах России, и каждый «афганец» в душе не раз воскликнул за Гиндукушем: «О, Русская земля! Уж ты за холмом». Да, она осталась за холмами. Для многих навек. Суворов сказал и о них: «Наша судьба высока». Во всех штабах мира знают, что сила любой армии — в степени идеализма солдат. Совратители же пишут о том, что нам нужна наемная армия (они, чтоб запутать, называют ее профессиональной). Хотя нет ни одной армии в мире, которая не была бы профессиональной. Непрофессиональны только партизаны. Слово «идеализм» абсолютно недостижимая категория для нашей нынешней печати, потому все их писания об армии ущербны. Наемник и подвижник смертельно несовместимы. Самое страшное, что с нами произошло, — это то, что из страны подвижников мы стали страной телезрителей. С пьяным сознанием, склонным к огулу, шараханью, повальности суждений. Достаточно одному написать, что в Америке армия наемная, как всех телезрителей охватывает эпидемия слухов, как грипп. Подстегните это из телеящика — и можете вести толпу на штурм. Никто не задумывается, что в США кроме наемной армии есть еще развитая, с традициями, национальная гвардия. Ни один телеумник не скажет им, что есть американцы, которые выступают против наемной армии, считая ее позором Америки. От нашей телехозяйки скрывают, что в Америке двадцать процентов негров, а сержантов-негров в армии — до сорока процентов, и это вызывает такие проблемы, по сравнению с которыми наши прибалтийские дела нечто вроде фестиваля. Никто не говорит сто лет как осиротевшему без учителей русскому обществу, что наемную армию могут на время позволить себе только США, отделенные от возможных противников просторами океана, или Англия, не имеющая ни с кем сухопутных границ. Почему нет наемной армии в ФРГ, Франции, Испании или даже Турции.

Успели телеинъекциями задурманить даже офицеров. Человек при нашей историко-духовной подготовке может сорок лет прослужить в армии и уволиться, так никогда и не узнав, что же такое армия, каково ее место в судьбе России и что это за институт и в какие толщи он уходит корнями.

Только человек с безродным или, как раньше сказали бы, «скорбным умом» или провокатор может предлагать стране, у которой границы полтора экватора, наемную армию.

Иные хитрые аппаратчики говорят по телемостам, что это дело будущего, дескать, мы понимаем, как мы дикарски отстали от одной обетованной страны, но пока финансы не позволяют. Дайте накормить этот славный народ.

Даже хорошо, что телеумники подкинули нам эту идейку с наемной армией. Теперь мы будем знать, что такое армия в нашем Отечестве, что мы наследуем и каковы наши задачи в мире.

Ленин как-то сказал, что придет время, и мы будем мостить золотом общественные сортиры. Если бы этот день уже наступил и мы стали бы мостить золотом солдатские сортиры и матросские гальюны (пусть меня простят ученые певцы конвертируемой валюты, что я святотатственно ставлю рядом золото и гальюн, но, по учению Фрейда, накопление капитала и золота на бессознательном уровне глубоко смыкается с удержанием фекалий. Извините еще раз — это близко к запору. Может, поэтому теперь с такими потугами надуваются эстрадные певцы. Душа, как выразил это Вознесенский, — «совмещенный санузел»), — так вот даже если будем мостить золотом гальюны, даже в этом случае не имеем права вводить наемную армию.

Это вопрос даже не нравственный, хотя на свете нет ничего выше этого. Здесь — быть или не быть. Это вопрос жизни или смерти для детей.

Сейчас по стране ходят много блаженненьких и блуждающе-мечтательно говорят друг другу, заражая вирусом слабоумия: «Вы знаете, на нас никто не соберется нападать. Вы слышали? Говорят, армия уже не нужна».

При этом Варшавский Договор рухнул, а НАТО как стояло, так и стоит. Распад Варшавского Договора не потеря, а великая крепость для нас. Лучше никаких союзников, чем тот, кто тебя ненавидит больше любого натовца. Много ли помогли немцам в войну румыны и итальянцы? Блаженненьким про разоружение мира, видимо, шепнули японцы, которые третьи в мире по вооружению. А может быть, из объединенной Германии прислали пальмовую ветвь.

Главный же враг уже триста лет одно твердит, что России не нужен Флот — им в с е м нужен, и хороший, а России че нужен, и побольше эстрады, водки, секса (кстати, когда фашисты вошли в Варшаву, они первым делом стали порнографию распространять, чтобы легче было блаженного и расслабленного втолкнуть в Освенцим. Потому порнография — форма фашизма.

Американцы могут позволить себе наемную армию, потому что располагают глубоко укорененной моралью честного договора, коммерческого соглашения, они имеют вкус и привычку к капиталу, собственности, трезвости, способности копить и передавать по наследству традиции, состояние и ценности. Американцы опираются на сильную церковь и являются самой религиозной страной в мире. Обладают развитой культурой демократии и судопроизводства. Они чтят флаг и во всех своих неудачах корят себя, а не начальство. Они знают, что плохой солдат в поражении всегда обвиняет командование, а хороший солдат винит только себя.

Мы же сидим в типовых клетушках, как жабы, день и ночь критикуем начальство, сидим на прописке, что сильней любой крепостной зависимости, имеем паек в виде зарплаты, поем чужие песни, разрушили и загадили родные церкви и кладбища, отравили почву и воду, закоптили небо и мечтаем о наемной армии, которая сразу, как и бывает у таких комбедовцев, всех осчастливит. Народ, который не уважает свою армию, будет кормить чужую армию.

Всеобщая армия — это последний наш ресурс, это единственное при одичании всеобщем, что даже при «дедовщине» делает нас единой семьей, придает даже при наших утратах единство и органичность. Вся наша держава стоит только на одном ресурсе — это два года бесплатного и бескорыстного служения мальчика. Его жизнь начинается с бескорыстного служения. Смогли ли мы ему объяснить, что, отдав два года, он стал богаче и несгибаемее. Что, отслужив, он внес в национальную сокровищницу самый большой в мире капитал — бескорыстие и идеализм. Только не стяжатель будет богат. Только подвижники способны сколачивать миллионные состояния. Когда умирал Аникий Строганов, создатель самой богатой фамилии в Европе, которая четыреста лет строила домны, церкви, фрегаты, мосты, отливала пушки, ковала оружие, возводила дворцы, больницы и богадельни, этот суровый промышленник перед смертью постригся в монахи. Они стали богаты и знатны потому, что народная вера — православие было для них выше денег. Они были богаты потому, что исповедовали принципы, что дух выше материи, идеализм выше брюха.

Все русские великие князья поступали таким же образом. Они принимали пострижение перед смертью. Великий князь — это всегда и Верховный главнокомандующий. С тех пор как существует русская армия и до сегодняшнего дня — она была и есть профессиональная армия. Авиация наша — образец профессиональной армии, в ней девяносто процентов высокоподготовленных офицеров и сложнейшая техника, которая не уступает любой авиации мира.

Сегодня мы имеем впервые в истории России главу государства, который никогда не был причастен к Вооруженным Силам. Не служило и почти все его ближайшее окружение. Рейган стал популярнейшим президентом Америки, подняв авторитет армии и сделав «вьетнамцев» гордостью Америки. До этого о «вьетнамцах» писали то, что сейчас мы имеем об «афганцах». Об их якобы потерянности, педалировали не доблесть, а пленных, не братство, а отчуждение, не преодоление инвалидности, а безвыходность. Это не значит, что нет негатива в жизни. «Афганцы» не ангелы. Достаточно в любом сообщении изменить акценты и пропорции, как полуправда становится ложью. Сможет ли наш глава поднять на эту моральную и историческую высоту «афганцев», которую они оплатили кровью? Кто введет «афганцев» в контекст русской советской истории и в непрерывную цепь усилий народа на южных рубежах Отечества?

Перестройка обернулась для офицерского корпуса неслыханной доселе ни в одной стране мира травлей в печати, оскорблениями и даже, как следствие этой атмосферы, убийствами в родной стране.

Как-то один из известных офицеров-«афганцев» пригласил меня на «круглый стол» встречи «афганцев» со студентами. Пришли и уверенно сели за стол раскормленные студентки в дефиците и студенты, которых не взяли в армию по их немощи. Тогда студентов еще брали в армию. Беседа, как всегда, началась с поганенького и декадентского вопроса: «Скажите, что вы чувствовали, когда стреляли в живых людей?» Сидели «афганцы». Все раненые. Все хлебнувшие лиха. Дальше — больше. Стали «афганцев» прямо оскорблять. Причем в тоне, подборе вопросов, паузах и многозначительности чувствовалось привитое с детства средой убеждение, что они-то и есть интеллигенты. Устав слушать напористых книголюбов, я выразил сомнение в праве этих пацифистов задавать здесь вопросы в такой форме и, чтобы поставить все с головы на ноги, заметил:

— Если взять, положим, сто журналистов, сто врачей, сто рабочих и колхозников, сто ученых, сто писателей, сейчас я бы сказал, и сто народных депутатов, сто учителей, — словом, сто человек любых категорий наших граждан и сто офицеров, то беру на себя смелость утверждать, что сто офицеров всегда и при всех обстоятельствах будут на голову выше. Вижу, — говорю, — недоумение и иронию на ваших прекрасных лицах, потому загибайте пальчики, а я буду перечислять, почему сто офицеров будут предпочтительнее.

Во-первых, жить по-своему может каждый дурак, — пусть попробует жить по уставу.

Во-вторых, жить по уставу — есть верный признак благородства натуры, ибо смирение есть стержень любого высокого служения. Только тот, кто умеет выполнять приказы, способен повелевать. Попробуйте научить выполнять приказы дворняжку. Только породистая собака способна к обучению и выполнению приказов, ибо только у породы есть память. Люмпен и шантрапа никогда не выполняет приказа, даже когда нехотя повинуется. Только кровная лошадь может брать барьеры. Не зря Наполеон говорил, что служить могут только дворяне. К слову, крестьяне и дворяне — одно сословие

землевладельцев, с одним укладом и мировоззрением. Это один класс. Он-то и дает тысячи лет лучших в мире солдат.

В-третьих, сто офицеров будут лучше за гарнизонную тоску, заброшенность, одиночество, казарменное убожество и однообразие. Это крест, который не под силу даже нынешним монахам, ибо последним не присылают каждые два года бывших уголовников, наркоманов, больных.

В-четвертых, как бы ни было плохо в армии, даже при преступлениях, которые называют неуставными взаимоотношениями, за пределами армии гораздо хуже, ибо армия всегда портится последней. Не армия порождает «дедовщину», а наоборот, общество несунов, взяточников, протекционистов, националистов, книголюбов, атеистов, общество, где аппарат, чтобы сохранить себя, создает хитрую редакцию вроде «Взгляда» и «Пятого колеса», — вот это общество и заражает «дедовщиной» армию.

В-пятых, за верность офицеров знамени и державе. Потому-то ни один глава командно-административной системы не защитил публично армию, как не сделал это ни один глава командно-региональной системы. И те и другие знают, что за Гиндукушем и в Чернобыле, на Курской дуге и Халхин-Голе ни один офицер и солдат не умер за систему — они гибли за державу и Россию.

А те, кто готов отдать жизнь за народ, не устраивают тех, кто дерется за пайки и власть.

В-шестых, сто офицеров будут лучше за то, что за двадцать пять лет службы их семья двадцать раз переезжает. Это двадцать пожаров, двадцать утрат и разрывов. Их дети не знают укорененности, друзей, школ.

В-седьмых, за то, что без всяких Даманских, Афганистанов, Карабахов, Сумгаитов и Чернобылей они погибают и в мирное время. По американской статистике, каждый год погибает два полка летчиков — по-ихнему, два крыла.

В-восьмых, за то, что никто в стране не испытывает таких десятилетних унижений с наймом квартир и бездомностью, как они. За то, что командир атомной подводной лодки получает за свой труд столько же, сколько шофер бульдозера, а летчик-истребитель имеет оклад ниже оклада вагоновожатого.

За то, что, в-девятых, после всех мытарств службы он будет выброшен на задворки общества. За то, что в трудную минуту на улице, кроме офицера, кто еще придет на помощь. За то, что они получают в Баку, Карабахе, Фергане, Прибалтике, — за все грехи аппарата, к которому они никогда не имели никакого отношения.

В-десятых, за то, что путь офицерского корпуса был всегда жертвенным и ни один слой, сословие и группа, кроме священников, не подвергся в стране за семьдесят лет таким репрессиям и расстрелам, как офицеры.

В-одиннадцатых, заслоняя всех грудью, умирая за нас, они остаются самой социально незащищенной частью общества.

И, наконец, в-двенадцатых, хотя я мог бы еще назвать дюжину-другую доводов: сто офицеров будут всегда на голову выше за то, что нет на них ни одной вашей поганой иностранной нитки — они одеты во все родное. И именно эта приверженность родным началам более всего (вас сознательно, а большинство бессознательно) бесит.

Вы-то уже все заложили за дефицит и импорт. Мы и без певца гениталий Фрейда знаем, как могущественно подсознание...

Не стал им говорить, что наши офицеры одеты (по качеству одежды) хуже, чем все офицеры войск Варшавского Договора и НАТО.

Пусть, думаю, не злорадствуют. Сочувствия здесь не найдешь. В России не было, нет и не будет звания выше офицерского. Партия и народ никогда не были едины, а вот армия и народ едины вовек. Офицер — любимец народа со времен Ильи Муромца.

Все, кто болтает об Америке и рвется туда, — не любят этой страны и чужды ее духу. Они не ведают о духовном наследии Готорна, Эмерсона, Твена, Линкольна, Вулфа, Фолкнера, Уайетов и всех, кто верил в американскую мечту как поиск земли обетованной, всех, кто шел к неизведанному, не дойдя Фронтира. Если бы они были хоть на йоту приверженцы порядка и демократии, они давно заметили бы, что в США, чтобы поступить в военную академию, надо представить две рекомендации от сенаторов или ходатайство главы государства. Если бы в США их интересовали бы идеи, а не дефицит, они уже давно вещали бы по телевидению и по «мостам», что каждый четвертый сенатор — высший офицер, в все сто процентов сенаторов служили в армии.

Но самое главное, они заметили бы, что ни в одной крупной демократии мира — ни в США, ни в Англии, ни в ФРГ и даже во Франции, а тем более в Японии — ни один офицер левых убеждений, не говоря о членстве в левой партии, а просто человек, имеющий даже левые симпатии, не продвинется дальше капитана. Ибо во всех уважающих себя странах слово «левый» вполне и давно ругательное, а слово «консерватор» звучит как комплимент.

Советую всем нашим левым приобрести новую покровительственную окраску. Сумели же японцы создать самую консервативную в мире партию и в насмешку над победителями назвать ее «либерально-демократическая».

Мы имеем семьдесят лет левой идеологии и левой партии. Командно-региональная группа — те же левые, только еще левее. Я не говорю это в осуждение. История так надругалась над ними, что добавлять к этому нечего. Ни одна левая партия за всю историю ни для одной страны не добилась процветания — одни зияющие провалы. Хотя вопреки левым молодая мощь и идеализм русского, белорусского и украинского народов был так силен и в таком цветении, что даже надругательства левых всех мастей — от Свердлова, Троцкого до Сталина Хрущева — не смогли помешать народу создать



великую державу с подвижнической армией и флотами.

Читатель вправе спросить: каковы же тогда политические мотивы самого автора?

Отвечу без обиняков.

Князь Петр Вяземский как-то заметил, что политическое мировоззрение позднего Пушкина можно определить словами «свободный консерватор».

«Консерватор» — в переводе «хранитель». Любовь детей к отцу и матери, верность Родине и преданиям — чувство глубоко консервативное. Потому-то и говорят, что тот, кто в юности не радикал, тот без сердца, а кто после тридцати не консерватор, тот без ума. В 1956 г. я был исключен с восточного факультета Ленинградского университета за участие в сходке на площади Искусств с требованием «Руки прочь от Венгрии». От дальнейших гонений меня спасло твердое заступничество моего наставника академика И. А. Орбели. Но из университета был все-таки изгнан. Я не сожалею об этом поступке и не горжусь им. Видимо, так и должно быть. Но седовласые левые, как и седовласые сексологи, то есть блудологи, по телевизору меня удивляют. Видимо, наша несчастная страна единственная в мире, где это возможно.

Коли «консерватор» есть хранитель очагов, воды, преданий, почвы, лесов, семьи и державы, то я консерватор. Слово же «свободный» говорит о готовности и открытости к новым веяниям и идеям и реформам — ибо жизнь есть мудрый баланс между постоянством и переменами.

«Не тщись на блистание, но на постоянство», — завещал общенародный наш учитель Суворов.

Таким образом, я отношу себя к пушкинской политической традиции, уходящей корнями в седую, как говорят, старину. Это неверно. Седы — это мы, ибо мы старые. Свободный консерватор есть традиция, восходящая к юности России, к ее основам, истокам и первым путям. Свободный консерватор есть становой, народный путь. Это союз, создавший и хранивший державу.

Все, кто верен державе, все, кто носит погоны и форму, все, кто помнит о детях и храмах, — все свободные консерваторы. Такова тысячелетняя народно-дворянская традиция. Нам суждено создать новый тип государства, новый социальный тип промышленника, какого не было еще в мире, человека, сочетающего деловую хватку, ум, смелость с дворянским кодексом чести и верностью православию и державе. Эти три сочетания — ума, чести, и духа — мы должны прежде всего прививать молодым офицерам и курсантам.

История создавала великие типы воинов, благородные типы священников и монахов, святых подвижников крестьян, но высокоблагородного национального типа промышленника и купца не создала ни одна страна в мире, иначе мир сегодня не подошел бы к экологической проблеме. Новый духовный тип свободного предпринимателя могут дать только народные, православные, свободно-консервативные традиции, ибо Россия из всех стран мира в силу глубоко нравственного народного уклада ближе всех подошла к этому типу промышленника. Но для того, чтобы создать новую страну и новое общественное согласие, необходимо терпеливо, скромно идти к самоограничению и возрождению духовности.

Было бы лживой демагогией обойти в этой связи одну реальность нашего наследия. Если храм Христа Спасителя взорвал Каганович — то нам нет спасения. Нам никогда не осознать всю меру своей вины и задачи перед страной и детьми. Храм Христа Спасителя был взорван задолго до того, как был заложен. Первая трещина — от фундамента до купола — прошла, когда раскололась Русская Церковь при Никоне. Ужас этого раскола, это жуткое наследие получил Петр и на свой манер укрепил Церковь. Все, кто ничему не научился, все клирики, что лоснятся от гордости, обвиняют Петра. Но храм до основания был разрушен в XIX веке русской интеллигенцией, предавшей национальные святыни взамен за французские прелести. То высокообразованное общество, которое целое столетие обезъянничало и бегало за импортом за границу и ликовало, когда заблудшие, неряшливые и воспаленные террористы бегали с бомбами за старым царем.

Они со дня восшествия на престол и до последнего ночного смертного часа держали в осаде в родной стране царскую семью. Царя, которого даже Витте вынужден был признать самым деликатным человеком на свете. Государя, искренне приверженного русским основам и родной стране. Когда в отчаянии супруги, чтобы спасти детей, доверились простому мужику Распутину, — им устроили неслыханную в истории травлю. Никто из глумливого окружения не создал такой атмосферы, чтобы распутинщина была бы вообще невозможна. Об этом можно написать не одну книгу, но главный итог таков — если масоны убили в Екатеринбурге царскую семью, то нам нет уже ни спасения, ни прощения вовек. Мы дожевали свой жалкий век обществом деградирующим, в сладострастном выискивании очередного козла отпущения. Пока мы наркотически и трусливо все взвалили на Джугашвили.

Мы можем создать ту страну, около которой спасутся другие. Кроме нас, на это никто не способен. Я и сам считаю, что одна из величайших трагедий России — это недостаточное уважение к частной собственности. Если человек не уважает даже собственность, разве он будет уважать жизнь или права человека?! И все же, что бы там ни говорили, а в истории человека со времен неолита только мы дерзнули растоптать душу капитала — то есть его мошну.

Кто сумел отвергнуть золото, только он способен теперь освятить его.

Как сказал офицер-поэт в 1812 году: «Дерзайте, россы! Гнет печали с унылых свергните сердец!».

Без благородной и сильной армии и флотов нам это никогда не позволят сделать. Почему здесь надо было говорить

о нашем трагическом наследии? Пусть попробует хоть один курсант, офицер и любой гражданин сделать хоть один верный поступок в жизни, не решив этих коренных вопросов. Согласие не может быть только для русских, белорусов и украинцев. Верно и то, что без гаранта этого братства триединства нет державы. Но согласие это возможно, когда все подлинно свободны. Когда крымские татары имеют равные права с литовцами, а курдам возвращена курдская автономная республика, что лежала между Арменией и Карабахом (советский Курдистан был уничтожен еще в 1937 году и первый стал жертвой национальных извращений); когда евреи имеют абсолютно те же свободы и культурную автономию, какие имеют в США и Европе.

Мне, курдскому шейху и по отцу и по матери, с многотысячелетней наследственной традицией священства, где в горах тот истинный священник, кто лучший воин, быть консерватором велит Бог. Но слово «свободный» я все же отношу к великой русской традиции с ее тысячелетним вечевым строем жизни.

Вечевой этот строй со времен Андрея Первозванного сохранило воинство — это главное священство Руси, пережившее два тысячелетия. Витязи, которые привыкли проходить высочайший экзамен на культуру и святость жертвенным служением в битве.

Каждый парад на плацу, каждый развод караула, всякий смотр в гарнизоне — это не просто воинский строй и шествие, это подготовка к параду на священном Кремлевском холме. Это служба перед литургией верных. Поэтому главный человек в нашей стране — это солдат. Не любить его не может офицер, ибо солдат — это частица России. Солдат, что служит бескорыстно в наше время несунов и лайков, — есть главное чудо нашей страны.

Профессиональная армия и наемная армия — это понятия, редко совпадающие. Не потому ли американцы неуверенно топтались и маялись в песках вокруг Кувейта, что у них армии, строго говоря, нет, ибо наемник, как показывает история, — это не солдат. Подвиг за деньги не купишь, а самопожертвование тем более. Во Вьетнаме у них была всеобщая армия. Я тоже сторонник альтернативной службы. Пусть будет, как в Германии. Но только наемной армии нет ни в одной стране мира, даже в нейтральной Финляндии.

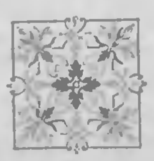
Кто хочет действительно помочь армии, кто любит солдатских матерей, пусть перестанет посылать в армию уголовников, больных мальчиков и детей матерей-одиночек. В стране нет ни одного офицера или генерала, который радовался бы, когда в армию присылают уголовников. Все матери и отцы, которые справедливо обеспокоены «дедовщиной» и болеют за судьбу сыновей, должны обращаться с протестами не к жертвам этой ситуации, то есть генералам, а к Верховному Совету и Верховному главнокомандующему, то есть Президенту. Кто хочет добра и детям и родителям, пусть ликвидирует стройбат. Министерство обороны уже не одно десятилетие заклинает, требует и убеждает аппарат и главу государства уничтожить стройбат и не посылать в армию уголовников и больных ребят. Пока же армию деморализуют. И есть уже плоды: Румыния «великодушно» недавно заявила, что она не будет аннексировать Молдавию. Ну, спасибо. Порадовали до слез. Будем надеяться, что Финляндия не займет Перешеек, и т. д. и т. п.

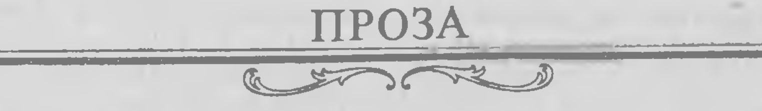
Мне бы в этой связи хотелось кончить словами Карамзина, как спокойным эпилогом, устремленным в будущее: «Я не смею думать, что у нас в России было немного патриотов, но мне кажется, что мы излишне смиренны в мыслях о народном своем достоинстве, а смирение в политике — вредно. Кто сам себя не уважает, того, без сомнения, и другие уважать не будут».

Достоинство призывает нас ни на кого не перекладывать свои грехи.

Мир надеется, что новый путь укажет Россия, ибо великий свет рождается из великих страданий.

Никто в мире не страдал больше России, Белоруссии и Украины, никто горше пpавороссов не испил чаши, потому за ними и слово. И в армии не будет порядка, пока солдаты — украинцы, белорусы и русские не сплотятся и не объявят себя гарантами совести, чести, оплотом справедливости и чистого солдатского братства, без «дедовщины», уголовщины и изуверства. Как не будет порядка в стране, пока правороссы, то есть русские, белорусы и украинцы, не объявят свои республики гарантами новой федерации суверенных республик. Держава без гарантов не стоит. Гарантами державы могут быть те республики, кто и создал великую страну и братство на одной шестой суши.





# ПРОЗА

**ВАЛЕНТИН ПИКУЛЬ**

# БАРБАРОССА

**РОМАН-РАЗМЫШЛЕНИЕ**

## 5. В ГОСТЯХ У ЧУЯНОВА

Не хотел удивлять, а — придется...

БАМ, о котором так много шумели в недавние годы, имеет прямое отношение к Сталинградской битве. Правда, до 1941 года он назывался БАМлаг, а изо всего, что НКВД успело создать на костях «врагов народа», уцелела лишь станция Тында, где надобно бы ставить памятник не комсомольцам-добровольцам, а именно им — избитым, голодным, умирающим и пристреленным прямо на шпалах. «Это была страшная сталинская мельница, под жернова которой сплошным потоком сыпались осужденные». Стройка была строжайше засекречена, о ней никто в мире не знал, и нам, читатель, до сей поры неизвестно, сколько десятков (или сотен) тысяч людей там погибли.

Но вот грянула война, и в бухгалтерии НКВД подсчитали — сколько осталось? Выжили только десять тысяч. Рельсы, что были проложены, сняли. И увезли их. Куда? Каторжников запихали в товарные вагоны и тоже повезли. Куда? И увидели они Волгу... Уже осенью началось строительство объездной железной дороги Сталинград—Саратов—Владимировка, «чтобы, — как писал А. С. Чуянов, — обеспечить выход за Волгу». Тогда же и началась *жуткая* — иного слова мне не найти! — прокладка стратегической трассы от Кизляра до Астрахани, дабы перекачивать железнодорожные составы с бакинской нефтью. Раньше поезда с цистернами шли через Ростов, но под Ростовом хозяйничали танки Клейста...

Никто из жителей Сталинграда — ни сам секретарь обкома, ни последний попрошайка на вокзале,— никто не знал, что в далеком Цоссене решено: Сталинграду пасть не позже чем 25 июля 1942 года. Вернувшись вечером домой, Чуянов говорил жене:

— Боже, какие мы нищие! Рельсы черт знает откуда привезли, так шпал нету. Кладут рельсы прямо на землю. Ни лопат, ни тачек — одни конвоиры да лозунги. Привыкли жить, думая, что мы баснословно богаты. А когда нужда приперла, так все аптеки в городе обеги — таблетки аспирину не сыщешь. Вот и крутись как знаешь. А виноватых днем с огнем не найдешь. Тем и кончится, что в конце концов я виноват останусь...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Осень в Сталинграде выдалась ранняя, дождливая. В канун битвы под Москвою он звонил во Владивосток приятелю Г. И. Масленникову и был поражен отличной слышимостью.

— У нас тоже пиковое положение,— доносилось с берегов Тихого океана.— Живем, как и флот, в готовности номер один. Сам знаешь, от соседей добра не жди.

---

Продолжение. Начало в №№ 2—4 за 1991 год.

Надеясь на сообразительность Масленникова, Чуянов отвечал нарочито легкомысленным тоном:

— А у нас по-старому. Живем, хлеб жуем. Тебе шлют приветы.

— Значит, помнят меня в Сталинграде? А — кто?

— Женщины. С чулочной фабрики Крупской, со швейной имени Восьмого марта. Работаем... телогрейки шьем, когда и ватники. Сам знаешь, что нужно для бойца в первую очередь.

— Толстые ватники,— догадался Масленников.

— По последней моде — сорок пять миллиметров...

Легкие на помине явились женщины. Целая делегация — как раз с тех фабрик, о которых он помянул. Жаловались на необычную дороговизну продуктов, рынок стал безбожно вздувать цены.

— А у нас дети. Как прокормить? Молока нет. Раньше помидорами свиней кормили, а теперь помидоры на базаре кусаются.

— Дорогие мои,— отвечал Чуянов,— я вам не бог, не царь и не герой. С частниками драться не стану. Это дело их совести. Но вот на колхозную торговлю нажать еще вправе, и потому кое-кому влетит от меня по первое число...

Воронин из НКВД пришел с бумагами. Пользуясь затемнением города, шпана грабила прохожих. Их судили. Воронин сказал:

— А не жалко? Молодые и — под расстрел?

— Сейчас телячьи нежности неуместны,— отрезал Чуянов.— А перевоспитывать некогда. Под расстрел не надо. Гони всех в штрафбат — немцы их не помилуют...

Звонил из Москвы Ванников, ведающий вооружением:

— Привет. Тут маршал Кулик до меня напортачил. Исправлять все на ходу надо. Он, лопух, вместо автоматов спихнул на армию серию винтовок СВТ... Брось один раз на землю — и больше из СВТ уже не выстрелишь. Сейчас необходимо, как воздух, автоматическое оружие... ППШ! Слышал о таком?

— Выезжаю в Москву, на месте все и решим, хотя для моих заводов — дело новое. Но освоим, освоим. Обещаю. Ладно.

В столице Чуянов пробыл недолго, застав Москву как раз в тот период, когда метро уже не работало, среди жителей возникла паника, удиравших на машинах рабочие сворачивали в кювет вместе с машинами, кому-то били морду, а на обратном пути в Сталинград секретарь обкома впервые в жизни угодил под бомбежку, а вернувшись, сразу вызвал Воронина:

— Пора отрывать на дворах щели, подвалы очистить под бомбоубежища. Пусть наши бабки не воют — весь хлам из подвалов и чердаков выбросим. Я-то вот в поезде, когда бомбы засвистели, так, народу не стыдясь, под лавку нырнул и кепочкой укрылся...

Новое дело: мука есть, а хлеба нету. Мукомольням и хлебопекарням не хватает тока. Не дают электроэнергии. Зубанова было не узнать — высох, почернел, вдобавок еще и зубы болят.

— Сталгрэс рвут на части! — простонал он.— Каждый день мучаюсь у щита распределения: кому ток важнее? СТЗ или булочным?

— Танки нужны, как и хлеб.

— О-о-ой,— провыл инженер-энергетик.

— Не вой,— сказал Чуянов.— Поезжай в Бекетовку, там есть такая дивная краля — Клавдия Терентьевна Плехова... видел?

— На кой ляд? До баб ли нам тут? Ой... опять схватило!

— Скажи этой красуле, что я велел тебе зубы вырвать. Она дантистка. А потом и думай — что на Т-34, а что на буханки.

Зубанова через день встретил — тот чуть не плачет.

— Больно было? — посочувствовал ему Чуянов.

— Лучше бы ее не видеть! Влюбился, как последний дурак.

— В кого влюбился?

— Да вот в эту... которая зуб вытащила.

— Мое дело сторона. Я тебе не сват. Сам разбирайся...



Были первые дни ноября. Вдруг на СТЗ не стало деталей для танков, которые всегда поставлял Тульский завод. Чуянов подключился на провод, просил обкомовского Жаворонкова.

— А его нету,— отвечали из Тулы.— Он с утра взял автомат и выехал на передовую, чтобы отстреливаться. А у вас какое к нему дело? — Чуянов вкратце объяснил.— Мама дорогая! — удивились туляки.— Да у нас тут Гудериан под самым боком. Вот, погодите, отгоним от Тулы и дадим детали. У вас-то тихо?

— Тихо,— ответил Чуянов...

В день, когда пришло известие, что наши войска оставили Курск, Алексей Семенович выехал на СТЗ, чтобы проследить за отгрузкой танков — для обороны столицы. СТЗ был окружен высоченным забором, вдоль него бегали громадные сторожевые овчарки. Начальник охраны завода предупредил:

— Только ближе не подходите — вмиг разорвут. Объект секретный. Тут один тип хотел поживиться, одни пуговицы остались...

Чуянов испытывать судьбу и не собирался. Слишком уж красноречивы были громадные пасти псов с ощеренными клыками, служившие верной порукой тому, что ни один лазутчик не осмелится сигать сюда через забор. Около полудня Чуянова разыскали в цехах, велели скорее бежать в кабинет директора СТЗ.

— А кому там я понадобился?

— На проводе с а м... товарищ Сталин.

Чуянова удивило, что Сталин разговаривал спокойно:

— Что за пушки вы там конфисковали в свою пользу? Артуправление в Москве не подтверждает наличие этого эшелона в вашем Сталинграде.

Чуянов ответил, что триста пушек он уже велел переделать в зенитные орудия, нужные для ПВО на переправах через Волгу.

— А разве вас бомбят? — спросил Сталин.

— Нет, товарищ Сталин. Но какие-то самолеты летают.

— Хорошо,— согласился Сталин.— А с нашими ротозеями из Артуправления, забывшими, где посеяли целый эшелон пушек, я разберусь в Москве уже с а м... по-отечески!

Чуянов закончил разговор и перевел дух с таким облегчением, с каким, бывало, в юности сваливал мешок на пристани:

— По-отечески,— сказал он про себя.— Не завидую я теперь всем тем, кому он отцом доведется. Это уж точно...

Утром 7 ноября репродукторы на площади Павших борцов транслировали из Москвы парад, разнося по всему миру четкий грохот солдатских ног по брусчатке. Прямо с парада войска уходили на передовую, и это как-то окрыляло, а многие женщины даже плакали, услышав по радио звуки марша «Прощание славянки».

Дедушка дома тоже прослезился:

— Давно эфтакой музыки не слыхивали, все эти трям-блям да «нас побить-побить хотели...». Минина да Кутузова помянули. Чай, от вашего, яти его мать, интырцанала одни ошметки остались. Чего доброго, и церкву откроют. Хоть помолиться бы нам, православным, перед смертью дозволили.

— О т к р о ю,— мрачно ответил Чуянов деду.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

В конце ноября Чуянов созвонился с Ростовом, к телефону подошел секретарь Ростовского обкома — Двинский:

— Рейхенау жмет... танки. Боюсь, не удержаться.

— Держитесь. Я еще позвоню... завтра! Слышишь?

На следующий день из Ростова звонила уже секретарша:

— Помогите... не знаю, что делать! — кричала она.— Никого уже нет, я одна. А тут такое творится.

— Где Двинский? Дай его... срочно!

— Да все убежали. Одна ведь я! А тут по комнатам немцы шляются. Хохочут. На губных гармошках наши песни играют...

С юга — от Ростова — повалили на Сталинград эшелоны: раненые. Врачей не хватало. Медикаменты — на вес золота. Кошмар какой-то! Банно-прачечный комбинат не в силах обслужить поток исстрадавшихся людей — ампутированных, искалеченных и обожженных. Алексей Семенович распорядился:

— Банщикам работать в три смены.

— А когда у них было меньше? Вот мыла-то где взять?

— Не знаю,— честно признался Чуянов.— Найдите.

Средь дня заскочил домой пообедать, опять звонок:

— Откуда говорят?

— Из зоопарка.

— Чего вам от меня понадобилось?

— Слониху Нелли кормить надо.

— А что слоны едят?

— Не знаем, как в странах капитала,— отвечали Чуянову,— а советские слоны едят много.

Чуянову хотелось обложить говорившую «дурой»:

— Если Нелли все жрет, так все и давайте.

— Овощи-то на базар не пойдешь покупать. Дорого!

— Господи, да выкручивайтесь как-нибудь...

Наплыв беженцев увеличился. Поезда с юга подвозили по восемь тысяч человек в день, а сколько приплывало по Волге — не поддавалось учету. Среди эвакуированных — с севера — появились и ленинградцы. Они уже хлебнули горя, всякого навидались. Рассказывали, что рабочий у станка получает 250 граммов хлеба, прочие — 125 граммов. Чуянов зашел в столовую обкома.

— Ну-ка,— сказал хлеборезу,— отпили мне сто двадцать пять грамм. Хочу посмотреть, сколько получится...

Дома Чуянов включил радиоприемник, и сразу же послышался четкий стук в двери. Жена сильно испугалась.

— Не вздрагивай! Это же позывные Би-би-си...

Призывно и настойчиво постучав в двери радиослушателей, Би-би-си сообщило, что 7 декабря японцы совершили вероломное и коварное нападение на американскую базу Пирл-Харбор, расположенную на Гавайских островах. Вслед за тем гитлеровская Германия объявила войну Соединенным Штатам Америки.

Конечно, среди сталинградцев сразу пошли разговоры:

— Надо же, а! До чего же паразит нахальный. Уже под Москвой получил в зубы, а ему все мало, на войну так и лезет...

В один из дней секретарша обкома доложила:

— Алексей Семеныч, а к вам опять... изобретатель!

Чуянов даже за виски схватился, простонав:

— Господи, когда я от них избавлюсь?..

А принять надо. Вошел старомодный дядечка. Очень опрятный. На костылях. В шляпе. Он держал деревянную коробку. Вежливо объяснил, что учительствует в казачьей станице Алексеевской.

— Как учитель физики, на досуге изобретательствую.

— Очень приятно. Что изобрели?

— Электрический пулемет. («Все у меня есть,— подумал Чуянов,— только вот этой штуки еще не хватало. Ладно, мы и не такое видели. Переживем».) Мое изобретение имеет большое будущее,— сказал учитель,— и оно способно свершить переворот в войне не только в тактическом, но и в стратегическом аспекте.

— Не сомневаюсь. Прошу. Садитесь.

— Спасибо. Мы постоим. Можно показывать?

Чуянов так уже изнемог от разных «эдисонов», что ему было все равно, и он безнадежно махнул рукой:

— Чего стесняться в родимом отечестве? Валяйте.



Учитель извлек из сундучка странную машинку, внутри которой что-то мяукнуло; от машинки тянулся электрошнур.

— Вы не боитесь? — вдруг спросил он Чуянова.

— Боюсь. А — вы?

— Я тоже. Побаиваюсь. За обстановку.

— Ничего. Она казенная. Вон там штепсель. Видите?

— Вижу. Внимание. Эксперимент. С великим извинением...

С этим «великим извинением» он воткнул вилку в розетку, и с этого момента Чуянов перестал понимать, что происходит в этом мире. Сначала — треск! Лампа на столе — вдребезги, люстра — на полу. Штукатурка отделилась от стены. В кабинете не продохнуть от пыли. Разгром полный. Изобретатель сказал:

— Знаете, я человек скромный. Вперед, как другие, не лезу. Но коли идет война народная, война священная, а я человек верующий, потому и решил внести священную лепту в дело нашей общей победы над гитлеровскими супостатами.

Чуянов долго вытрясал из волос штукатурку.

— Поздравляю,— сказал он учителю.— Вы первый изобретатель, в которого я поверил. Поедете в Москву... за счет обкома. Вместе со своим пулеметом. Я не специалист в таких делах, но вижу несомненные задатки таланта...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 января 1942 года в небе над Сталинградом был сбит первый германский бомбардировщик, и Чуянов тогда же сказал:

— Тыловая жизнь кончилась — начинаем воевать...

## 6. ЗА «ОТМОРОЖЕННОЕ МЯСО»

Уцелевших в битве под Москвою солдат фюрер наградил почетной медалью «Зимней кампании», которую в вермахте прозвали медалью за «отмороженное мясо». Тогда же уменьшилось и количество желающих пополнить железные ряды национал-социалистской партии, а среди немцев блуждал такой анекдот:

— Ветераны нашей партии, завербовав в партию фюрера пять новых членов, получают законное право выйти из партии. А кто завербовал сразу десять кандидатов в партию, тому в партийной канцелярии Бормана выдают официальную справку о том, что он в рядах нашей партии никогда не состоял...

Я вот думаю: не сам ли Геббельс и придумал этот анекдот?

Он ведь был на все руки мастак, и сейчас (в «тронном зале» дворца Леопольда, который занимало его министерство пропаганды) он доказывал мрачному как сатана Гансу Фриче:

— Истина в пропаганде всегда терпит поражение, тогда как любая наглейшая ложь одерживает победы. Для лжи необходимо лишь правдоподобие, и тогда она уцелеет...

Сейчас, чтобы утешить немцев, он обратился к центуриям средневекового астролога Нострадамуса, который предсказал главные события мировой истории — вплоть до 3000 года. Что бы там ни болтали об астрологии, но этот чародей назвал 1918 год, когда на Востоке объявится «великое безбожное государство», он же назвал и 1933 год — год прихода Гитлера к власти.

— После чего,— говорил Геббельс,— многие страны Европы вольются в Германию, однако росту германского могущества помешает «великий князь Армении»... Думаю, что Нострадамус ошибся немного, ибо Армения граничит с Грузией, откуда и явился этот кремлевский «великий князь» Сталин.

Геббельс понимал, что официальной пропаганде люди давно не верят, склонные верить всему потаенному, что преследуется властями. Он живо развивал перед Фриче мысль, как выгоднее распространять в немецком народе пророчества Нострадамуса:

— Глупо, если они выйдут из типографии и будут продаваться в газетных киосках на улице... нет! Их надо распространять в народе от руки переписанными, в машинописных копиях под копирку. И совать по утрам в почтовые ящики, как нелегальные листовки. А нам следует дополнить пророчества Нострадамуса словами, что схватка с «великим князем Армении» завершится его гибелью, а эра всеобщего мира и благоденствия уже стоит на пороге каждого немецкого дома...

Ганс Фриче выслушал и поднялся, чтобы уходить.

— Йозеф, хочешь, я расскажу тебе последний анекдот?

— О ком?

— На этот раз — о тебе... Не рассердишься?

— Да нет, не обижусь, рассказывай,— согласился Геббельс.

— Наконец, и наш Геббельс умер,— провозгласил Ганс Фриче.— В рай его не пустили, а направили прямо в ад. Он испугался, но черти издали показали ему ад, в котором пляшут голые девки, а грешники хлещут французское шампанское. Геббельс, конечно, пожелал жить в аду. Но когда его доставили в ад, он обнаружил одни лишь адские муки и — возмутился: почему издали показывали одно, если в действительности тут все другое? На это сам Вельзевул ответил Геббельсу: «Так это же была самая наглая пропаганда — мы все учились у тебя...»

Геббельс выслушал анекдот и даже не улыбнулся:

— Отличная шутка, Ганс, не правда? — сказал он.— Но ты меня не рассмешил, потому что этот анекдот придумал я сам.

На прощание он сказал Фриче, что министерству пропаганды предстоит теперь как следует поработать: надо внушить немцам, что эта зима — русская зима — черт с ней, зато вот весна и лето предстоящего 1942 года станут решающими для побед вермахта.

— Кстати,— заключил он, пожимая руку партайгеноссе,— Сталин тоже думает, что в сорок втором с нами будет покончено... раз и навсегда! Поправь шляпу, Ганс, держись бодрее. А в новогодней речи по радио мне, очевидно, предстоит обронить фразу: «Теперь уже никто не знает, когда и как завершится эта война».

— Гениально! — сказал Ганс Фриче и поправил шляпу.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16 декабря группу «Центр», размочаленную под Москвою, возглавил фельдмаршал фон Клюге, человек непьющий и некурящий. Затем последовал жесткий приказ из «Волчьего логова»: без личного разрешения фюрера никто не имеет права отвести войска с занимаемой позиции, фронт следует удерживать до последнего патрона, отныне все генералы вермахта должны помнить, что они исполняют личную волю Гитлера...

Это распоряжение не вызвало энтузиазма на фронте.

— Кем же я стал? — ворчал «быстроходный Гейнц», вовремя удравший из-под Тулы с колхозною свиноматкой, которую и съели в ночном лесу при свете костра.— Если я только исполнитель чужой воли, лишенный частной инициативы в оперативных порядках, то я уже не полководец, а жалкий чиновник, обязанный вставать при чтении высочайшего рескрипта.

Эрих Гёпнер выразился еще более ярко:

— Хорошенькое дело! Иваны лупят меня по морде, а я потерял право даже убегать. В таких случаях битые не кричат противнику: «Ах, какое счастье, что мы снова встретились!..» Боюсь, что фанатичное сопротивление в обороне приведет войска к гибели...

(Об этом приказе Гитлера после войны много говорили на Западе как о роковой ошибке, которая привела вермахт к потере оперативной властичности. Но факты доказывают совсем обратное. В условиях зимы 1941—1942 годов именно такой приказ Гитлера возымел сильное действие, и советские войска сразу же ощутили сильное противостояние противника.)



В эти дни Герман Геринг, обычно манкировавший визитами в «Вольфшанце», вдруг зачастил в Пруссию, отчаянно интригуя:

— Слабая голова у Гальдера, да и чего можно ожидать от баварца? А какие жидкие мозги в котелке у Браухича!

19 декабря Гитлер произнес такую вот фразу:

— Браухич — трусливый и тщеславный негодяй...

Тут он припомнил ему все: и развод со старой женой, и срочную женитьбу на молоденькой Шарлотте неизвестного происхождения, но которая выклянчила деньжат на строительство виллы. Браухич, держась за сердце, на полусогнутых от унижения ногах, с трудом выполз из кабинета фюрера, сказав Кейтелю:

— Ну, все! Больше не могу. Мне дали под зад.

— Что теперь будет с нами... после Москвы?

— Спросите у него сами, а я поехал в отставку... к Шарлотте. В конце-то концов этого мне давно следовало ожидать.

Кейтель сунулся было к Гитлеру, но получил свою порцию, в которой слово «кретин» звучало нежною лаской. Йодль застал Кейтеля плачущим над составлением просьбы об отставке. Под локтем же Кейтеля уже лежал заряженный «вальтер».

— Вот допишу... и шлепнусь! — сообщил он Йодлю.

Йодль порвал бумагу, а пистолет его разрядил:

— Хоть вы-то не сходите с ума, Кейтель...

Дошла очередь и до Гудериана, фюрер не пощадил его:

— Вы, кажется, решили сомневаться в моих распоряжениях? Так вы мне более не нужны. Поезжайте к жене и вместе с нею можете критиковать меня сколько вам влезет. Я не обещаю, что ни на какую вашу критику гестапо реагировать не станет...

Гитлер громил своих генералов с такою же яростью, с какой советские войска трепали его генералов. Большая стратегия таила в себе и большие страсти. 30 декабря немцы сдали Керчь, и в этот же день Гитлер связался с фельдмаршалом фон Клюге.

Телефонограмма их разговора уцелела:

— Дальнейшее удержание позиций бессмысленно, я прошу разрешения на отход этой же ночью.

— Отступлению не видно конца,— отвечал Гитлер.— Так можно откатываться до Днепра и Буга, а потом убираться в Польшу, чтобы сажать картошку. Удивлен, почему вы отступаете по всему фронту, если противник по всему фронту не наступает? Кончится все это тем, Клюге, что я дождусь вас на Одере с мешком беженца за плечами. Вводит ли Жуков тяжелую артиллерию?

— Пока нет. Авиация. Танки. Инфантерия.

— Я, наверное, очень отсталый человек,— сказал фюрер.— Но во время моей молодости, я помню, даже десять процентов немцев, оставшихся в живых, продолжали держать оборону.

— Мы еле таскаем ноги,— жаловался ему Клюге.— Вам, мой фюрер, не следует забывать, что здесь не цветущая Франция и сейчас не пятнадцатый год, а мы уже не так молоды.

Гитлеру все это попросту надоело. Он закончил:

— Клюге, я поздравляю вас с наступающим новым годом...

Фридрих Паулюс отмечал новый год в кругу семьи.

— Полная смена караула! — сообщил он жене.— После Браухича хотел уйти и мой Франц Гальдер, но Браухич, прежде чем хлопнуть дверью, уговорил его не покидать ОКХ, чтобы не потерялась главная нить прежнего руководства вермахта.

— Зачем такая перестановка понадобилась фюреру?

— Не знаю. Пока еще не знаю. Но... догадываюсь. Барон,— велел Паулюс зятю,— включите радиоприемник.

Совместно они прослушали по радио новогоднюю речь Геббельса и, конечно, обратили внимание на его фразу, проскочившую в тексте

как бы между прочим: «Теперь уже никто не знает, когда и как завершится эта война...» Паулюс вяло улыбнулся:

— Где же ему знать, если даже мы, опытные генеральштеблеры, сами уже не увидим конца всей этой восточной кампании...

Эта же речь, уже переведенная на русский язык, скоро лежала на столе перед Сталиным, и он остался доволен.

— Вот! — сказал Сталин.— Именно эта фраза Геббельса еще раз убеждает всех нас в том, что мы, завершив разгром немцев под Москвою, теперь способны развить первоначальный успех по уничтожению зарвавшегося врага, чтобы в этом же сорок втором году окончательно изгнать оккупантов с территории нашей любимой родины...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Паулюса в Цоссене снова навестил генерал Фромм, который, как и следовало ожидать, завел речь о резервах вермахта.

— Я в прострации! — опять начал он.— У меня подготовлено для фронта лишь тридцать три тысячи человек, а некомплект дивизий на русском фронте составляет уже триста сорок тысяч. Группы «Центр» и «Север» скоро будут иметь лишь около тридцати процентов от числа их первоначальной мощи, с какой они вступили в войну с большевиками.

Паулюс был уже достаточно осведомлен в этих вопросах.

— Кстати! — припомнил он.— Это хорошо, что вы, Фромм, навестили меня. Эрвин Роммель (вы сами знаете, что ему много не надо, чтобы он взвился до небес!) постоянно напоминает о том, что нуждается в усилении. Роммелю известно, что у вас давно подготовлен мощный корпус «Ф».

— Да,— кивнул Фромм,— этот корпус был предназначен для возни с англичанами в Ливии, но сейчас он... в Греции.

— Роммель ждет его! — напомнил Паулюс.

— И... не дождется,— отозвался Фромм.— Резервов нет, а корпус «Ф» пригодится нам в... Донбассе! Спасибо, что напомнили, я распоряжусь, чтобы из Греции корпус переводили на Украину, укрепить шестую армию Рейхенау.

Естественно, помянув Рейхенау, они говорили о шестой армии, и генерал Фромм сообщил о слухах в Берлине:

— Говорят, Рейхенау превратил ее в карательную.

Паулюс раскрыл папку, пересеченную по диагонали желтой полосой, извлек из нее приказ Рейхенау, чтобы Фромм прочитал: «Солдаты 6-й армии, вы должны вести борьбу против беспринципной банды убийц. Все партизаны в форме или в гражданской одежде должны быть публично повешены...» Фромм сказал, что под видом партизан Рейхенау теперь может казнить любого прохожего:

— Это очень опасный документ... для всех нас! — сказал он.— По-моему, каждый разумный генерал, получив такую бумажку, обязан как можно скорее ею подтереться, чтобы никто потом не пожелал подшивать этот приказ к обвинительному протоколу.

Паулюсу вдруг вспомнился разговор с Людвигом фон Беком о личной ответственности полководца. Но, желая спасти честь 6-й армии, он пытался хоть как-то оправдать и Рейхенау:

— По натуре это заядлый эксцентрик! Помню, во Франции он явился на банкет в костюме циркового жокея. Наконец, он выбирал и приглашал к танцу в офицерском казино самых толстых женщин, а танцевать с толстухами нам при Секте было строго запрещено, чтобы не вызывать насмешек...

Фромм сразу отверг неловкие и наивные оправдания:

— Об этом, Паулюс, вы можете рассказывать жене. Но, попадись Рейхенау в лапы русским, они сразу отволокут его до ближайшей виселицы, и всегда в толпе тех же русских отыщется такой же забавный эксцентрик, желающий накинуть петлю на шею...

Паулюс помрачнел. Уходя, Фромм спросил:



— Рейхенау-то еще в почете у фюрера?

— Да, как и его шестая армия.

— А как Франц Гальдер... удержится?

— Не знаю. Гальдера в ставке фюрера недолюбливают. Традиция обязывает, чтобы начальником генштаба был обязательно пруссак, а Гальдер имел несчастье родиться в Баварии.

— Удержитесь хоть вы, Паулюс... я пошел!

В эти зимние дни (на самом срезе двух переломных годов) Паулюс убедился в непорядочности Гальдера, который частенько подтрунивал над Гитлером, хотя нацистский режим считал для немцев даже «целебным». После катастрофы вермахта под Москвой он уже не рисовал стрел, нацеленных на Бейрут и Калькутту, которые пронзали Кавказ и Персию,— Гальдера, кажется, стала более заботить сохранность своей упитанной шеи.

Теперь — с удалением Браухича из ОКХ — он при каждом удобном случае не забывал лягнуть его в присутствии фюрера:

— Если бы мы не пошли на поводу у этого честолюбца Браухича, все было бы иначе: мы бы уже качали нефть в Майкопе, нам бы не пришлось цепляться за сугробы под Демянском.

Гитлер почти с ненавистью разглядывал большие хрящеватые уши Гальдера, ярко-красные от прилива крови; фюрер уже привык к лести, но на такую грубую лесть он не улавливался:

— Вы оба с Браухичем — бюрократы, а разница меж вами та, что Браухич без очков, а вы без очков ничего не видите. Вам бы, Гальдер, торговать двухспальными кроватями для молодоженов где-нибудь в глухой баварской провинции, а вы допущены мною в большую стратегию...

Уши Гальдера стали совсем алыми, и, наверное, он припомнил атташе Кёстринга, назвавшего генштаб «конторою по скупке старой мебели у бедного населения». В подземных бункерах «Вольфшанце» гудела электростанция, от калориферов исходило приятное тепло. В белокафельной ванной благоухало озоном и даже фиалками. Паулюс и Гальдер вышли из душевых кабин одновременно.

— Как вы могли стерпеть подобное обращение?

— Но я же не Ричард Львиное Сердце! — отвечал Гальдер.— И я не могу при каждом случае выхватывать меч, чтобы разрубать обидчика от макушки до копчика... Вы не надейтесь, Паулюс, отсидеться за бастионом своей безупречной респектабельности. Придет время, и вас тоже поволокут кастрировать, как блудливого и жирного кота. И как бы вы ни визжали, фюрер все равно сделает из вас своего паиньку...

Паулюс решил отмолчаться, держа руки по швам, и его пальцы чуть подрагивали, касаясь малиновых кантов генеральштеблера.

Побывав дома, он известил свою дражайшую Коко:

— Фюрер у нас взбесился... всем генералам устроил разгон. Правда, его гнев еще не коснулся Рейхенау, но сколько лучших умов потеряли за эти дни вермахт и генштаб... Правда, ко мне он по-прежнему внимателен и даже подчеркнуто вежлив, зато другим коллегам достается от него, как никогда.

Елена-Констанция заговорила совсем о другом — о трудной беременности дочери, о консультации у лучших гинекологов Берлина, рассказывала, что ее беспокоит:

— Я родила сразу двойню, а теперь думаю — не наследственное ли это и не станет ли Ольга, как и я, рожать близнецов?

Горничная, как всегда, уже подносила яичный ликер.

— Благодарю,— Паулюс оставался со всеми вежлив...

Ночью он долго не мог уснуть, и жена сказала ему:

— Ты приучил себя к первитину... о чем ты вздыхаешь?

— Мне сейчас вспомнилась одна строчка... кажется, из Гейне: «Я лишаюсь сна, когда по ночам думаю о любимой Германии!»

## 7. ДОКАЗАТЬ НА ДЕЛЕ

Жуков стал членом Ставки Верховного Главнокомандования в самые тяжкие для страны дни, народ уже знал его, верил ему. За время войны поредели волосы, черты лица замкнулись в суровости. Говорил резко, точно, без сантиментов. Его боялись враги, но побаивались и свои, когда он выезжал на фронты, чтобы навести порядок железной дланью, за которой ощущалась сила поддержки самого Верховного (как тогда для краткости именовали Сталина). Среди командиров сложилось такое присловье — вроде окопного анекдота:

— Если Жуков приедет злой, всем врежет по первое число, а уедет веселым. А коли навестит добрым, обязательно всем по шеям накостыляет и уедет от нас злее черта...

Георгий Константинович и с рядовыми не бывал приторно-ласков, в солдатские котелки не лез со своей ложкой, подражая «отцам-командирам», ищущим дешевой популярности. Нет. В беседах с солдатами говорил он редко, да метко, больше спрашивая людей своего возраста — откуда сам, что думает, где семья, каковы боевые пути-дороги, бывал ли в окружении.

— Я из четырех котлов выгребся,— похвастал «старик».

— Ну, и как? Штаны прохудил, небось?

— Первый раз прохудил. А потом-то и пообвыкся. В окружении не смерть страшна, а непонятность — что где творится. В котлах живешь партизаном. Только партизан в своем лесу и остается, а тебе из леса к своим надо выбраться.

В окопных разговорах люди бывали искренни. Один отступал от самого Львова, второй подбил три танка, а четвертый...

— Почему орденов и медалей не вижу? — спрашивал Жуков.

Вопрос каверзный. Солдаты мялись:

— Да кто ж их там, в штабах, знает! Сколько уж раз представляли. Обнадеживали всяко. А как доверху дойдет, там сразу — бац, и даже медальки от них не дождешься.

— Стыдно! — ругался Жуков в штабах.— Сколько по тылам сидят, до пупа обвешались, словно иконостасы, а на солдата бумаг выправить не могут. С чем он с войны вернется? С рассказами? Так в деревне-то не по байкам, а по орденам ценить станут...

Подобная же сцена однажды разыгралась и в Кремле.

Зимою, в самый разгар боев, Москву навестил Владислав Сикорский, глава польского эмигрантского правительства, и Сталин, готовясь к приему союзника, велел явиться при полном параде генералу Василевскому — как представителю Генштаба; Василевский явился, но его мундир был украшен одним скромным орденом Красной Звезды. Сталин выразил недовольство:

— А где же остальные? Почему не надели?

— Других, товарищ Сталин, у меня не имеется.

— Что за чертовщина! — возмутился Сталин.— Одни только болтают, а орденов у них до макушки, другие же работают, не щадя своих сил, и ничего не имеют... Ладно. Разберемся!

Тема об орденах деликатная (до сей поры ищут стариков-героев, простых солдат, чтобы вручить им то, что заслужили еще в сорок первом, кровавом и лютейшем, и старики — под жужжание кинокамер — плачут, как дети, не стыдясь слез, а мне понятны их слезы). Но, читатель, в то время наша армия еще не бряцала берлинскими орденами, и миллионы безвестных уходили в небытие, не помышляя о наградах, а над их могилами не высятся гордые монументы славы — потому что и могил-то у них не было! Так и оставались лежать, глядя в плывущие над ними облака, чтобы раствориться навеки в русских лесах и полянах, в шелесте трав и цветов, они исчезли, не изведав посмертной славы, в голосах птиц, устроивших им посмертное отпевание...



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Конечно, в нашем Генштабе знали, что Гитлер провел в вермахте «генеральную чистку», удалив в отставку сразу 35 генералов, а сам он взял на себя главнокомандование сухопутными войсками; наверное, до нашей разведки дошли и слова фюрера, сказанные им в этот момент:

— Катастрофа двенадцатого года с Наполеоном со мною не повторится, ибо я все продумал заранее...

После битвы под Москвою, после ударов у Тихвина и Ростова, когда всем стало ясно, что перелом в войне обозначился, Сталин вдруг снова возгордился, в глубине души, очевидно, уже примеривая к себе чин великого полководца. Перед всем народом он заявил, что 1942 год станет годом окончательного разгрома гитлеровской армии, но оспаривать эти иллюзии никто не осмелился.

— Гитлеру уже никогда не оправиться,— утверждал он,— и перед нами откроется прямая дорога на Берлин...

5 января в Ставке Верховного Главнокомандования было созвано ответственное совещание. Выслушав доклад Шапошникова о положении на фронтах, Сталин сказал:

— Немцы никак не были готовы воевать с нами зимою, а сейчас их командование в растерянности после поражения под Москвой, и настал выгодный момент для общего наступления Красной Армии. Общего? Вот в это не слишком-то верилось.

План был составлен заранее: отогнать захватчиков как можно далее от Москвы, деблокировать Ленинград, вымиравший от голода и обстрелов, на Юго-Западном направлении, которым командовал маршал С. К. Тимошенко, следовало освободить Харьков и весь промышленный район Донбасса. Тимошенко из Воронежа, где располагался штаб его армий, горячо заверял Ставку, что у него все продумано, и Сталин верил в заверения маршала:

— Товарищ Тимошенко,— говорил он,— обязуется прижать группу Клейста к берегам Азовского моря и сбросить ее в воду — вместе со всеми его танками...

Жуков был согласен с тем, что наступление в центре фронтов следует продолжать, чтобы избавить столицу от угрозы, «но,— вспоминал он позже об этом совещании,— для успешного исхода дела необходимо пополнить войска личным составом, боевой техникой... Что касается наступления наших войск под Ленинградом и на Юго-Западном направлении, то там наши войска стоят перед серьезной обороной противника».

— Они,— доказывал Жуков,— не смогут прорвать оборону, сами измотаются и понесут большие, ничем не оправданные потери... Враг еще не сломлен, до коренного поворота в войне нам еще далеко, а положение на фронтах неустойчивое...

Такая осторожная точка зрения никак не устраивала Сталина, это было видно по его поведению, и, кажется, присутствующие, поглядывая на вождя, Жукова поддерживать не станут. За годы непомерного раздувания авторитета Сталина был выработан негласный, но непреложный принцип: «там, наверху, лучше нас знают». Но теперь он подменялся принципом новой чеканки: «на месте виднее», и Сталин решил вдруг перестроиться, откровенно примкнув к этому принципу:

— Нам,— вдруг заявил он,— совсем нет смысла не доверять товарищу Тимошенко и членам Военного совета его Юго-Западного направления. Товарищ Тимошенко как раз за то, чтобы наступать! Надо,— подчеркнул Сталин,— как можно скорее перемалывать немцев, чтобы они не смогли наступать весною. Мы,— настаивал он,— заставим врага израсходовать свои резервы еще до весны и обеспечим полный разгром гитлеровцев уже летом этого года.

Ссылка вождя на тот принцип, что «на месте виднее», его глубо-

кая вера в таланты маршала Тимошенко заставила Жукова не возражать, а после совещания Шапошников сказал ему:

— Голубчик, вы, пожалуй, напрасно тут спорили, ибо вопрос о ближайшем прорыве к Харькову одобрен вождем заранее...

Георгий Константинович вспылил:

— Тогда зачем же спрашивали мое мнение?

— Не знаю, не знаю, голубчик! — сказал Борис Михайлович и тяжело вздохнул...

Через пять дней после этого совещания Ставка обратилась к командованию с особой директивой, отмечая просчеты и недостатки в наступлении под Москвой,— и, таким образом, критический отзыв Шапошникова, который охладил боевой задор генерала П. И. Батова, оправдывался строгим тоном самой директивы, которая признавала, что удар под Москвою мог бы оказаться сильнее и намного решительнее. Порочная полевая тактика с ее «индивидуальными ячейками», удобными для кротов, была уже отвергнута. Директива, наоборот, призывала командиров уплотнять боевые порядки, не боясь даже разрывов по фронту. От командующих Ставка требовала не растянутости армий, а, напротив, создания мощных пробивных группировок... Все это, конечно, хорошо!

20 января разведка Генштаба доложила в Ставку, что из двухмесячного отпуска по болезни на русском фронте снова появился генерал-полковник барон Максимилиан Вейхс, которого во время его отдыха в Германии не коснулась опала Гитлера.

— Вейхс... что за птица? — спросил Сталин.

— Вейхс командует второй армией, ранее подчиненной группе «Юг» фельдмаршала Вальтера Рейхенау. Ничем не примечательный генерал, каких у Гитлера много, если уж кого и бояться на юге, так это Клейста с его мощной танковой группировкой.

— Хорошо... буду бояться,— хмыкнул Сталин шутливо.

— Еще одна короткая информация, которая вас, товарищ Сталин, может быть, и заинтересует: в командование шестой армии вступает генерал-лейтенант Фридрих-Вильгельм Паулюс.

— А это еще кто такой?— удивился Сталин...

После войны германские генералы всю вину за свои поражения сваливали на Гитлера, якобы он, жалкий профан, вторгся в их непорочную стратегию, словно бегемот в антикварную лавку. На самом же деле — признаем за истину! — немецкие генералы редко бывали послушными марионетками. Не раз, поплевывая сверху вниз на личные распоряжения фюрера, они доказывали противникам свое превосходство в тактике, свою железную волю к победе, твердую решимость держаться даже в критических ситуациях. У них была своя голова на плечах, свои амбиции и свои убеждения — и потому нельзя сваливать все просчеты вермахта на одного лишь фюрера. Гитлер, кстати, тоже не был бесноватым придурком. Манштейн писал о нем объективно: «Как военного руководителя Гитлера нельзя, конечно, сбрасывать со счетов с помощью излюбленного выражения «ефрейтор первой мировой войны». Но за всю критику, которую Гитлер обрушил на своих генералов, они и рассчитались с ним, наведя на него свою критику — п о с л е  в о й н ы!

— Так кто же этот Паулюс? — переспросил Сталин.

Москва еще не знала, что судьба Рейхенау решена.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

«Чистка» была продлена Гитлером до самого апреля.

Старый фельдмаршал фон Лееб, будучи не в силах покорить Ленинград, не стал ждать пинка от фюрера и сам запросил отставки. Гитлер метался в поисках выхода. В январе он распорядился, чтобы технический контроль на военных заводах не придирался к качеству:

— Нам сейчас не до полировки брони, была бы броня... В декабре,— продолжал он,— силы вермахта и корабли флота высосали из меня все нормы горючего уже за январь и февраль нового года. Значит, на одной нефти Плоешти мы далеко не ускачем. Нам срочно необходима вся нефть Кавказа! Наконец, моссульская нефть Ирака по качеству не уступает бакинской...



В неудачах под Москвою он обвинял немецкий народ: «Если представить,— записывали стенографистки,— что Фридриху Великому противостояли силы в двенадцать раз больше, то мы должны назвать себя не иначе как... дерьмо!». Сейчас ему как никогда жаждалось нападения Японии на СССР. Хироси Осима, токийский посол в Берлине, выслушал от Гитлера целую речь:

— Инициатива снова будет в наших руках... л е т о м! Как только установится хорошая погода, мы возобновим наступление на Кавказ, и это направление я буду считать главнейшим. Перевалив через Кавказский хребет, мы выйдем к нефтяным источникам Азербайджана, Месопотамии и всего Персидского залива. Москва и Ленинград будут уничтожены. Ждите от меня л е т а...

В семье Паулюсов появилась какая-то нервозность, Елена-Констанция говорила, что ее гнетут предчувствия чего-то неотвратимого, но сам Паулюс, внешне оставаясь спокойным, приписывал волнения жены только сложной беременности дочери. Между тем зять его барон Альфред Кутченбах часто спрашивал — не исчерпал ли вермахт свои возможности?

— Нет,— отвечал Паулюс.— Однако Риббентроп уже пытался уговорить фюрера, чтобы тот предложил мир Советам, но фюрер сказал, что об этом надо было думать в июле сорок первого, а не сейчас — с забинтованной мордой... Я полагаю,— рассуждал Паулюс,— что, объявив Америке войну, фюрер попросту издал вопль о помощи: лучше придите вы, пока не явились русские.

— Это немыслимо! — удивился зять.

— Немыслимо, но вполне вероятно, если учитывать, что наш фюрер в политике трафаретами не мыслит...

Дизельным «Нибелунгом» он вместе с Гальдером отбыл в Пруссию, приехали в «Вольфшанце» утром, когда Гитлер еще спал, и потому Гальдер предложил Паулюсу подышать свежим воздухом. На тихой лесной тропинке они долго наблюдали за прыжками белок.

— Читали последние метеосводки? — спросил он.— На юге России очень сильные морозы, а синоптики пророчат дальнейшее понижение температуры.— Гальдер вдруг заговорил, что силы русских, кажется, превышают силы вермахта.— И не лучше ли нам сразу сковать фронты обороной? До весны.

— Вы будете говорить об этом с фюрером?

— Даже не заикнусь. Но этот вопрос я обсуждал с Хойзингером. У него несколько иная точка зрения, отличная от моей.

Паулюс поднял воротник, зябко сунул руки в карманы.

— Догадываюсь,— сказал он.— Наша оборона даст передышку русским, а за это время усилится роль Америки. У нас нет иного выхода, как только перейти в мощное наступление, чтобы уничтожить Красную Армию прежде, нежели англо-саксы начнут высадку на Европейском континенте...

Гальдер повернул обратно. Долго шли молча.

— Неприятное известие, Паулюс,— вдруг сказал Гальдер.— Эрих Гёпнер откатил свои ролики назад, сдав свои позиции русским, и тем самым нарушил строгий приказ Гитлера.

— Может, он отошел с согласия фон Клюге?

— Клюге не одобрил его ретирады.— При выходе на территорию «Вольфшанце» они оба, и Гальдер и Паулюс, предъявили охране желтые пропуска.— Но Гёпнер это еще полбеды,— продолжил Гальдер,— а вот что сделает фюрер Рейхенау?

Паулюс всегда беспокоился за 6-ю армию:

— Что же там случилось... на юге?

— Рейхенау тоже отвел армию. Тимошенко доказал этому бра-

вому «эксцентрику», что у него сил побольше, нежели мы считали. Теперь Рейхенау хлопочет о дальнейшем отходе.

— Не похоже на Рейхенау. Не похоже на шестую армию.

— Сейчас у нас все не похоже,— ответил Гальдер...

Гитлер проснулся к трем часам дня. Кейтель предупредил Паулюса, что фюрер настроен нервно, его месть по отношению к Гёпнеру и Рейхенау может оказаться жестокой. Гёпнер уже вызван в ставку, чтобы получить «по мозгам», а в Полтаву уже послан выговор в такой резкой форме, что Рейхенау служить далее не пожелает. После доклада Франца Гальдера Паулюс все-таки рискнул вступиться за Рейхенау, тактически пытаясь реабилитировать отведение 6-й армии с ее позиций. При этом он неосторожно признал, что большая стратегия всегда останется верной наложницей большой политики. Но, поминая политику, Паулюс забирался в чужой огород, где хозяйствовал один Гитлер.

— Паулюс! — обозлился фюрер.— Если вы считаете, что я неправильно руковожу войною, то вам место не здесь, а там, где вы можете на деле доказать правоту своих обобщений. Советую вам не вмешиваться в мои распоряжения! Иначе вы все окажетесь скоро в роли дворняжки, которая получила пинка под хвост, когда ей вздумалось заглянуть в мясную лавку...

«Что это значит?» — недоумевал Паулюс, готовя себя к самому худшему.

Когда он вернулся в Берлин, Елена-Констанция сразу заметила его подавленность:

— Фриди, у тебя опять дергается левая щека.

— Да, знаю. Смена караула продолжается,— сказал он жене.— В этой гробнице «Вольфшанце» сейчас сортируют свои неудачи с усердием, с каким монахи перебирают свои четки... Как Ольга?

— Ожидаем роды где-то в первых числах апреля.

Перед женой он не скрывал своих опасений, сказав Коко, что фюрер сейчас настроен очень решительно и ждет весны.

— Не думаю, чтобы Гёпнер и Рейхенау угодили под расстрел, но суд трибунала возможен. Жаль, если их ждет отставка. Я переживаю за шестую армию: ведь это — моя армия... уму непостижимо, сколько миль я накрутил с нею по Европе!

— Значит,— догадалась Коко,— среди генералов опять возникнут перемещения, и я... б о ю с ь.

— Коко, о чем ты?

— Где сейчас Рейхенау? — спросила жена.

— Он сам и его штаб пока что в Полтаве...

Вот именно события в Полтаве и развернули судьбу Паулюса совсем в иную сторону — вместе с его шестой армией!

15 января 1942 года в Полтаве было очень морозно.

После спортивной пробежки Рейхенау явился к обеду в офицерское казино. Его сопровождал полковник Фердинанд Гейм, начальник штаба его армии. Офицеры заметили, что их командующий, бодрый весельчак с раскатистым хохотом, сегодня едва волочит ноги.

— Доктор Фладе вернулся из Дрездена? — спросил он.

— Задерживается,— ответил Гейм.

— Хорошо бы,— вдруг сказал Рейхенау,— вызвать из Лейпцига профессора Хохрейна, нашего домашнего врача...

Возникло молчание. Офицеры в казино шепотом говорили, что Рейхенау плохо переживает выговор от фюрера и... опалу.

— У меня, — сказал Гейм, — есть бумаги, требующие вашей апробации, но если вы чувствуете себя неважно, то...

— Ничего. Давайте. Я подпишу.

Рейхенау подписал приказы, с трудом поднялся из-за стола. Все услышали его слабый стон. В вестибюле казино денщик уже держал наготове шинель фельдмаршала. Рейхенау просунул в рукав одну лишь руку и... упал, потеряв сознание. Был установлен «паралич с поражением центральной нервной системы», о чем немедленно была оповещена ставка Гитлера.





Хойзингер сразу же известил об этом и Паулюса:

— Кровоизлияние в мозг... вот во что обходятся нам выговоры от фюрера! Положение идиотское: фельдмаршал Рейхенау не только командующий шестой армией, но под его жезлом и вся наша группа «Юг», где заметно оживились войска маршала Тимошенко... Впрочем,— сообщил Хойзингер,— наш фюрер не помнит зла: он выслал в Полтаву из Лейпцига профессора Хохрейна, а из Дрездена вылетает доктор Фладе. Желательно ваше возвращение в ставку.

Паулюс срочно вылетел в «Вольфшанце», на аэродроме в Летцене его поджидал Рудольф Шмундт, адъютант фюрера.

— Поздравляю,— сказал он Паулюсу.— Шестая армия нуждается в новом командующем, и фюрер помянул вас. Едем...

Как выяснилось позже, Йодль возражал Гитлеру:

— Паулюс отличный генеральштеблер, но какой же он полководец? Ни разу не командовал ни полком, ни дивизией, ни корпусом. Доверять ему целую армию, тем более такую прославленную, как шестая, лучшую в нашем вермахте, это... даже опасно.

Гитлер соглашался, что Паулюс только теоретик:

— Кто там сейчас начальником штаба? Ах, этот Гейм? Согласен, не та фигура, чтобы подпирать Паулюса... Я дам ему в начальники штаба генерала Артура Шмидта.

На это Кейтель возразил Гитлеру, что если Паулюс только теоретик, то Шмидт лишь фронтовой практик, не имеющий высшего военного образования. Сочетать этих людей под единым штандартом — слишком рискованно, а Йодль добавил:

— Помимо всего, Шмидт обладает каверзным характером.

Но Артур Шмидт был заматерелым нацистом, что явно импонировало фюреру, и он сразу отмел всяческие сомнения:

— Пусть Паулюс поработает с Геймом, а потом со Шмидтом, и, думаю, они станут образцовой супружеской парой, своими личными достоинствами устраняя общие недостатки.

Все эти пересуды происходили за спиной Паулюса, и он понял все, когда сразу был проведен к Гитлеру:

— Паулюс! — крикнул фюрер.— Вы получите армию, с которой можно штурмовать даже небо... В своем плане «Барбаросса» вы сами наметили эту линию до Астрахани на Волге, которая осталась для нас пока недостижима. Я всегда высоко оценивал ваши мыслительные способности, но теперь вы обязаны доказать на деле, что шестая армия выйдет к Сталинграду и тем самым будет перекрыта главная артерия, через которую Сталин перекачивает с Кавказа гигантские массы горючего для своих армий...

— Служу великой Германии... хайль Гитлер!

Паулюс простился с бункерами «Вольфшанце», когда на пороге ему вдруг встретился танковый генерал — Эрих Гёпнер, уже ободранный и небритый, с обмороженным носом. Он криво усмехнулся:

— Преимущества нашей службы неожиданно выявляются лишь в самом конце нашей злокачественной карьеры. Не так ли?

— Так! Но... как вы осмелились оставить позиции?

Разжалованного Гёпнера одолевал грипп. По воротнику из черного бархата медленно сползала жирная фронтовая вошь.

— Не зарекайтесь, Паулюс,— с вызовом отвечал он.— Пробьет и ваш час, когда вы окажетесь в моем положении. Фельдмаршал фон Бек был прав: война на Востоке — это безумие, и вы еще не знаете, что вас ожидает в этой страшной России.

— Меня ожидает героическая шестая армия!

Эрих Гёпнер громко высморкался.

— Ах, к чему этот пафос? Вы, может, и уцелеете, но за вашу шестую армию я бы теперь не поставил и кружки пива...

## 8. ШЕСТАЯ АРМИЯ

Коко сразу опустилась в кресло, как-то поникла.

— Откажись,— сказала она.— Ты всегда можешь сослаться на рецидивы дизентерии, на свой нервный тик... Наконец, подумай обо мне, подумай о нашей беременной дочери. О, боже! — разрыдалась жена.— Недаром меня томили дурные предчувствия...

Паулюс ответил, что нет смысла отказываться от армии, ибо в кабинетах Цоссена, как и в бункерах «Вольфшанце», сложилась нездоровая обстановка:

— Сейчас я занимаю в вермахте тот промежуточный уровень, когда возможен скачок наверх, но, даже возвышаясь, я должен буду еще глубже погружаться в болото разногласий, криводушия и угодничества. Лучше уж страдать на фронте, нежели потерять честь в этой удушливой атмосфере.

— Глупец! — вспылила Коко.— Хотела бы я видеть, как ты будешь метаться по окопам в поисках личного туалета, испортив свои штаны с лампасами...

В какой-то момент Паулюсу показалось, что Коко права, и ему стало жаль отрывать себя от привычной кабинетной работы. Тем более что Гальдер и не подумал поздравить его.

— Доигрались,— сказал он с непонятной усмешкой...

Паулюс решил не форсировать события, благо Рейхенау не только забулдыга, но еще и хороший спортсмен, он может поправиться и снова возглавить армию. Цоссен поддерживал связь с Полтавой, и 17 января профессор Хохрейн известил Паулюса по телефону, что в здоровье Рейхенау наметилось улучшение:

— Самолет уже подан на стартовую площадку. Я доставлю фельдмаршала в свою лейпцигскую клинику, и скоро мы снова увидим Вальтера бодряком... Не волнуйтесь,— сказал Хохрейн,— мы с Фладе пристегнем его к креслу ремнями, чтобы не выпал при взлете и посадке. Ждите моего извещения из Лейпцига.

«Да,— размышлял Паулюс,— лучше остаться в Цоссене, только бы выжил Рейхенау...»

Но звонок вскоре последовал из Лемберга (Львова):

— Докладываю! — сообщил чужой голос.— Самолет с Рейхенау садился у нас на дозаправку. Пилот не рассчитал дистанции и врезался прямо в ангар. Хохрейн уцелел, а Фладе покалечился.

— Что с фельдмаршалом? — закричал в трубку Паулюс.

— Рейхенау оторвало голову, сейчас ее приделывают ему на прежнее место, чтобы хоронить со всеми почестями...

Паулюс опустил трубку телефона, сказал Гальдеру:

— Какое дурное предзнаменование для шестой армии!

— Тем более,— съязвил Гальдер,— для н а с...

18 января 1942 года (именно в тот день, когда войска маршала Тимошенко перешли в наступление на реке Северский Донец) генерал-лейтенант танковых войск Фридрих-Вильгельм Паулюс был официально объявлен командующим 6-й армией, состоявшей в подчинении группы армий «Юг». Эта армия имела славу «покорительницы столиц», она первой ворвалась в Брюссель, парадным маршем прочеканила по бульварам Парижа, заслужив всеобщую ненависть людей — от тихих местечек Фландрии до уютных хуторов Украины. Пришло время прощаться...

Ольга под широким платьем скрывала высоко вздернутый живот, а зять Паулюса нервно моргал глазами

— Вы не думайте, барон,— сказал ему Паулюс,— что останетесь без дела: мы вместе вылетаем в Полтаву.

Зондерфюрер войск СС отделался кратким «яволь», но совсем иначе восприняла это Ольга, сразу заплакавшая:

— Папа, не делай меня вдовою, а своих внуков сиротами.



— Не надо плакать,— отвечал Паулюс дочери.— Зондерфюрер лишь жалкий капитан, твоему Альфреду надо делать карьеру.

— Но я же знаю, что такое война в России... в газетах не пишут, что отгуда день и ночь идут эшелоны с калеками и мертвецами. У меня с Альфредом такая чудесная жизнь, мы так любим друг друга... Папа, не забирай его в Полтаву!

Отец пожелал Ольге легкого разрешения от бремени:

— Верь, деточка, я обязательно вырвусь с фронта, чтобы присутствовать на крестинах твоего или твоих младенцев...

Был очень холодный, ветреный день, когда семья Паулюса и берлинские знакомые провожали его на аэродром. Генерал-лейтенант с зятем-зондерфюрером СС только в самолете успокоились от слез женщин и бравых пожеланий мужчин. Моторы транспортного «юнкерса» разом взревели, набирая мощь. На разбеге по взлетной полосе пассажиров долго трясло в узких сиденьях, потом к фюзеляжу мягко пришлепнулись катки колес, и Паулюс сразу ощутил безмятежную легкость полета.

— Теперь и отдохнем,— сказал он, закрывая глаза.

Радист самолета сразу перенял из эфира телеграмму от доктора Геббельса, который желал Паулюсу боевых успехов, обещая, что министерство пропаганды не обойдет 6-ю армию своим особым вниманием. Из потемок гитлеровских бункеров Паулюс выбрался на свет божий, чтобы обрести публичное имя в истории!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Кейтель утверждал, что война ведется не против России, а с еврейско-большевистским мировоззрением. Но в этом случае нацисты должны бы не трогать наших храмов и музеев, наших парков и наших памятников. Когда «проспект Сталина» оккупанты переименовали в «Садовую улицу», а «площади Ленина» возвращали старое название «Театральная», то это еще можно объяснить. Однако никакие идейные соображения не подходили под звериные приказы покойного Рейхенау, который запрещал в городах России тушить даже пожары. «Исторические или художественные ценности на Востоке,— писал этот варвар,— не имеют для нас значения». Если верить Рейхенау, то ценности имеют значение только на Западе, а мы, русские, обладающие 1000-летней культурой, только пахали и сеяли... Именно об этом и возник в самолете острый разговор между Паулюсом и его попутчиком — капитаном Борисом фон Нейдгардтом, который очень резко отказывался от палаческой практики в рядах 6-й армии. По красной окантовке его формы Паулюс признал в нем артиллериста.

— Вы, капитан, из какой армии? — Нейдгардт ответил, что из 6-й.— А вас не пугает то обстоятельство, что вы летите в одном самолете с новым командующим именно этой армии?

— Это никак не изменит моих взглядов. Мы можем вешать или целовать русских в задницу — все равно мы останемся для них только разрушителями той жизни, которая их вполне устраивала.

Паулюса смущал странный диалект его языка:

— Не пойму. Вы, наверное, баварец? Или, может, пруссак?

— Нет, я... петербуржец. Сын последнего калужского губернатора. А если копнуть глубже, то я племянник премьера Столыпина и министра иностранных дел Извольского. Теперь, как видите, я офицер непобедимого германского вермахта.

Паулюс всегда испытывал слабость к аристократии, и, глянув на дремлющего в кресле Кутченбаха, он сказал:

— Напрасно я тащу своего захудалого барона! Вы, капитан, могли бы служить при моем штабе отличным переводчиком.

— Благодарю,— отвечал Нейдгардт.— Но я желал бы остаться при своих зенитных батареях калибра «восемь-восемь»...

(С этого момента и до самого конца Сталинградской эпопеи барон

Нейдгардт избегал общения с Паулюсом, и он появится лишь в самом конце — уже в подвалах универмага на площади Павших борцов, чтобы поиздеваться над высшим командованием, но об этом я расскажу позже.)

«Юнкерс» уже пошел на посадку, под его брюхом-фюзеляжем быстро-быстро мелькали крыши уютной Полтавы, утопавшей в глубоких снегах.

— Алло, алло, алло! — разбудил Паулюс своего зятя...

Его встречали: начальник штаба Фердинанд Гейм и адъютант Вильгельм Адам. Гейм сразу же доложил, что с 18 января — вот уже второй день подряд! — русская армия маршала Тимошенко проламывает оборону на путях к Харькову:

— Акцентировано их стремление на Барвенково.

Гладко выбритое лицо Паулюса отражало сияние морозного дня, все отметили его рост в 190 сантиметров, его телесную худобу, узкие губы и нос с благородной горбинкой. Тонкая рука Паулюса освободилась от тисков перчатки, протянутая Гейму:

— Благодарю, Гейм, о прорыве на Барвенково я извещен еще в Цоссене.— Затем Паулюс отвел ладонь Адама от козырька фуражки.— Не будем официальны. Судя по выговору, вы гессенец?

— Так точно, уроженец Гессена.

— Значит, земляк. Мы, надеюсь, поладим...

Штабной «хорьх» катил по заснеженным улицам Полтавы, и Паулюс был невольно удивлен великолепием классических зданий, обилием памятников старины, красотой старинных барских и купеческих особняков. Помня о «наполеономании» множества генералов вермахта, он шутливо обратился к полковнику Гейму:

— Кажется, здесь Наполеон не ночевал, не закусывал и не заводил скороспелых шашней с полтавскими дамами. Так что мне в этом городе никакие исторические аналогии не угрожают.

Фердинанд Гейм оказался совсем лишенным чувства юмора.

— Да,— отвечал он,— зато здесь бывал шведский король Карл XII, и Полтава перегружена памятниками в честь той самой битвы, которая отбросила короля к Бендерам.

— Любопытно их осмотреть,— сказал Паулюс...

Они прибыли в штаб-квартиру, занимавшую здание какого-то техникума. Начальником офицерского казино в Полтаве оказался старый приятель Паулюса — капитан Бернгард Дормейер, который с готовностью официанта уже держал обеденное меню.

— С чего начнем? — спросил он весело.

— С картофельных оладий,— сказал Паулюс.

— И только? Мы же богатые люди.

— Богатые? Тогда с луковой подливкой...

Квартирмейстер фон Кутновски предъявил сводку о состоянии 6-й армии, и она выглядела весьма утешительно. В составе армии числились одиннадцать пехотных дивизий, 213-я охранная; танковую группу Паулюса составляли сразу пять мощных панцер-дивизий, а также моторизованные (в том числе и отборные дивизии СС — «Викинг» и «Адольф Гитлер»).

— Замечательно, Кутновски,— сказал Паулюс.— Скоро следует ожидать еще и маршевых пополнений из Франции.

— Ах, «парижане»! Они там избаловались в Европе и, попадая на русский фронт, сразу скисают...

В оперативном отделе штаба уже были развернуты карты, оперативники кратко и четко ввели Паулюса в обстановку на фронте, заодно утешив его тем, что места прорыва русскими войсками сразу же заполняются из резерва:

— Количество русских дивизий у маршала Тимошенко не должно настораживать,— докладывали они,— ибо в русских дивизиях едва наберется пять-шесть тысяч человек, бывает и намного меньше, тогда как полнокровная германская дивизия насчитывает до пятнадцати тысяч солдат.



— Благодарю. Я доволен,— отвечал Паулюс. В казино он напомнил Кутченбаху о соблюдении должной субординации.— Хотя вы и зять мне, но обедать впредь станете от меня отдельно.

— Ладно,— по-русски отозвался зондерфюрер...

Подле Паулюса обедал генерал-майор Мартин Латтман, командир 389-й пехотной дивизии, и Паулюс дружески ему улыбнулся.

— Мы с вами уже встречались. Помните, это было в доме фельдмаршала Эрвина Витцлебена... вы не забыли?

— Да, в лучшие времена, господин генерал-лейтенант. Я тогда закрывал телефон подушкой, чтобы гестапо нас не подслушало.

— Значит, времена не были лучшими, Латтман.

— Они стали еще хуже,— кивнул Латтман.— Хотя здесь, в условиях фронта, мы говорим более откровенно, нежели в тылу.

— Как тут дела с партизанами? — спросил Паулюс.

Морозы на Украине держались сильные, и Латтман сказал, что только теперь в армию стали поступать каталитные печи для разогрева моторов, в радиаторы стали заливать глизантин — незамерзающую жидкость. А партизаны бросают в бензобаки немецких машин кусочек сахару, и этого бывает вполне достаточно, чтобы в пути машина остановилась «по неизвестным причинам» — никаких следов диверсии не остается.

— Советы,— заключил Латтман,— сдали нам свою территорию только в тактическом плане, оставляя ее в сфере своего прежнего политического влияния, доверяя власть партизанам...

Командиры дивизий были заняты делами на фронте. Паулюсу в Полтаве представились лишь командиры корпусов. Он объявил генералам, чтобы впредь борьба с партизанами не превращалась в репрессии над мирным населением:

— Мой предшественник Рейхенау слишком категорично разумел правовые нормы своего поведения. При мне этого не будет. Статья сорок седьмая военного кодекса от 1872 года сохранила свой смысл и в новых условиях: выполнение преступного приказа уже само по себе является преступлением...

Его пожелал видеть генерал-полковник Вальтер Хейтц, командир 8-го армейского корпуса («выступающая нижняя челюсть,— описывал этого человека Адам,— придавала его узкому лицу какое-то жестокое выражение»). Хейтц был взбешен.

— Не понимаю! — заявил он.— Приказ Рейхенау одобрен лично фюрером, который повелел разослать его в копиях по всем частям вермахта, как общее руководство к действию в условиях Восточного фронта. Отвергая этот приказ Рейхенау,— сказал Хейтц,— вы... вы впадаете в опасную крайность.

— Приказ Рейхенау в силе,— тихо добавил Гейм.

Пришло время проверки совести Паулюса. Он сказал, что в Семилетнюю войну генерал фон Марвитц отказался исполнить звериный приказ короля Фридриха Великого, и на могиле Марвитца в святости сохранилась надпись: «Избрал немилость там, где повиновение не приносило ему чести...»

— Может быть,— сказал Паулюс Хейтцу,— приказ Рейхенау останется руководством для всего вермахта, но только не для шестой армии. О том же, что творится вне сферы действия моей армии, я знать не знаю. Это меня не касается... Впредь,— распорядился он,— вешать так называемых партизан ЗАПРЕЩАЮ!

Ему было приятно, что вечером его навестил генерал Отто Корфес, благодаривший Паулюса за отмену приказа Рейхенау:

— Покойный любил убивать людей, веселясь, когда они падали

в ямы трупами, и такие казни у Рейхенау превращались в загородные пикники — с очередной выпивкой...

Корфес был уже в летах. Рано облысевший, только над ушами еще росли волосы, он имел крупный нос и крепкий подбородок, выдававший в нем волевого человека. (Конечно, ему, генералу вермахта, не дано было знать, что со временем он станет видным историком, а его труды будут печататься в московской прессе.) Паулюс, испытывая симпатию к Корфесу, сказал, что немало удивлен жестокостью Рейхенау и даже не понимает причин, которые вызвали появление этих бесчеловечных приказов.

— Не забывайте,— напомнил Корфес,— что великая германская литература начиналась с «Разбойников» Шиллера. Так уж сложилась наша история, что с первых Гогенцоллернов, осевших в Бранденбургской марке, нас, германцев, приучали к насилию, воспитывая в немцах превосходство над другими народами. Даже когда у нас не было штанов, чтобы прикрыть свои задницы, мы задирали нос перед всем миром. Но из прошлого «бедного Михеля», над которым потешался весь мир, Гитлер превратил нас в «проклятого Фрица», ставшего пугалом для человечества...

Паулюс был несколько шокирован такой откровенностью Отто Корфеса, который просил называть его не «генерал Корфес», а «доктор Корфес», чем он намекал на свое ученое звание.

— Стоит ли обострять этот вопрос, доктор Корфес? Германия всегда была вынуждена воевать со своими соседями.

— Отменив приказ Рейхенау, вы, господин генерал-лейтенант танковых войск, доказали, что являетесь умным человеком. Подумайте сами. Кто из соседей собирался нападать на Германию после Версальского мира? Может, поляки? Чехи? Норвежцы? Французы? Или... русские? Нет,— сказал Корфес,— мы сами взорвали бочку с порохом и теперь враждуем со всем миром...

Разговор становился опасен. Паулюс ответил, что закрывать подушкой свои телефоны не станет, ибо гестапо не боится:

— Но вы, доктор Корфес, назовите мне ту прекрасную и блаженную эпоху германской истории, в которой вы бы хотели жить.

Корфес задумался, опустив голову. Молчал.

— Ну? — торопил его Паулюс, посмеиваясь.

Отто Корфес поднял лицо. Оно было даже бледным.

— Я не знаю такой эпохи, и потому мне приходится жить в той, которая меня породила. Но если я не согласен с этой своей эпохой, значит, я должен ее перестроить.

— Нет, доктор Корфес! — строго отвечал Паулюс.— Если я завтра же пошлю вашу дивизию на Астрахань, вы ее для меня возьмете. Но переделать эпоху вам не удастся. Она такая, какая есть, и человек, живущий в своем времени, обязан подчиняться его требованиям, если он не дурак и желает выжить.

— Простите. Вы рассуждаете... реакционно.

— Вы второй, от которого я слышу эти слова.

— Кто же был первым? — спросил Корфес.

— Ваш коллега — генерал Мартин Латтман. Но он сказал об этом намного раньше вас, еще до похода в Россию...

Их разговор прервало появление зятя Паулюса — зондерфюрера СС Альфреда Кутченбаха, в общем-то невредного парня:

— Извините, господа. Но сейчас в нашу дверь должны постучаться позывные из Лондона — позывные Би-би-си.

Как раз в этот день (20 января) выступал генерал де Голль, который и сказал: «В то время, когда мощь Германии и ее престиж поколеблены, солнце русской боевой славы восходит к зениту. Весь мир убеждается в том, что этот 175-миллионный народ достоин называться великим... самые суровые испытания не поколебали его сплоченности. Французский народ восторженно приветствует успехи и рост сил русской нации. Ибо эти успехи приближают Францию к ее желанной цели — к свободе и отмщению».





— Хватит, барон,— сказал Паулюс зятю.— Выключите.

Корфес собрался уходить, жалуясь на мороз, и хвастливо похлопал себя по добротным и высоким валенкам до колен:

— Парадокс! — сказал он.— Наши химики научились заменять каучук искусственной «буной», но вот освоить выделку валенок из обычного войлока германская наука оказалась неспособна...

Это верно. Паулюс на улицах Полтавы не раз видел солдат в эрцаз-валенках, и это было ужасное зрелище: они таскали на своих ногах какие-то несуразно раздутые гамаши, плетенные из соломы, которая не спасала ноги от холода, а подошвы были сделаны из прессованного картона. Морозы усиливались, поджимая по утрам до 45 градусов. Немцы объявили в Харькове и Полтаве кампанию по сбору теплых вещей. Они ходили по домам и говорили, что теплые вещи нужны для русских военнопленных. Конечно, жители, чтобы помочь своим, все отдавали. Кто что мог. А потом свои же фуфайки и шерстяные шали они видели на немецких солдатах. Из фетровых шляп немцы мастерили подшлемники для касок, чтобы они не студили им головы. Иногда обматывали головы женскими рейтузами. Гонялись и за подшивками старых газет, чтобы обертывать ноги... Вся эта «русская экзотика» Паулюса поначалу только смешила, никаких выводов он пока не делал. Методично и скрупулезно он приобщался к новой для него среде, все тщательно продумывая. После войны Фердинанд Гейм вспоминал: «Случалось даже так, что утром Паулюс отвергал решение, принятое вечером, всю ночь думая и решив, что следует поступить иначе...»

Между ним и его адъютантом Вильгельмом Адамом сразу — почти с первого дня — возникла доверительная приязнь.

— Меня тревожит, что большинство командиров корпусов и дивизий шестой армии старше меня не только годами. Как найти общий язык с Генрихом Дебуа, который когда-то командовал ротой, имея в своем подчинении ефрейтора Адольфа Шикльгрубера, ставшего для нас фюрером Гитлером.

— Э, ерунда,— отвечал Адам.— Дебуа не слишком-то задается от такой чести, ему плевать на всех ефрейторов...

Паулюс посетил поле Полтавской битвы, он долго стоял возле массивного памятника погибшим здесь шведским драбантам. Его внимание привлекла русская надпись на монументе.

— Кутченбах, а что здесь написано? Наверное, русские и на том свете не оставили шведов своей бранью.

Кутченбах перевел: «ШВЕДАМ — ОТ РОССИЯН... Вечная память храбрым шведским воинам». Удивлению не было предела. Мало того, что русские свято берегли могилу своих давних недругов, они еще и выражали им свое уважение.

— Интересно, барон, отнесутся ли русские с таким же решпектом к могилам наших солдат, офицеров и генералов?

Кутченбах страдал от мороза. Ежась в своей черной эсэсовской шинели, он сказал тестю, что в русском народе существует пикантное выражение: «осиновый кол тебе на могилу».

— Я думаю, что русские, скорее всего, пройдутся над нашим прахом своими бульдозерами...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Конечно, он повидался с бароном Максимилианом Вейхсом, командующим всей группой «Юг», в подчинении которого состояла его 6-я армия. Вейхс, осторожный и болезненный человек, почти равнодушно реагировал на первый вопрос Паулюса:

— Как мне относиться к маршалу Тимошенко?

— А как вы к нему относитесь?

— Пожалуй, скептически.

— Скепсис здесь неуместен,— отреагировал Вейхс,— ибо для нас зачастую опасны не сталинские полководцы, а те силы, которые Сталин предоставил в их распоряжение. Правда, известно, что маршал Тимошенко не жалеет крови своих солдат, он со времени штурма линии Маннергейма привык действовать ударами в лоб, но отказать ему в напористости я не смею. Тимошенко даже опасен для нас в своем нажиме на Барвенково, желая отворить ворота на Харьков и вытеснить нас из районов промышленного Донбасса. А почему вы, Паулюс, о нем спрашиваете?

Паулюс объяснил, что ему, вчерашнему генеральштеблеру, необходимо знать слабости противника:

— Если я начну строить свою тактику на академических военных законах, то это не значит, что победа мне обеспечена, ибо с противной мне стороны точные законы тактики и стратегии могут не соблюдаться, и в этом случае я могу остаться в дураках. Как бы ни была хитра лисица, как бы она ни изощряла свой ум, но в лапы медведя ей лучше не попадаться.

— Так вы и не попадайтесь,— здраво отвечал Вейхс.

Возвращаясь в Полтаву, закутанный в русскую шубу, Паулюс ознакомился с русской листовкой, которую поднял с дороги его адъютант Адам, и Паулюс прежде всего подивился хорошему качеству бумаги. Поразил его и удачный остроумный фотомонтаж: на листовке знаменитый Мольтке встряхивал Гитлера в своей руке, словно паршивого щенка, а внизу была приведена цитата из высказываний Мольтке: «НЕ СМЕЙТЕ ВСТУПАТЬ В БЕСКРАЙНИЕ РУССКИЕ ПРОСТОРЫ, БОЙТЕСЬ СИЛЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ РУССКИХ».

## 9. БАРВЕНКОВО

Бывалые солдаты, которым выпало воевать с Тимошенко еще в финскую кампанию, побаивались служить под его началом:

— Он, этот черт лысый, тогда нашего брата не жалел, гляди, как бы и теперь трупешников из нас не наделал...

Мнение бойцов было устойчивым: «Где бы Тимоха ни появился, там всегда ожидай несчастья!» Семена Константиновича Тимошенко всегда отличал от других не в меру воинственный оптимизм. Даже попадая под бомбежки, уже полузасыпанный землей, он еще грозил кулаком немецким самолетам:

— Ну, ладно! Вы у меня еще дождетесь...

Тимошенко было присуще упорство в мнении, переходящее в упрямство. Внешне он никогда не поддавался панике, оставаясь невозмутимым. Как бы дурно ни складывалась обстановка на фронте, он всегда докладывал «наверх», что все в порядке; даже под Киевом, когда показалась, запылив небеса, танковая колонна Эвальда Клейста в полтысячи роликов, маршал не изменил себе, смело выставив против армады свои последние девять танков... Хорошо это или плохо? Не мне судить. Думайте сами.

— Вы у меня еще дождетесь! — угрожал он вермахту.

Этот оптимизм, не всегда оправданный, делал маршала уверенным в победе даже в тех случаях, когда силы противника превосходили его реальные возможности. Тимошенко своей слабости не признавал, а опыт штурма линии Маннергейма убедил его в том, что если без конца лупить в одно и то же место, то оборона противника сама по себе развалится. Теперь, заведомо убежденный в слабости врага, тем более что товарищ Сталин уже сказал об этом по радио, Тимошенко убеждал себя и других:

— Никаких сомнений в успехе! Перед нами уже деморализованный, перепуганный враг, а мы имеем ясную цель. Вооруженные могучей сталинской техникой, мы способны теперь гнать и гнать подлых захватчиков... до Берлина!





Фронтовые командиры, ежедневно соприкасаясь с противником и допрашивая пленных, слабости врага не наблюдали. Наоборот, они уже выявили трехкратное превосходство немцев в противотанковой артиллерии. В беседах между собой командиры критиковали беспричинные выводы главкома:

— Может быть, сталинская техника и могучая, но до нас она еще не дошла... Ладно! Мы люди непромокаемые и несгораемые, а приказы начальства не обсуждаются.

— Ого! Еще как обсуждаются, стоит только в окопах наших солдат послушать. Это командирам да генералам можно рты позатыкать, а рядовому — попробуй. Он тебя пошлет до фени...

Разведка предупреждала: все населенные пункты немцы укрепили дотами, в селах выставлены гарнизоны, усиленные танками, насыпи железных дорог немцы заранее обливали водой, чтобы образовались скользкие и прочные откосы. Но Тимошенко оставался верен себе:

— Враг на себе узнает всю несокрушимую мощь нашей доблестной красной кавалерии. Наконец войска получили новое оружие — противотанковые ружья (ПТР)...

В истории бывают странные совпадения: Тимошенко начал наступать, когда угробили в самолете полумертвого Рейхенау, когда в 6-ю армию назначили Паулюса, еще не успевшего освоиться в делах фронта. Лютовали морозы. Украину завалило таким снегом, какого старожилы давно не помнили. Артиллерийские тягачи не могли вытянуть пушки к передовой, в снегу умирали обессиленные лошади. Грузовики застревали в сугробах, шоферы лопатами разгребали завалы снега, чтобы прошли их машины. Штабы отрывались от своих частей. Убитые в атаках не падали, а замерзали стоймя — по грудь в сугробах. С первых же часов наступления стало ясно, что прорыва не будет, а будет лишь отжимание, оттеснение, отталкивание противника. Темп наступления был очень низким — от двух до восьми километров в сутки. Взяли хутор — хорошо, завтра возьмем деревню. Несмотря на геройские усилия, бойцы с трудом разрушали немецкую оборону. Потери были велики; обескровленные, войска в некоторых местах даже были отброшены назад. Кажется, прав был Г. К. Жуков, предчуя и малые успехи и большие жертвы...

Тимошенко руководил наступлением из Воронежа, его начальник штаба Баграмян докладывал, что кавалерия, атакуя врага в лоб, застряла в глубоких снегах, а сверху ее уничтожает немецкая авиация. Боеприпасы уже кончаются.

— Так скоро? — удивился маршал.

— Да. На путях гигантские снежные заносы, эшелоны простаивают сутками, не в силах сдвинуться с места.

— Сколько взято пленных?

— Двадцать пять фрицев.

— Почему так мало? — возмутился Тимошенко.

— Не хотят сдаваться, вот и все...

За время наступления (а оно длилось 13 дней) в плен сдались лишь 115 человек. Танков у Тимошенко было очень мало, но он подчинил их стрелковым дивизиям, командиры которых, далекие от понимания танковой тактики, поставили эти машины на убой — под немецкие «восемь-восемь». Директива Ставки ВГК от 10 января, конечно, маршалом была изучена, но выводов он, кажется, не сделал. Мемуары И. Х. Баграмяна в том месте, где он описывает эту операцию, пестрят выражениями: успеха не имели, вперед не продвинулись, были остановлены... Удачнее всех действовали лыжники и те войска, что двигались на крестьянских санях. Так иногда бывает на войне, что дедовские методы оказываются лучше новых, и полководец обязан учитывать их

выгоду. Очевидец писал: «Медленно, очень медленно двигались цепи. Бойцы шли по пояс в снегу, на плечах тащили пулеметы, с большим трудом тянули через толщу снега пушки». Это была не только война, но и тяжкий труд — почти каторжный...

На флангах своих армий Тимошенко не удалось прорвать оборону; с севера Балаклею держал Паулюс с танками Гота, на юге вцепился в Славянск генерал Клейст — тоже с танками, которые по зимним шляхам он передвинул от реки Миус. Кризис в войсках противника обозначился лишь 24 января, когда наша кавалерия ворвалась в улицы Барвенково и, спешившись, вступила в кровопролитные бои. Барвенково служило для немцев тыловой базой снабжения, а железнодорожная станция Лозовая группировала немецкие эшелоны на харьковской магистрали, — эта Лозовая тоже была взята. Вейхс в эти дни указал Паулюсу выдвинуть вперед свои резервы...

24 января, когда в армии Тимошенко всем уже стало ясно, что наступательный порыв выдохся, а войска не в силах продвигаться вперед, только один маршал Тимошенко не понимал этого и собрал у себя совещание, заявляя:

— Именно сейчас сложилась самая благоприятная обстановка для дальнейшего развития нашего наступления...

Но слова, какие бы они ни были громкие, так и остались словами. Войска остановились, а по флангам еще велись затяжные изнурительные бои. Результат Барвенковской операции был таков: наша армия пробилась на 90 километров к западу, образуя в линии фронта выпуклость Барвенковского выступа, который выделялся на картах, как болезненно-разбухший нарыв. 31 января операция была закончена, но участники ее пишут в воспоминаниях, что она заглохла сама по себе — даже без приказа...

Иван Христофорович Баграмян был намного умнее маршала Тимошенко, и он развернул перед ним карту с этим выступом:

— Возникла новая опасность,— сказал он,— мы в результате громадных потерь обрели, благодаря этому Барвенковскому пузырю, лишние четыреста сорок километров в новой линии фронта, который образовался.

— Сам вижу,— отвечал Тимошенко.— Так разве же это плохо, что мы выдвинулись вперед, словно клин...

В эти дни Сталин сказал маршалу Шапошникову:

— Товарищ Тимошенко не справился с поставленной перед ним задачей. Клейста с его танками он лишь побеспокоил, а Харьков не освободил. Но товарищ Тимошенко настроен очень бодро, основательно полагая, что Барвенковский выступ является удобным плацдармом для нашего дальнейшего продвижения — как к Харькову, так и в области Донбасса... Что скажете?

На столе Верховного остывал в тарелках обед, до которого он даже не дотронулся. Шапошников указал на дугу выступа:

— Немцы,— отвечал он,— способны совсем иначе взглянуть на кривизну фронта. Для нас этот Барвенковский выступ кажется многообещающим плацдармом для выдвижения, а немцы вправе считать его «оперативным мешком», в котором оказалась наша армия.

— Борис Михайлович,— вежливо сказал Сталин,— мы с вами в Кремле, но товарищу Тимошенко *на месте виднее...*

Это как раз и был тот случай, когда «наверху» могло быть виднее, нежели «на месте», но спорить со Сталиным не приходилось. Шапошников был человеком слишком мягким, зато вот грубоватый Жуков высказал ему все, что думал:

— Из-за этого Барвенковского выступа они там получили фронт в два раза больше, чем имели, и весь он в дырках. Чем маршал Тимошенко заткнет эти дырки? Разве что своим пальцем, да и то на карте своего штаба... Где же конкретный результат? Не вижу. Сейчас уже не сорок первый год, когда мы немца в лоб пугали, а Тимошенко еще





не слез с той кобылы, которую взнуздал в восемнадцатом... Я опасаюсь этого выступа!

— Я тоже, голубчик,— ответил ему Шапошников.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

В эти дни Гитлеру доложили, что среди солдат Восточного фронта воцарилось уныние, не слыхать бодрых песен с уверенностью в конечной победе. Это фюрера возмутило:

— Всех запевал, которые осмелятся нагонять тоску, спровадить в штрафные роты... Пусть уж лучше горланят похабную «Лили Марлен», нежели «Был у меня товарищ, был у меня товарищ...».

Да, у многих были товарищи, но товарищей похоронили!

Что-то страшное творилось на путях, по которым двигались с фронта эшелоны, вывозящие в Германию раненых. Железнодорожное хозяйство было давно разрушено, а снежные заносы были столь велики, что санитарные поезда двигались со скоростью десять-пятнадцать километров в час. Паулюс случайно как-то зашел обогреться в один из вагонов такого поезда, который оказался операционной; при нем врачи укладывали на стол ефрейтора со значком «23», что означало, что ефрейтор вышел живым из 23-х рукопашных схваток. Теперь он орал от боли.

— А морфия нет,— предупредил врач.

— Коньяк? — с надеждою вопросил вояка.

— Тоже нет. Выпили. Терпите.

— Сколько можно? — кричал ефрейтор.— Если вы человек гуманной профессии, так пристрелите меня еще до операции.

— Санитары, держите его. Крепче.

— А-а-а-а-а-а...

— Воткните ему в рот сигару,— указал врач.

Шестая армия Паулюса снабжалась бразильскими сигарами!

Паулюс удачно выбрался из «Барвенковского кризиса», его смущала лишь потеря станции Лозовая. Вильгельм Адам писал о нем: «Его острый, как клинок, ум, его непобедимая логика снискали ему уважение всех сотрудников. Я не помню такого случая, когда бы он недооценил противника или переоценил бы собственные силы и возможности. Решение его созревало после длительного и трезвого обсуждения». Да, можно согласиться, что Паулюс— не импульсивный Клейст и не порывистый Гот. Характеру его, скорее, импонировал педантичный нрав барона Максимилиана Вейхса, который вскоре и навестил его в помещении сельской школы, где Паулюс разместил свой штаб. Пахло лизоформом, даже креозотом, наконец, просто дерьмом, кучи которого валялись по углам школьных классов и которое растаптывалось и разносилось на сапогах солдат по коридорам и лестницам.

— Что у вас за свинарник? — сказал Вейхс, здороваясь.

— В этой школе раньше стоял двести восьмой пехотный полк, который и загадил все, что можно. Я не стал ругаться, барон, ибо этот полк в одну ночь потерял семьсот солдат при выдвижении к Изюму — убитыми и обмороженными...

В углу штабной комнаты кучей валялись красочные солдатские журналы с видами пляжей Нормандии, с изображением солдат вермахта, загорающих в шезлонгах на берегах Ливии, они уплетали сливки в харчевнях древнего Брюгге,— такие фотографии украшались призывными надписями: «Бесплатное путешествие в рядах германского вермахта».

Вейхс, конечно же, завел речь о Барвенковском выступе:

— Скажите, Паулюс, вас не пугает этот болезненный аппендикс, в который маршал Тимошенко запихнул свою армию?

— Нисколько,— последовал ответ.— Я с Геймом уже обсудил ситуацию, сочтя ее выгодной для нас и очень опасной для того же маршала Тимошенко. Потому и решили не выдавливать русских из этого,

как вы удачио выразились, «аппендикса».— Гейм услужливо раскатал карту, Паулюс указал Вейхсу на Балаклею.— Если моя шестая армия ударит с севера, а танки Клейста,— палец Паулюса резко передвииулся к городу Славянску,— ударят с юга, то весь этот оперативный мешок окажется прочно завязан.

— Однако,— заметил Вейхс,— Тимошенко все-таки получил от нас в подарок хороший плацдарм для выдвижения к Харькову.

Паулюс отвечал ему без промедления:

— Будь я на месте Тимошенко, я бы никогда не начинал наступление, выбираясь на стратегический простор из узкого оперативного мешка: это слишком рискованно.

— Что бы вы сделали, будь вы иа месте маршала Тимошенко?

— Вопрос трудный,— поежился Паулюс.— Но я постараюсь ответить. Будь я на месте Тимошенко, я бы плюнул на все и отвел бы свои войска назад — обратно с этого выступа.

— Но вы понимаете,— засмеялся Вейхс,— что ни Сталин, ни Тимошенко на это никогда не пойдут. Отвести свои войска после того, как эти войска оросили Барвенковский выступ своей же кровью?.. Нет, сейчас они думают о другом: чтобы с этого выступа и начать свое наступление на Харьков и Донбасс.

Прощаясь, барон Вейхс — под большим секретом — сообщил Паулюсу нечто серьезное, выуженное из глубин «Вольфшанце»:

— Догадываетесь ли вы, почему фюрер поставил вас во главе шестой армии? — Паулюс сказал, что не догадывается.— Он решил поднять ваш престиж на этом посту, чтобы потом вы, как фронтовой генерал, заменили Йодля, которым Гитлер недоволен.

— Но фюрер сейчас всеми генералами недоволен.

— Это правда,— сказал Вейхс.— Но Йодль стал его раздражать, настаивая на окончательном штурме Ленинграда, а не забираться на Кавказ, куда так стремится наш фюрер, привлеченный ароматом майкопской и бакинской нефти... Впрочем, я пойду. А то у вас здесь, в этой школе, дышать невозможно от вонищи. Сколько, вы сказали, положили в пехотном полку?

— Семьсот. Госпитали забиты. Вывозить не успевают.

— Всего доброго, Паулюс... я поехал.

В морозном небе слышалось тарахтение — это кружил над школой русский самолет устаревшей конструкции ПО-2, который в вермахте называли «кофейной мельницей» или «швейной машинкой».

— Когда же кончатся эти морозы? — сказал Паулюс...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Вспомннаю. Когда бы нн зашла речь о войне, обязательно кто-ннбудь из собеседников в удивлении воскликнет:

— А все-таки хотелось бы знать, как могло случиться, что немецкие войска оказались на берегах Волги?

Однозначным ответ быть не может. Силы иашего народа были колоссальны. Мы ие знаем точно, сколько людей выставила наша страна на передовую линию огня, и, пожалуй, это останется неизвестно. Но зато известио, что за годы войны мать-Россия пошила около 40 миллнонов шинелей, 20 миллионов ватников, 70 миллионов гимиастерок и дала фронту 11 миллионов пар валенок. По этим цифрам можно прикинуть, каковы были наши резервы.

А как же немцы оказались на Волге? В самом деле — как?

Знаю, что мое мнение историки, наверное, станут оспаривать, и все же я свое мнение скрывать от читателя не стану.

— Много,— скажу я вам,— было допущено ошибок в этой войне. Но будущая трагедия Сталинграда, мне кажется, начиналась именно с Барвенково, откуда Сталин и Тимошеико хотели бы развить мощное наступление, и от этого же Барвенково перед войсками Паулюса скоро откроется стратегический простор, выкатывающий немецкие танки к берегам нашей матушки-Волги...



## 10. В ОЖИДАНИИ

Войну в Ливии сами же англичане прозвали «африканскими качелями», и эти качели работали исправно: Роммель вперед — Окинлек назад, Роммель вправо — Окинлек налево.

Португальский историк Ф. Микше писал: «Самой замечательной способностью Роммеля была его способность с молниеносной быстротой сосредотачивать свои войска в нужном иаправлении, благодаря той быстроте, с какой им это делалось, у противника создавалось впечатление, что такое же превосходство у иего имеется и на всех других направлениях». И чем хуже становились дела итало-немецкого корпуса в Ливии, тем изощреннее действовал Роммель. А сейчас дела складывались неважно.

Гитлер еще не мог оправиться после поражения под Москвой, а Муссолини задерживал доставку горючего, ибо его танкерный флот бомбили английские пилоты с аэродромов Мальты. Кстати, дуче не раз трезвонил, что возьмет Мальту с моря, и по этому случаю итальянцы придумали такой анекдот.

— Дуче, почему ты не можешь взять Мальту?

На этот вопрос фюрера Муссолини с язвой ответил:

— Потому что Мальта, как и Англия, тоже остров...

Намек, как говорят русские, не в бровь, а прямо в глаз!

Лишь в январе Муссолини отправил для Роммеля «нефтяные лоханки», которые на этот раз тащились под конвоем линкоров (!). Именно в те дни, когда маршал Тимошенко устремлял свою армию на Барвенково, Роммель (еще не маршал) опять иачал раскачивать «африканские качели», с которых давио уж пора сорваться кому-либо из двух — или ему, Роммелю, или Окинлеку...

Фантазия у Эрвина Роммеля работала превосходно.

— Я никогда в жизни не красил заборов,— сказал он своему штабу,— но сейчас, кажется, предстоит побыть в роли хорошего маляра... А что если нам закамуфлировать танки под грузовики, а грузовики сделать издали похожими на танки?

Этим примитивным камуфляжем он задурил разведку Окинлека, неожиданным маневром расчленив англичан на части, затем снова вошел в Бенгази, где и захватил склады снабжения, топлива, оружия и, естественно, пленных. Самая лучшая бронедивизия Окинлека драпала от него столь усердио, что оставила Роммелю — даже без боя! — сотню новеньких танков.

— Я ие знал,— сказал Роммель,— что малярные работы так хорошо оплачиваются. Всегда выгодно иметь вторую профессию!..

Йодль как-то неохотно докладывал Гитлеру:

— Сколько же завистников у этого счастливчика... он опять вырвался к Тобруку! При этом, мой фюрер, успех достигнут им даже без поддержки нашей авиации. А теперь, чтобы закрепить успех, Роммель просит у нас самолетов.

— И ничего не получит,— отвечал Гитлер.— Вся иаша авиация задействована иа Востоке, там она и останется...

Геббельс, навестив Гитлера в его «Вольфшанце», записывал в своем дневнике: «Фюрер рассказал мне, как близко в последиие месяцы мы были к зиме Наполеона... Собачка, которую подарили фюреру, теперь играет в его комнате. Он всем сердцем привязан к песику, который волен делать все, что хочет, в его бункере. В настоящее время этот пес ближе к сердцу фюрера, чем кто-либо еще...» Выбравшись из бункера, Гитлер глянул на заснеженные елки и сказал Борману:

— Смотри, Мартин, за ночь выпал снег... Я с детства боялся холода, а снег ненавижу всеми фибрами души. Теперь я знаю, почему так. Это было дурное предчувствие! Но весною я всегда оживаю. Поскорее бы пришла оттепель, вместе с которой воскреснет и мой вермахт...

Роммель раскачивал «африканские качели» напрасно. Гитлера сейчас волновал не Тобрук, а русская Вязьма, где русские выбросили воздушные десанты. Правда, здесь они напоролись на крепкую оборону: сил для овладения Вязьмой у них не хватило. Но под Демянском росла угроза окружения немецких дивизий. Йодль предупредил Гальдера:

— Кажется, наш гениальный фюрер раньше всех нас уже понял, что война на Востоке проиграна.

Гальдер и сам начал сознавать это.

— Но у нас нет выхода,— сказал он.— Теперь я думаю, что Хойзингер прав, говоря о наступлении летом — как о спасении Германии, о спасении всех нас...

30 января в берлинском «Спортпаласте» Гитлер выступил с речью, откровенно признавшись перед публикой, что ему неизвестно, чем закончится будущая летняя кампания, и в конце речи он ханжески обратился к всевышним силам:

— Господь-бог, дай нам сил завоевать свободу нашему народу, нашим детям, детям наших детей, и не только нашему народу, но и всем другим народам мира!

Это был очень странный и даже, я бы сказал, кокетливый реверанс безбожного атеиста перед... кем? Историки полагают, что всевышний тут ни при чем, а Гитлер, призвав бога на помощь, заодно уж призывал к миру Черчилля с Рузвельтом, чтобы совместными усилиями доколотить безбожного семинариста Сталина.

Франц Гальдер встревоженно докладывал Гитлеру:

— Случилось то, чего мы никак не ожидали. Под Демянском русские захлопнули в котле около ста тысяч наших солдат. Кажется, они переняли кое-что из опыта блицкрига нашей прошлогодней кампании, когда мы их как следует вскипятили во множестве подобных котлов. Теперь для снабжения окруженных дивизий ежесуточно требуются усилия более сотни транспортных самолетов, рейхсмаршал Геринг обязан выстроить «воздушный мост».

В бункере Гитлера — нарочитая простота, серый линолеум на полу, серые стены, матовый плафон под потолком, коричневая обивка кресел. Из угла не успели убрать какашки его песика.

— Кто у нас специалист по котлам? — спросил Гитлер.

Гальдер удивленно выгнул плечи: до сих пор вермахт сам устраивал котлы другим, и потому он ответил:

— Мы таких специалистов не готовили. Правда, в котле оказался наш генерал Курт Зейдлиц фон Курцбах, прямой потомок того самого пьяницы Зейдлица, который водил кавалерию короля Фридриха Великого... Я уже имел связь с ним по радио, и Зейдлиц берется пробить коридор из котла...

Германская промышленность торопливо осваивала «сибирский» паровоз, которому не страшны русские морозы. Железнодорожная система Германии находилась в стадии развала. Русский фронт алчно заглатывал в себя не только танки и пушки, в нем бесследно растворялись и тысячи вагонов. Не хватало цветных металлов. Гитлер велел снимать с церквей колокола, из типографий изымали медные шрифты, из текстильных машин выдергивали медные вальки. В таких вот условиях Гитлер доверил вопросы вооружения вермахта своему лейб-архитектору, еще молодому человеку — Альберту Шпееру. Он не скрыл от Шпеера, что решил взять пример со Сталина, который поставил во главе Наркомата вооружения совсем молодого парня — Дмитрия Федоровича Устинова:

— Который, кажется, моложе и вас, Шпеер! Предлагаю вам вступить с этим Устиновым в единоборство: кто кого? Русские помешались на социалистическом соревновании, вот вы и покажите им германский стиль работы.



Шпеер оказался превосходным организатором. Он сразу же заявил, что ускорит программу выпуска самых новейших танков, которые станут совершеннее T-IV (речь шла о будущих «тиграх» и «пантерах»). Альберт Шпеер доказывал:

— За годы войны Германия сократила выпуск товаров широкого потребления всего лишь на три процента. Этого мало! Я считаю,— говорил Шпеер,— что нам следует брать пример с русских, которые всю свою промышленность, включая и легкую, строго подчинили требованиям только фронта...

До января 1942 года Гитлер умышленно не сокращал производство ширпотреба, чтобы не возникло недовольства войной среди населения. Теперь архитектор Шпеер настоял перед фюрером, чтобы сократить ширпотреб на двенадцать процентов:

— А я обещаю вам завалить фронт танками. Они у меня будут выскакивать из цехов, как детские игрушки, а подводные лодки будут прыгать со стапелей в глубину моря со скоростью лягушек, завидевших аиста, щелкающего клювом от голода...

Тут появился и Геринг, заговоривший о женщинах:

— Хватит им торчать на кухнях или мотаться по магазинам, отыскивая кусок мяса без костей и пожирнее...

Женский труд на производстве был запрещен, дабы не повредить женщине в главном — в ее материнстве, в ее заботах о воспитании детей, в домашних хлопотах. Женский труд был в Германии только добровольным, если женщина сама пожелает трудиться. Но в 1942 году Геринг доказал фюреру:

— Прежние запреты мешали эффективному привлечению женщин к труду на пользу фронта. Отныне женский труд станет не добровольным, а обязательным. Без этого нам никак не выправить промышленных задач, сопряженных с войной на Востоке...

Адольф Хойзингер именно в эти дни уже подготовил проект летнего наступления вермахта — строго секретный:

— С весны мы обрушим русскую оборону на Керченском полуострове. Манштейну взять Севастополь, наконец,— планировал Хойзингер,— мы ликвидируем уродливую «бородавку» Барвенковского выступа, после чего можно развивать наступление в сторону Кавказа и Волги... Если большевистский режим и уцелеет сам по себе, то летом он будет надломлен и полностью обескровлен!

«Москва как цель наступления... пока отпадала»,— писал Хойзингер, и я прошу читателя запомнить эту фразу, ибо в планах вермахта она была, пожалуй, самой существенной.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

А милый песик продолжал жить и радоваться жизни в бункере фюрера. Иногда я думаю — не тот ли это песик, который потом вырос в большую собаку, на которой Гитлер в мае 1945 года испробовал силу яда, которым и сам отравился?..

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Сильные морозы на Украине держались вплоть до 10 февраля.

Паулюс, страдая от холода и ослабленный приступами перемежающейся дизентерии, все-таки неустанно выезжал на линию Барвенковского выступа, возвращаясь с фронта или в уютную Полтаву, или в развороченный бомбами, обгорелый Харьков.

— Когда же, наконец, потеплеет? — спрашивал он...

Отменив приказы Рейхенау, Паулюс облегчил свою христианскую совесть, хотя его поступок вызвал осуждение генералов, подобных Хейтцу, но этот же поступок заслужил одобрение таких людей, как Мартин Латтман или Отто Корфес.

Утро командующего начиналось с чашечки кофе.

— Что за гадость мне сегодня налили? — говорил Паулюс.

— Русский кофе «Здоровье»,— пояснил зять.

— Можно быть здоровым, только это не кофе.
— Да, пахнет обычным пережженным ячменем, у Сталина есть такой нарком Микоян, большой пропагандист советского шампанского, который с кофе выкручивается без помощи Бразилии.
— Ага, значит, у них тоже полно всяких эрзацев.
— Сколько угодно! — отвечал барон Кутченбах. — Вместо сапог у них валенки, а вместо пиджаков — ватники...
За окнами деревья сверкали от искристого инея.
6-я армия еще продолжала испытывать давление русских у станции Лозовая и в направлении на Мерефу (что лежала под Харьковом). Начальник штаба полковник Фердинанд Гейм докладывал Паулюсу: «В действиях Тимошенко сквозит явное желание расшатать оперативное построение от Орла до Харькова». Паулюс велел приготовить свой вездеход, теплые шубы и конвой на мотоциклах. В очередную поездку по дивизиям он взял Адама и Кутченбаха, который оказался беспомощен в знании украинского языка. Мороз усиливался. Обледенелая дорога тянулась меж высоченных сугробов. В степном украинском селе Паулюс обратил внимание на старинную церковь, внутрь которой солдаты закатывали бочки с горючим, тащили тюки с прессованным сеном. Паулюс никогда не забывал, что среди его предков были и ученые богословы.
— Найдите мне коменданта,— велел он.— Что это? — спросил Паулюс, показывая ему на сельскую церковь.
— Гарнизонный склад.
— Это не склад, а — храм! — вспылил Паулюс.— А вы осквернили его мазутом. Сейчас же выкатить бочки обратно. Если жители верят в бога, мешать их вере никак нельзя. Помните, что мы не безбожные большевики, а освободители русских от страшного большевистского ига...
На линии огня под Мерефой его встретил генерал Георг Штумме, имевший кличку «шаровая молния», ибо его поведение бывало непредсказуемо. Страдающий сильным насморком, Штумме наглядно демонстрировал под носом несовместимость своего здоровья с русским климатом, что дало повод Адаму сказать:
— Впервые вижу шаровую молнию с такими соплями...
Паулюс же завел речь о другом, удивляясь, почему Тимошенко застрял под Мерефой, не пытаясь прорваться на Харьков:
— Вашу оборону, Штумме, я не могу признать прочной.
— Согласен,— не возражал Штумме.— И прошу для усиления позиции прислать сюда «восемь-восемь», чтобы отплевываться от русских тридцатьчетверок, если они появятся.
Паулюс обещал. Заодно он сообщил, что пальма первенства, отнятая у Т-34, скоро будет передана немецким танкам:
— Наши новые T-V и T-VI расплющат русские машины, словно банки из-под сардин. Фердинанд Порше уже готовит танк, который своими достоинствами превзойдет все танки мира.
— За счет чего? Брони? Огня? Моторной части?
— Это будет сгусток боевой энергии, и башни тридцатьчетверок полетят ко всем чертям, словно сорванные головы...
В разговоре, конечно, был помянут и удачливый Роммель, о прорыве которого в Бенгази шумели германские газеты.
— Ему можно и позавидовать,— сказал Штумме.— За несколько дней он проскочил более шестисот миль, тогда как для нас в России даже шестьсот метров имеют немалое значение.
«Шаровая молния» вдруг с шумом взорвалась:
— Хочу в Киренаику! — заорал Штумме.— Я начал восточный поход от самой границы! Я был дважды ранен! Мои нервы уже на исходе! А в Ливии... о т д о х н у, — шепотом досказал он.



— Не возражаю. Подайте рапорт... по причине болезни,— с некоторой брезгливостью разрешил ему Паулюс.
По дороге на Белгород полковник Адам, глядя на скрюченного от холода Кутченбаха, доказывал, что русские в такие морозы наступать не станут: «Нас ужасают трупы замерзших немцев, но мы почему-то не обращаем внимания на замерзших русских,— я цитирую самого Адама.— Между тем они страдают от холода одинаково с нами...»
В центре Белгорода, на площади, вездеход остановился.
На виселице качались трупы повешенных. Среди них была и женщина, еще молодая. Дико и нелепо выглядели очки на ее потухших глазах, морозом превращенные в блестящие кристаллы.
Паулюс опрометью выскочил из вездехода.
— Я же отменил приказ Рейхенау! — крикнул он.— Кто осмелился делать из преступления публичное зрелище?
Кутченбах обошел трупы повешенных. На груди каждого висела доска с надписью по-русски. Паулюс спросил зятя:
— Зондерфюрер, переведите... что там написано?
— По трафарету: «Я партизан, который НЕ сдался».
— Кто эту чушь придумал?
— Это придумано еще Рейхенау,— пояснил Вилли Адам...
Паулюс вызвал корпусного командира Ганса Обстфельдера, штабквартира которого располагалась в Белгороде. Обстфельдер предстал, задрав подбородок, и не потому, что он выражал почтение, нет, а по той причине, что опустить голову ниже ему мешал громадный фурункул на затылке, истекающий гноем.
— Вы кого повесили? Это... партизаны? — спросил Паулюс.
— Нет... только заложники. Комендант предупредил жителей, что они будут казнены сразу же, если будет убит хоть один наш солдат в городе. Мы, армия, в это дело не вмешиваемся. Но опыт войны показывает, что повешение с доской на груди, дающей объяснение приговора, действует на русских устрашающе...
Эта сцена отлично сохранилась в памяти Вильгельма Адама: «Паулюс,— писал он,— стоял перед офицерами чуть сгорбившись, лицо его нервно подергивалось. Он сказал:
— И, по-вашему, этим можно приостановить действия партизан? А я полагаю, что такими методами достигается как раз обратное. Я отменил приказ Рейхенау о поведении войск на Востоке. Распорядитесь, чтобы это позорище исчезло...»
Виселицы спилили, Обстфельдер мрачно сказал:
— Теперь нас будут стрелять из-за каждого угла.
— Так отстреливайтесь, черт побери! — нервно отвечал Паулюс.— Но нельзя же вешать случайных людей...
С удовольствием он вернулся в Полтаву, сбросил тяжкий русский тулуп. Геббельс, не оставляющий 6-ю армию своим вниманием, прислал из Берлина лектора по национал-социалистическому воспитанию. Перед офицерами его представили как «специалиста по русскому вопросу и выживанию в условиях Востока». Паулюс тоже прослушал лекцию:
— Все русские прекрасные диалектики, и нет такого германца, который бы мог русского переспорить. Потому самый верный тон — это тон приказа! Если вы ошиблись в приказе, не стоит поправляться: русские должны считать, что мы, как завоеватели, всегда непогрешимы. Особенно надо бояться русской интеллигенции. Под маской нигилизма и душевной расхлябанности они умеют скрывать свои подлинные чувства, обладая способностью проникать в душу немца, располагая его к искренности. Нам это не нужно. Не допускайте никаких выпивок с русскими. В этом деле русские такие непревзойденные мастера, что обставят любого баварца. При этом они могут вытянуть из нас все, что им надо, а сами остаются себе на уме. Это же относится

и к женщинам. Не забывайте, что русские фурии тоже втянуты в партийную систему большевизма, они фанатичнее мужчин. Женщины в России опаснее мужчин, потому что в женщине нам труднее заподозрить тайного агента огэпэу.

ОГПУ давно отошло в область преданий, но гитлеровцы упрямо придерживались этого отжившего наименования. И через год, чтобы всем чертям тошно стало, в берлинских газетах будут писать, что фельдмаршал Паулюс до последнего патрона отстреливался не в подвалах сталинградского ГУМа, а именно из помещения ОГПУ. Наверное, Геббельс решил, что фельдмаршал, держащий фронт в здании ОГПУ,— это пострашнее любого советского универмага с его изобилием товаров для широкого потребления.

О том, что оттепель на Украине началась только 10 февраля, читатель, я тебе уже говорил. Пойдем дальше.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Через пять дней после начала оттепели под натиском японской армии пал Сингапур, а британский гарнизон капитулировал.

Ливия и Сингапур — две неудачи подряд, и потому Уинстон Черчилль выглядел плохо, не в меру раздраженный, взвинченный. Посол Майский принес ему очередное послание Сталина, который выражал твердую уверенность в том, что наступивший 1942 год станет годом полного разгрома Германии и ее сателлитов. Черчилль сидел за столом в «костюме сирены» — в комбинезоне на молниях, очень удобном, чтобы по сигналу сирены укрыться в бомбоубежище. Ознакомясь с посланием Сталина, он с явным раздражением отбросил его от себя:

— Я не вижу никаких причин, которые бы превратили 1942 год в решающий для всей нашей коалиции... Вы,— сказал он Майскому,— способны иметь *временный* успех в зимний период, но летом вы вряд ли справитесь с натиском немецкого вермахта...

Советскую военную миссию в Лондоне тогда возглавлял адмирал Н. М. Харламов. Вскоре генерал А. Най, служивший в имперском генштабе Англии, просил Харламова навестить его на службе.

— У меня есть новость... для вас,— сказал Най.— Наша разведка сумела проникнуть в тайну предстоящей летней кампании вермахта на Восточном фронте. Главный удар немцы планируют нанести по вашей армии на Дону и на Волге — в направлении на Кавказ и на Сталинград.

— А где же Московское направление?

— Оно отсутствует,— отвечал Най.— Примерная дата операции вермахта — июнь. Обо всем, что я вам сказал, прошу срочно известить Москву, правительство и русский Генштаб.

Казалось бы, тут все ясно! Помните, что планировал Хойзингер? «Москва как цель наступления... пока отпадала!»

## 11. СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Во все время войны немцам запрещалось слушать заграничные радиопередачи, вещавшие на Германию, у них, правда, радиоприемники не отнимали (как у нас в 1941 году), но к аппаратуре были пришпилены официальные планкетки с выразительной надписью: «Слушая голоса врагов, ты изменяешь фюреру!»

Тайная радиовойна начиналась на рассвете. Голосисто запевали берлинские фанфары, загадочно стучалось в двери лондонское Би-би-си. Помимо широковещательных программ, стихию пронизывали голоса станций — блуждающих, реальных или фиктивных, немцы, называясь американцами, обливали помоями Рузвельта, англичане, выдавая себя за фашистских агитаторов, ругали Гитлера, заодно обливая и Черчилля, из Берлина на русском языке вещала партия «ленинской старой гвардии», которая чуть ли не матом крыла Сталина, а заканчивала трансляцию мотивами «Интернационала». Самые гениальные демагоги



умело взбалтывали радиоволны, словно коктейль, где ничтожная доля правды оседала на дне, а наверх всплывала отрава лжи и отчаяния. В непрерывном треске электроразрядов слышались голоса погибающих кораблей и сгорающих под облаками бомбардировщиков дальнего действия. С фронтов вопили о помощи роты и батальоны, слали проклятья дивизии, лихорадочно стучала морзянка из котлов окружения. В узких каналах настройки, быстро и деловито, пока их не засекли радиопеленгаторы, выстреливали пучками морзянки борцы Сопротивления...

На фронте армии Паулюса по утрам через мощные репродукторы звучал голос немца, сидевшего в русском окопе:

— Говорит обер-лейтенант германского вермахта Рейер... Слушайте меня, солдаты Германии, обманутые Гитлером и опозоренные чудовищными преступлениями против человечества. Час пробьет, и возмездие для вас неизбежно...

В его сторону выстрелили, заодно спрашивая:

— Эй, кретин! Давно ли торчишь у русских?

— С двадцать второго июня сорок первого года.

— И тебе там еще не надоело?

— А — вам? — спрашивал их Рейер.

— Ты скоро спятишь от глупости! — предрекали ему.

— Но вы раньше меня,— огрызался Рейер...

Из командного блиндажа вылез полковник Фриц Роске, послушал перебранку, летящую через линию фронта, крикнул солдатам:

— Кончайте трепотню. Нет и никогда не было в рядах вермахта обер-лейтенанта Рейера — это русский комиссар. Дайте по нему из крупнокалиберного, чтоб он заткнулся...

Агитация шла и с немецкой стороны, гитлеровцы по утрам заводили патефоны, транслируя популярные песни мирного времени:

Броня крепка, и танки наши быстры,
И наши люди мужества полны,
В строю стоят советские танкисты,
Своей великой Родины сыны...

А потом через громкоговорители немцы призывали:

— Эй, рус! Кончай война, иди к нам...

Самолеты забрасывали наших бойцов листовками, на которых была изображена здоровенная и мордастая бабища в сарафане; ниже титек ее были начертаны вирши:

СДАВАЙСЯ В ПЛЕН!
Будешь дома, будешь в хате
Спать со мною на кровати..

Страна вступала в новый, военный и тяжкий день!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Потеплело... С фронта вдруг стали поступать первые, еще робкие слухи о том, что у немцев появились какие-то танки с усиленной броней, по силуэту очень схожие с нашей тридцатьчетверкой. Началось первое знакомство с гитлеровскими «пантерами» и «тиграми». Николай Николаевич Воронов (будущий главный маршал артиллерии) на одном из совещаний в Ставке выступил с предупреждением:

— Я допускаю,— говорил он,— что новые немецкие танки еще не запущены в серию. Скорее всего, их отдельные варианты немцы решили обкатать в полевых условиях фронта. Но следует заранее предвидеть, что утолщенная броня и динамика новых моторов потребует от нас усиления артиллерии.

Сталин уже входил в роль «гениального» полководца.

— Товарищ Воронов, перестаньте разводить панику. Это бабьи сплетни! Не может быть у немцев новых танков, и ради мнимой борьбы с ними мы не станем усиливать артиллерию...

«Я уходил с камнем на сердце. Было очень больно, что не удалось доказать свою правоту, но еще больнее было то, что меня никто не поддержал».

Между тем наши бойцы на фронте, плохо разбираясь в «зверологии» германского танкостроения, сожгли сразу шесть новых машин. Гитлер, явно смущенный слабостью новых танков, велел откатить их в глубокий тыл:

— Шпеер,— сказал он,— передайте Порше, чтобы проект был доработан. И впредь не показывать новые танки русским до тех пор, пока эти машины не станут неуязвимыми...

Не знаю, как отреагировал Сталин на сообщение адмирала Н. М. Харламова из Лондона о предстоящей летней кампании. Но ближе к весне наша разведка Генштаба, помимо британской, сама проникла в планы Гальдера и Хойзингера. В английской книге «Коммунистические партизанские действия» сказано:

«Некий мистер Кент, капитан Красной Армии, он же и Винсенте Сиерра, имел условленную встречу в Тиргартене с офицером немецкой контрразведки... его предупредили, что главный удар немецкой армии планируется нанести в направлении Кавказа, причем часть этих сил будет брошена к Волге — на Сталинград! Против же Москвы немцы имитируют наступление. Нельзя недооценивать опасности со стороны 6-й армии Паулюса, нельзя пренебрегать панцер-дивизиями Клейста, которые угрожают со стороны Краматорска...»

— Почему вдруг Сталинград? — возмутился Сталин, когда ему доложили об этом.— На юге немцы способны лишь на отвлекающие удары, чтобы замаскировать главный удар на МОСКОВСКОМ направлении. Кто поверит, что немцы окажутся на Волге?..

В этом ошибочном мнении Сталин окончательно утвердился после доклада С. К. Тимошенко, который сообщал: «Мы считаем, что враг... весной будет вновь стремиться к захвату нашей столицы. С этой целью его главная группировка упорно стремится сохранить свое положение на МОСКОВСКОМ направлении...» Заодно уж, стараясь казаться провидцем, маршал указывал, что его боевая активность на юге уже полностью расстроила оперативные порядки армий Паулюса и Клейста — от самого Белгорода до узловой станции Лозовая, и немцы теперь ни к чему не способны.

Как тут не похвалить Тимошенко, и Сталин похвалил его:

— Молодец, товарищ Тимошенко... не как другие!

Семен Константинович, признаем за истину, обладал ангельским характером, и в случае несогласия с ним спрашивал:

— Вы кому служите?

— Служу Советскому Союзу,— следовал ответ.

— Не вижу! — возражал маршал.— Это еще надо проверить, кому вы действительно служите?

— Служу Советскому Союзу и партии Ленина-Сталина!

— Вот это уже точнее,— признавал маршал.— Но если это так, то почему вы осмеливаетесь возражать высокому начальству, облеченному высоким доверием партии и правительства?..

После такой постановки вопроса возражений уже не возникало, а маршал Тимошенко, отважный герой штурма линии Маннергейма, всегда оставался прав. В конце марта он созвал в Воронеже совещание высших командиров, чтобы подвести утешительные итоги минувшего года. Полковник И. Н. Рухле прочел доклад на тему, всех безумно волнующую: «Задачи партийной организации штаба...». Вкратце изложу содержание доклада.

— Война,—говорил Рухле,— вступила в новый этап динамики со всеми преимуществами Красной Армии, как наступающей стороны. Германская же армия вынуждена теперь отказаться от наступления, она уже потеряла былую веру в успех... Красная Армия уже сломила материальные силы и моральную устойчивость врага и тем положила



начало полного разложения германской военной машины... Германия уже до конца исчерпала свои преимущества!..

Ей-ей, читатель, мне жалко этого несчастного полковника, который не имел права сказать, что он сам думает, потому что его обязали отражать мнение не только маршала Тимошенко, но и самых высших авторитетов в Москве, желавших видеть будущее в самом радужном свете. Зато Семен Константинович был солидарен с докладчиком и похлопал ему, как положено. Гладко выбритая голова маршала излучала сияние, от маршала за версту благоухало одеколоном «Красная Москва», а настроен он был самым решительным образом... Рухле уступил ему место на трибуне.

— Товарищи! — радостно провозгласил Тимошенко.— В результате серьезных поражений, которые понесли войска вермахта, инициатива полностью перешла в руки героической Красной Армии, отныне мы станем развивать инициативу в новых победных битвах. Я особо подчеркиваю,— сказал Тимошенко,— что на юге, как нигде, заметна четкая тенденция к ослаблению гитлеровской армии. Мы уже навязали свою волю этим зарвавшимся гадам, отныне мы вправе сами выбирать место и время для нанесения могучих сталинских ударов по всей этой фашистской сволочи...

За такие вот речи миллионы расплачивались своими жизнями.

Но мы, читатель, люди скромные, нам остается лишь аплодировать и не возражать, а то как бы Тимошенко не спросил нас:

— Вы кому служите?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Догадываюсь, что эти страницы многим покажутся скучными, но я все-таки убедительно прошу своего читателя вникнуть в рассуждения моих героев, ибо из их слов уже начинала складываться та страшная трагедия 1942 года, когда немецкие танки с ревом и лязгом выкатились на берега Волги...

Сейчас, перелистывая груды материалов тех лет и мемуары очевидцев давних событий, я понимаю: трагедия сложилась по той причине, что «гениальный» Сталин не велел верить тем людям, мнение которых не совпадало с его личным мнением, и, наоборот, он слишком доверял тем, кто угождал его личному мнению...

По сути дела, немцы уже не могли наступать по всему фронту, как они наступали в сорок первом году, мы тоже не были готовы к широкому наступлению, но преимущество в силах оставалось еще за вермахтом. 70 немецких дивизий по-прежнему торчали под Москвой, и Сталин полагал, что Гитлер еще способен к ударам на двух стратегических направлениях — на московском и южном. В конце марта им было созвано ответственное (даже очень ответственное!) совещание Государственного Комитета Обороны (ГКО) и Ставки Верховного Главнокомандования (ВГК), на котором Шапошников изложил мнение Генштаба, призывая к сдержанности, не советуя строить слишком победных планов.

— Резюмируя сказанное,— заключил он,— я повторяю, что сейчас наиболее приемлем переход к активной обороне по всему фронту, чтобы поднакопить резервов и техники. Думаю, что под Воронежем нас еще ожидают оперативные осложнения.

— Воронеж... это барон Вейхс? — спросил Сталин.

— И... танковый генерал Паулюс,— добавил Шапошников,— о котором мы извещены еще недостаточно. Наконец, со стороны Вейхса вполне возможен и неприятный для нас удар от Курска.

Василевский тоже поддержал выводы Генерального штаба.

— Но все-таки,— добавил Жуков,— надо стараться выжать немца из-под Вязьмы, необходимо покончить с Демянским котлом, чтобы полностью избавить нашу столицу от угрозы...

Сталин внимательно слушал. При этом он заметил, что активная

оборона — это, конечно, неплохо, но нельзя же, чтобы Красная Армия все лето просидела в траншеях:

— Мы должны упреждать противника собственной активностью! Прощупывать его слабые места. Я думаю,— сказал Сталин,— что товарищ Жуков и Шапошников предлагают нам лишь полумеры. Я не отвергаю метод стратегической обороны, но желательно нанести врагу несколько сильных ударов, чтобы окончательно закрепить успехи, достигнутые нами в эту зиму под Москвою...

Жуков едва заметно покачал головой, не соглашаясь, и как бы про себя буркнул, что наступательные операции широкого масштаба могут поглотить все наши резервы. Это было сказано Жуковым тихо, но слух у Сталина был отличный, и он обвел полководцев глазами, выискивая решительной и нужной ему поддержки.

— А что скажет нам товарищ Тимошенко? — сказал он, заранее уверенный в том, что Тимошенко скажет то, что необходимо слышать ему, Сталину, и в этом Сталин не ошибся...

— Я не сторонник полумер,— заявил Тимошенко, неодобрительно глянув на Жукова и Шапошникова.— Я стою как раз за самые решительные действия. Войска моего направления, образовав Барвенковский выступ, с этого же выступа всегда готовы продолжить наступление... *к Харькову!* Сейчас бойцы моего фронта в таком состоянии, что они могут нанести сокрушающий удар, и если мы этого не сделаем сейчас, то, я боюсь, как бы летом не повторилась суматоха сорок первого года с нашим отступлением.

— Будет точнее,— вмешался Сталин,— если именно ваше выдвижение с Барвенковского выступа отвлечет силы противника с Московского направления — *самого главного!*

Василевский напомнил о данных фронтовой разведки: в районах Днепропетровска и Кременчуга заметно скопление танков противника, по улицам оккупированных городов шляются танкисты — еще без машин, но ожидающие их поступления:

— В одной только Полтаве проживают на казарменном положении 3 500 танкистов. Простой подсчет показывает, что они составят экипажи на более чем тысячу боевых машин... Значит, на юге страны немцами *что-то* замышляется!

Сталин выслушал Василевского и сказал:

— Возможно. Но семьдесят германских дивизий под Москвою — от этого факта никуда не денешься...

Буденный тоже присутствовал на этом совещании, но я не знаю, какова была его реакция. Зато Ворошилов горячо поддержал боевую инициативу Тимошенко. При этом Шапошников тревожно переглянулся с Василевским: представители Генштаба, они никак не могли согласиться с петушиным задором Тимошенко, а их мнение опять-таки совпало с мнением Жукова.

— Я не понимаю,— резко заявил он.— Пора четко выяснить — или мы за частные операции с оперативными намерениями, или за стратегическую оборону? Только что мы признали целесообразность именно обороны, а сейчас хлопочем о наступлении. За двумя зайцами сразу гоняться не следует. К тому же,— добавил Георгий Константинович,— любые частные операции на любом из направлений фронта расстроят все наши стратегические резервы, с таким трудом собранные со всех углов России.

— Товарищ Жуков,— выговорил Сталин,— мы не собираемся наступать очертя голову, но и сидеть сложа руки — преступно! Это преступно перед народом, которому от наших слов мало толку, народ ожидает от нас не слов,— а результатов...

«Борис Михайлович Шапошников,— вспоминал Жуков,— который, насколько мне известно, тоже не был сторонником частных наступательных операций, на этот раз, к сожалению, промолчал». Вместо него





подал голос молодой Василевский, рассуждавший как оперативный работник Генштаба:

— Заговорив о Харькове, мы вновь обращаемся к Барвенковскому выступу... Наступление из оперативного мешка с выходом на стратегический простор всегда чревато многими опасностями для наступающего. Войска товарища маршала Тимошенко уже дважды, в январе и в марте, пытались выбраться с этого выступа, и оба раза они терпели неудачи.

Сталин задержал шаги за спиной Василевского:

— Значит, вы против наступления на Харьков?

— Да, товарищ Сталин, я боюсь неудачи. Генштаб не считает Барвенковский выступ выгодным для наступления...

Тимошенко был все-таки старше Василевского.

— Когда это я терпел неудачи? — обиделся маршал.— И кому лучше знать обстановку на юге? Мне или вам, сидящему в Москве среди парикмахеров и телефонов? Мой штаб и члены Военного совета как раз в этом выступе и видят залог успеха.

— Прекратите! — вспылил Сталин.— Здесь не собрались жильцы коммунальной квартиры, чтобы выяснить на кухне, у кого больше лампочек вкручено... Вопрос уже ясен!

Иван Христофорович Баграмян помалкивал, ибо он был здесь самый маленький, но Сталин вопросительно глянул на него, и тот невольно поднялся, как солдат перед генералом, понимая, что отвечать надо так, чтобы ни с кем не лаяться, но и никому не поддакивать, чтобы Баграмян оставался Баграмяном.

— Я согласен, что вопрос о Харькове поставлен своевременно. Но в наших стрелковых дивизиях большой некомплект: они составляют лишь половину того, что положено по штату. В армии еще ничтожно мало новейших танков, острая нехватка в противотанковой артиллерии и в зенитной. Наконец, безобразно налажено снабжение продовольствием бойцов на передовой. Новобранцы приходят на передовую иногда босиком и... голодные! Как тут не вспомнить великого военного теоретика Вобана, который еще бог знает когда заклинал: «Военное искусство, о! — это чудное чудо и дивное диво. Но ты не начинай войны, если не умеешь питаться...»

Сталин удивленно посмотрел на Баграмяна и, конечно, не стал развивать эту тему — как надо питаться, но, человек хитрущий, он заботливо ощупал солдатскую гимнастерку на Баграмяне:

— Товарищ Баграмян, почему вы так плохо одеты? Вы же начальник штаба крупных соединений, а гимнастерка у вас солдатская... штопана-перештопана. Товарищ Баграмян, кто вам ее заштопал?

— Сам и заштопал, товарищ Сталин.

— Молодец вы, товарищ Баграмян, а резервов для вас не будет! — неожиданно вдруг заключил Сталин, снова обращаясь к маршалу Тимошенко.— Резервы сейчас более нужны для Москвы.

Тут Тимошенко встал и сверкнул молодецкой лысиной.

— Справимся своими силами,— поклялся он, уверенный в себе и своих талантах.— В успехе я ручаюсь СВОЕЙ ГОЛОВОЙ.

— Мне ваша голова не нужна,— тихо ответил Сталин...

Совещание закончилось напутствием Сталина: подготовить наступление на Харьков, в Крыму и в других районах. Таким образом здравая идея активной обороны с накоплением резервов на будущее, когда враг будет измотан, эта идея распалась сама по себе — в разногласиях. Наверное, если не все, то часть людей, расходясь с этого совещания, ощутила беспокойство.

Мне кажется, близость трагедии в полной мере осознал и маршал Шапошников, предупреждая Василевского:

— Голубчик мой, а я ведь уже старик... укатали сивку крутые горки. Буду рекомендовать именно вас на свое место,

Василевский никак не хотел быть начальником Генштаба:

— Какой вы старик? У вас лишь преклонный возраст.

— В моем преклонном возрасте, голубчик, иногда очень трудно сохранять непреклонный характер. Это общая беда всех людей, достигших моих чинов и моего возраста. Лучше мне уйти самому, нежели ждать, когда мой авторитет станет обузой для... в а с.

— Борис Михайлович, а врачи-то? Врачи что говорят?

— А вы думаете, у меня есть время для врачей?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Опять начинался новый день войны на Востоке. Немцы из армии Паулюса горланили из траншей — в сторону наших окопов:

— Рус! Запевай: «Броня крепка, и танки наши быстры...»

Танков не было. Солдаты озлобленно говорили:

— Перезимовал фриц, теперь ожил. Издевается...

Скоро к линии фронта подкатил желтый автобус ведомства пропаганды, через мощные репродукторы велась агитация:

— Только что на позиции солдат непобедимого германского вермахта доставлены колбаса твердого копчения, алжирские сардины в оливковом масле и свежие итальянские апельсины. Храбрые русские воины! Мы душевно разделяем ваши трудности. Нет, мы не предлагаем вам сдаваться в плен. Таких, как вы, у нас уже много. Приходите в гости, мы вместе позавтракаем и разойдемся по-хорошему. Если кто не пожелает возвращаться под иго своих жидовских комиссаров, мы будем рады... Для вас — это единственный способ к тому, чтобы сохранить свою жизнь. Подумайте сами и решайте. А теперь мы, солдаты железного вермахта, желаем вам приятного аппетита: грызите свои черствые сухари и запивайте их тухлой водой из загаженного болота. Всего доброго! Как говорят ваши дурашливые союзники-американцы — спасибо за внимание...

## 12. ОПЕРАЦИЯ «КРЕМЛЬ»

Если у немцев были проблемы с транспортом (о чем я уже говорил), у нас на железных дорогах тоже кавардака хватало. Лазарь Моисеевич Каганович — это всем известно — плевал подчиненным в лицо, швырялся в них стульями, доводил людей до слез и подводил их «под вышку» — как «шпионов». Ближайший «друг и соратник великого Сталина», он еще до войны разрушил железнодорожное хозяйство страны, а теперь, в дни войны, на железных дорогах зачастую царил попросту х а о с.

Стоило танковым дивизиям Клейста появиться возле Ростова, и все южные магистрали сразу оказались плотно забиты вагонами, платформами, паровозами и цистернами, которые как бы составили один нескончаемый эшелон. В этой «каше» (иначе не назовешь) намертво застряли мощные локомотивы «ИС» и «ФД», позарез необходимые на трассах Урала и Сибири.

Между тем продолжалась ударная стройка железной дороги Кизляр — Астрахань, которой в нашем Генштабе придавалось стратегическое значение. Дело прошлое: кое-как одетые, почти некормленые, путейские войска и работяги в этих унылых пространствах совершали трудовой подвиг! Чтобы они «шевелились» побыстрее, сюда был направлен заместитель наркома путей сообщения — пылкий чекист И. Д. Гоцеридзе.

Уже повеяло весной, когда в Сталинграде на столе Чуянова зазвонил телефон. Характерный акцент Гоцеридзе:

— Слюшай, дарагой! Ты там не психуй, но я тебе скажу: сегодня утром наши рабочие видели немецкие танки.

— Где танки? У вас? — Алексей Семенович не мог поверить.— Не может быть! — кричал он в трубку.— Вы посмотрите на карту, и тогда сами поймете: как же танки Клейста могли проскочить от Азовского моря до Каспия... через голые степи!



— Голые, да. Но мы не бредим. Это — танки.

— Вы слышали о них или сами наблюдали?

— Не кричи, дарагой! Я сам видел кресты на их башнях...

Чуянов созвонился с Москвой, вышел на связь с начальником тыла Красной Армии — генералом Хрулевым.

— Вполне возможно,— отвечал Хрулев.— Наверняка это работа Клейста, который решил провести глубокую танковую разведку. Я распоряжусь, чтобы рабочих на строительстве трассы вооружили. А вы передайте начальнику своего военного округа, генералу Герасименко: пусть подкинет на трассу пулеметов.

— Да где он возьмет их, товарищ Хрулев?

— Пусть поищет. У нас тоже ничего нету...

Признаем, что мобильность роликов Клейста была высокой. 1 апреля Гитлер лично известил Клейста, что ему предстоит катиться до нефтепромыслов Кавказа, чтобы навсегда лишить мобильности все моторы Красной Армии...

Дела были плохи! Харьков и Орел, где на заводах создавались танки, были уже захвачены немцами, Кировский завод в Ленинграде блокирован, а Свердловск и Челябинск только сейчас разворачивали серийное производство новых танков.

Чуянов отговорил с Хрулевым и сказал сам себе:

— Вот еще наши заводы остались — сталинградские! Но одна-две хорошие бомбежки — и нам амба! О чем т а м думают?..

На юге страны уже разворачивалась армада немецких танков.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Военные врачи-психологи вермахта, постоянно изучавшие моральное состояние войск на фронте, докладывали весной в ОКВ: «Подавленность, связанная с зимним отходом, преодолена... Снова выявляется движение вперед, снова наступает доброе для нас летнее время!» Но при этом психологи, достаточно объективные, отмечали, что перемен к лучшему не произошло среди штабных офицеров: склонные больше других к анализу, они довольно-таки мрачно взирали на будущее этой войны...

Фельдмаршала Ганса фон Клюге, который командовал группой армий «Центр», вызвали с фронта в ОКХ (в Цоссен).

— Русские,— сообщил ему Гальдер,— концентрируют резервы в окружности Москвы, но будет плохо, если они передвинут их к югу. Следует конкретно убедить противника в том, что летом мы нанесем новый удар по их столице. Вы, как командующий «Центра», подготовите приказы о наступлении на Москву, приложив все старания, чтобы о смысле ваших приказов стало известно в Кремле. Эта операция по дезинформации противника и получает кодированное название «Кремль».

— Генерал Фельгиббель предупрежден?

— Да. Его полевые радиостанции сделают все, чтобы умышленно допустить достоверную утечку ложной информации. А ваши приказы должны выглядеть правдиво, чтобы у Сталина не оставалось и доли сомнения в их подлинности.

— Понимаю,— кивнул Клюге.— Это срочно?

— К маю должно быть все готово. Ганс Фриче проболтается по радио о том, что Москва летом будет наша. Вы должны сделать все, чтобы стратегические резервы Сталина удержались под Москвой — вдали от наших армий на юге...

Пожинать свои победные лавры прилетел в Берлин и везучий Роммель; Гальдер охладил его пыл словами:

— Нам сейчас не до Египта! Подкреплений не ждите. Все, что у нас осталось, забирает ваш лучший друг Паулюс... Волга для нас важнее дурацкого Нила с его крокодилами.

Гитлер оказался щедрее Гальдера:

— Роммель, вы — гордость нации! На этот раз я не откажу вам в поддержке авиацией. Пусть фельдмаршал Кессельринг усилит бомбежки Мальты, обеспечит доставку итальянских танкеров с горючим. Но предупреждаю: в мае всю авиацию я заберу от вас обратно — для нужд Восточного фронта.

— Следует ожидать важных операций на Востоке?

— Да, Роммель. Если мы и сейчас не добьемся решительных успехов, значит, немецкий народ выродился в ничтожество, он не имеет права на существование и пусть он *подыхает*,— сказал Гитлер («и я тогда,— писал Роммель,— в первый раз заподозрил фюрера в ненормальности...»).

Как раз в эти дни Гальдер предупредил Гитлера, что русская промышленность после эвакуации на Восток начинает набирать небывалую мощь, ее заводы в глубоком тылу способны в ближайшее время поставить на конвейер 600—700 танков в месяц.

— Хватит гипербол! — не поверил Гитлер и сразу обозлился.— Я ведь еще не забыл о кризисе с зубными щетками...

— Мой фюрер,— отвечал Гальдер,— я согласен, что хороший ширпотреб так и останется недостижимой мечтой в русском народе, но... т а н к и! Они делают их быстрее нас.

Гитлер прогнал от себя начальника генштаба, а потом жаловался Борману, что Гальдера он не может терпеть:

— Этот баварец становится невыносим! Гальдер теперь взял моду преподносить мне всякие гадости. По его откормленной морде я вижу, что ему нравится играть на моих нервах...

Генерал Фромм тоже не пощадил его нервов:

— Как начальник резервов, вынужден огорчить вас: сейчас мы имеем некомплект в шестьсот двадцать пять тысяч человек.

— Выньте их из кармана, Фромм! Не стесняйтесь.

— Можно объявить призыв семнадцатилетних. Правда, германские законы в этом случае требуют согласия родителей.

— Мамочки и папочки пускай заткнутся,— сказал Гитлер.— Сейчас не до их прощальных воплей на вокзалах.

— Я такого же мнения, мой фюрер. Резервы обнаружены и у Геббельса: он держит вне призыва здоровущих кобелей вот с такими глотками, которые в кабаках распевают о Лили Марлен.

— Верно, Фромм! Теперь их песенка спета. О женских прелестях Лили Марлен могут распевать лишь наши заслуженные ветераны, еще не потерявшие голос от морозов в России.

Оказывается, Фромм обрыскал все тупики и закоулки рейха, где скрывались уклоняющиеся от фронта:

— Следует потрясти и Геринга: у него в люфтваффе на одного летающего по пять-десять бездельников обслуживающего персонала. Наконец,— закончил Фромм свой доклад,— можно сократить прислугу в зенитных расчетах. К зениткам можно поставить девок или подростков, любящих ковыряться с техникой.

— С вами, Фромм, приятно иметь дело.

— Служу великой Германии... хайль Гитлер!

28 марта состоялось секретное совещание в ставке Гитлера, и по своей значимости оно имело столь же важное значение для судеб войны, как и недавнее совещание в кабинете Сталина.

Проблемы, столь мучительные для нашей Ставки, угнетали и верхушку гитлеровского вермахта, и эти проблемы — удивляться тому не следует! — во многом совпадали. Со слов Гейнца Гудериана понятна их суть: «Весной 1942 г.,— вспоминал он,— перед немецким верховным командованием встал вопрос, в какой форме продолжать войну: наступать или обороняться?..»

Самой оригинальной — и, пожалуй, самой неглупой! — была точка зрения адмирала Деница, который заявил:





— Сейчас возник такой момент, когда Египет у англичан завоевать намного легче, нежели отнять Кавказ у русских, и потому я считаю, что корпус Роммеля в Ливии надо не ослаблять, как мы делаем, а, напротив, усиливать.

Деницу тут же здорово влетело от владык вермахта:

— Вы разве не верите в нашу победу на Востоке? В пустынях Ливии более заинтересован Муссолини, а Роммель останется при нем вроде мальчика на побегушках... Конечный результат всей войны должен проявиться в России, и только в России!

В основу летнего наступления вермахта был положен проект «Блау» — о выходе вермахта к Волге и на Кавказ, о чем еще зимою столь настырно хлопотал Адольф Хойзингер.

— Я,— сказал Гитлер,— вынужден повторить то, что твердил еще в прошлом году. Русские не так уж чувствительны к окружениям, как мы, и потому нам следует освоить принципы очень плотных окружений, чтобы уничтожать их внутри будущих котлов. «Блау» подразумевает экономические цели — захват русских нефтяных ресурсов, и политические — с выходом в страны Ближнего Востока, чтобы изолировать Советы от их союзников на юге и заставить Турцию выступить против Сталина...

К этому времени пантюркисты Анкары, наследники былой славы Османлисов, уже выпустили в продажу карты, на которых советские территории с мусульманским населением — вплоть до Казани! — были заштрихованы как турецкие владения. А басмаческие шайки, нашедшие приют в горах Афганистана, готовились снова ринуться в нашу Среднюю Азию.

— Турецкий премьер-министр Сараджоглу, — сообщил Гитлер,— обещает моему послу фон Папену выставить летом в Турецкой Армении двадцать шесть полнокровных дивизий. В этом случае японцы тоже расшевелят боевой пыл своей Квантунской армии...

Все, что сказал Гитлер на этом совещании, было хорошо им аргументировано, никто не смел ему возражать, лишь Йодль высказал оперативные сомнения:

— Но, усиливая группу «Юг»,— заметил он,— мы тем самым ослабляем «Центр» и «Север», что позволит, думаю, Жукову проникнуть в направлении на Шмоленгс.

— Для этого,— отвечал Гитлер,— у него не хватит сил, ибо, ощутив привкус катастрофы на юге, Сталин начнет спешно перебрасывать свои силы от Ленинграда и Москвы.

В глазу Кейтеля броско посверкивал монокль:

— После той бани, какую мы устроим русским у Барвенковского выступа, следующий удар барона Вейхса на Воронеж сначала будет выглядеть началом фиктивной операции «Кремль»! Русские подумают, что на этот раз мы идем на Москву через Воронеж. Когда же в Москве догадаются, что они обмануты, будет уже поздно. Котел вберет в себя все русские армии, размещенные по хордам гигантского треугольника, углами которого станут: Воронеж — Таганрог — Сталинград... Дорога на Кавказ станет открыта!

На этом совещании все немецкие генералы были раболепно солидарны с Гитлером.

Правда, Франц Гальдер еще долго брюзжал перед Адольфом Хойзингером, но его брюзжание один Хойзингер и расслышал.

— Вермахт вряд ли способен к операциям такого масштаба, какие запланировал фюрер. Это же абсурд — расчленять группу «Юг» по двум дорогам — кавказской и сталинградской. Русские передушат их там поодиночке... Йодль, кстати, прав: стоит Жукову треснуть по Шмоленгсу, и тогда от «Блау» полетят перья.

— Что бы вы сделали на месте нашего фюрера?

— Мне хватило бы одного Сталинграда,— отвечал Гальдер.—

Выйдя к Волге, я бы разом перекрыл все краны, из которых русские черпают горючее, и тогда армия Сталина умерла бы сама по себе в жестоких корчах нефтяной дистрофии...

В апреле Гитлер повидался с Муссолини и Антонеску, чтобы выкачать из Италии и Румынии новые пополнения. Он обнадеживал их в непременном успехе летнего наступления, утверждал, что у русских не осталось боевой техники:

— Сейчас они только импровизируют! Но им уже не собрать ту старую глину, из которой они сваляли своего безмозглого колосса. Что же касается помощи от союзников, то Черчилль и Рузвельт помогают Сталину в мизерных дозах, словно их паршивые «матильды» и вонючие «студебеккеры» — драгоценное лекарство для умирающего. Второго фронта в Европе не будет, и это позволяет мне в спокойной деловой обстановке приготовить для Востока еще шестьдесят новых дивизий. А скоро я буду иметь в рядах вермахта сразу девять миллионов солдат!

Муссолини очень боялся второго фронта — не в Европе, а в Африке, его рассуждения на эту тему были здравыми:

— Рузвельт может забраться в Марокко, а Черчилль нажмет от Египта, и тогда моя армия в Ливии, включая и вашу — Роммеля, треснет, как орех, раздавленный щипцами.

Гитлер рассуждал совсем неправильно:

— Если второй фронт и возникнет, то все дело кончится десантом в Норвегии, на большее Черчилль не согласится. Норвегию я беру на себя, а вы занимайтесь Мальтой. Если же эти похотливые янки сунутся в Западную Африку, я сразу оккупирую всю Францию целиком. Я не остановлюсь перед капризами Франко и буду штурмовать Гибралтар. При такой ситуации долго ли усидит Рузвельт в Касабланке?

Гитлеру явно мешал язвительный граф Чиано:

— Главное сейчас — Россия, и, кажется, она устоит, разрушив прогнозы вашего командования.

До чего же был Гитлеру противен зять Муссолини!

— Это невозможно,— взбеленился Гитлер.— Я отнял у них молибден и марганец, без которого немыслимо создание бронебойной стали. Если у меня завтра кончится каучук, я тут же заменю его синтетической «буной». А чем заменят каучук русские на своих истрепанных шинах... чем? Тряпками?

Чиано по-своему расправлялся с Гитлером:

— Боюсь, что «буна» не для русских ухабов. А Красная Армия использует добротный искусственный каучук, созданный в лабораториях своего химика Лебедева.

— Это большевистская пропаганда, Чиано!

— Да? — вроде бы удивился Чиано.— Но перед войной Рим торговался с Москвой о закупке именно русского каучука. Выходит, Сталин хотел надуть нас и подсунул нам... воздух?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Настали дни Пасхи, когда Паулюс появился в Берлине, дабы в кругу семьи отметить крещение двух младенцев-близнецов, благополучно рожденных дочерью Ольгой.

Радиовещание Берлина в эти пасхальные дни захлебывалось от восторга: генерал Курт Зейдлиц прорубил «коридор» из Демянского котла, а германская авиация, отбомбившись по Мальте, уже раскладывала свои зажигалки по крышам Сталинграда... Первая деловая встреча Паулюса состоялась в кабинете Хойзингера.

— Сюрприз! — сообщил Хойзингер.— Шапошников серьезно болен, на его место выдвигается Василевский, мой антипод. Думаю, мы раньше недооценивали его таланты. К сожалению, против Василевского абвер не подобрал компрометирующих материалов, если не считать того, что он сын священника.





— Этот фокус не пройдет,— сказал Паулюс,— ибо Сталин тоже учился в духовной семинарии. А как Гальдер?

Паулюс застал Гальдера в веселом настроении:

— Нам повезло. Чертовски повезло... В наших руках оказался русский генерал Самохин Александр Григорьевич, бывший военный атташе в Югославии, а ныне командующий 48-й армией Брянского фронта.

— Как это случилось? Он... сдался?

— Нет. После приема у Сталина вылетел на фронт. Но пилот посадил машину не в Ельце, а на нашем же аэродроме в Мценске. Самохину не стоит даже трепать нервы в абвере, ибо при нем взяли целую сумку секретных директив. Теперь перед нами вырисовывается полная картина летних планов Тимошенко на Барвенковском выступе... Вашей шестой армии, Паулюс, предстоит встретить удар на подступах к Харькову.

— Назовете ли точную дату?

— Примерную. Где-то в первой декаде мая...

Паулюс сомневался в достоверности рассказа Гальдера, ему с трудом верилось, что Самохин случайно сел на чужой аэродром с самыми секретными директивами своей Ставки:

— Слишком фантастична вся эта история. Не был ли пилот Самохина тайным агентом нашего фюрера? Или, может, Сталин нарочно пожертвовал своим генералом, чтобы всучить нам его портфель с фальшивыми планами?

— Нет. Просто его пилот летел без штурмана, плохо зная аэронавигацию, и теперь Москва будет за это расплачиваться...

Маршал С. С. Бирюзов, которому как раз и выпала горькая доля докладывать «наверх» об этом случае, после войны писал:

«У меня нет никакого сомнения в том, что трагический эпизод с генералом Самохиным сыграл свою роковую роль и в какой-то мере предопределил печальный исход нашего наступления на Харьков».

А пока там генеральштеблеры изучали бумаги из портфеля Самохина, в штабе фельдмаршала фон Клюге готовились фальшивые документы, чтобы убедить Сталина в его ошибочном мнении, будто летом вермахт будет снова наступать на Москву. Этот документ готовился в 22-х экземплярах, и — будьте уверены! — немецкая разведка постарается, чтобы один из этих экземпляров попал на стол самого Иосифа Виссарионовича.

Уже одно название фальшивки «КРЕМЛЬ» должно вызвать душевный трепет вождя, который все резервы, какие у него есть, оставит при себе, чтобы оградить Москву и себя в Кремле...

## 13. «ОХОТА НА ДРОФ»

Фамилии этих людей, которые я назову вам, ничего нам не говорят, и никакого геройства эти люди не совершили, но весною 1942 года им привелось своими глазами увидеть нечто такое, что вскоре отразилось на делах наших армий Южного фронта и вызвало оперативный кризис, схожий с параличом...

Некий лейтенант Корженевский и рядовой Петров (имен их не знаю), изможденные до предела, оборванные и грязные, уже целый месяц выбирались к своим из окружения, в которое попали под Ростовом. Они стремились на север в сторону Славянска, где, по слухам, пролегала шаткая линия фронта; пуганые и осторожные, они стороною обходили магистрали, чтобы не нарваться на вражеские разъезды. Однажды ночь застала их в голой безлюдной степи, оба прикорнули у костерка, пробужденные на рассвете страшным грохотом моторов и гусениц.

— Танки! Смотри, смотри... сколько их, господи?

Сначала десятки, а потом и сотни машин, маневрируя в степи, совершали какие-то странные эволюции. Наконец они застыли, образовав четкую геометрическую фигуру, похожую на четкий квадрат, видимый, наверное, даже из космоса.

— Что бы это все значило? — обомлели оба.

— Напоролись... прямо на танки Клейста! Но что они тут делают и зачем выстроились в квадрат, этого я не знаю.

Петров был дважды ранен (он танков боялся):

— Может, уйдем от греха, пока не поздно, а?

— Поздно. Лежи. Заметят — прихлопнут сразу...

Между тем танки Клейста, составив форму гигантского каре, внутри которого оставалось свободное пространство, чего-то выжидали. Экипажи от машин не расходились. В утреннем воздухе были слышны резкие окрики офицеров.

— Летят... гляди, гляди! — вдруг сказал Петров.

— Совсем непонятно, — ответил Корженевский...

— Пятерка брюхастых самолетов вдруг пошла на посадку, приземлившись в центре танкового квадрата. Машины вдруг ожили, экипажи забегали, разнося от машин длинные шланги, их подключали к фюзеляжам, и Корженевский догадался...

— Вот оно что! Заправляют баки горючим...

На смену опустошенным авиацистернам прилетали другие, быстро перекачивали горючее из фюзеляжей в танковые баки, и так продолжалось несколько раз — при строгом соблюдении хронометража по времени, в порядке распределения горючего по часовой стрелке. Было видно, что у немцев эта операция четко отработана еще на маневрах. Наконец вспыхнула сигнальная ракета, и танки, мощно содрогая поверхность истерзанной ими земли, колоннами развернулись в степные пространства... Корженевский и Петров долго не могли опомниться, потрясенные всем увиденным.

— Как в романах Уэллса, — сказал лейтенант. — Прямо марсиане какие-то, сошедшие на землю... Пошли, браток!

— Куда? — поднялся Петров, отряхиваясь.

— Хоть один из нас, — отвечал офицер, — должен непременно остаться в живых, чтобы сообщить своим о том, что мы случайно здесь увидели... вблизи Краматорска!

Разведка нашей 9-й армии подтвердила рассказ окруженцев. О группировании танков Клейста к югу от Славянска напомнили вышестоящему командованию. В «Истории второй мировой войны» сказано: «Однако ни командующий Южным фронтом генерал Р. Я. Малиновский, ни главнокомандующий войсками Юго-Западного направления маршал С. К. Тимошенко не приняли во внимание своевременный доклад... об угрожавшей опасности». Неудачи в войнах всегда неизбежны, но их нельзя оправдать, если они возникли по безалаберности людей, которым доверено ведение войны. Это явное пренебрежение к противнику послужило трагической прелюдией к роковым поворотам в мае 1942 года...

На генерала А. И. Родимцева, будущего героя Сталинградской битвы, в эти весенние дни произвели сильное впечатление слова рассуждавшего в окопе молодого комбата:

— Война — штука простецкая! Философии тут не надо. Только научись тому, как нельзя воевать, и тогда будешь воевать как надо... вот и вся тут премудрость!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Если сделать «короткое замыкание» в напряженной сети логических событий, то мы увидим, что судьба двух битв — за Сталинград и Кавказ — была зависима от битвы за Харьков, а судьба Харькова зависела от обстановки в Крыму...

Начиная с января 1942 года Керченский полуостров и город Феодосию занимали наши войска, которые сковывали немецкие армии





Эриха фон Манштейна, штурмовавшего Севастополь, действуя с оглядкой назад: постоянно следовало ожидать удара со стороны Керчи — и тогда, может быть, придется оставить штурм города и вообще убираться из Крыма. Мало того! Гитлер не мог начать летом наступление на Кавказ, ибо эта мощная русская армия могла угрожать тылам вермахта и тем же танкам Клейста, способная устроить немцам котел — подобный тому, что сейчас клокотал и кипел под Демянском...

Стыдно писать! Пожалуй, нигде не было собрано столько людей и боевой техники, как на этом узеньком Керченском перешейке; плацдарм был забит людьми, отчего, как говорится, и плюнуть-то было некуда.

— Вот и хорошо, — говорил Мехлис. — Пусть враг убедится в несокрушимой мощи сталинского удара...

Всей этой оравой командовал слабохарактерный генерал Дмитрий Тимофеевич Козлов, и Лев Захарович Мехлис состоял при нем представителем Ставки; бедного генерала Мехлис попросту запугал и задергал придирками, что ни скажет Козлов, Мехлис во всем подозревал «вражеские происки». Весь перешеек-то в тридцать два километра по фронту, а Мехлис завел тут громоздкие канцелярии и даже... даже курсы по ускоренному обучению командного состава. А дармоедов-то сколько! Но все при деле. Кого ни спроси, каждый «исполняет поручение начальства».

Да, повторяю, писать стыдно!

Неслыханное дело! — на фронте возникли сразу **два** штаба; свой личный штаб Мехлис натравливал на штаб командующего армией. Сложилась нездоровая обстановка кляуз, доносов и болтологии. Вчера совещание, сегодня заседание, завтра отчетно-выборное собрание, послезавтра Мехлис собирает партактив, чтобы решать вопросы о воспитании бойцов в духе непоколебимой верности делу Ленина-Сталина... Муза бюрократии парила над армией.

— Что вы мне тут талдычите! — кричал Мехлис на военных (к их несчастью, подчиненных ему). — Вы изложите все четко на бумаге с приложением печати, и чтобы вашу подпись удостоверил секретарь парторганизации... вот тогда и будем разговаривать.

Абсолютный профан в военных делах, Лев Захарович запретил бойцам отрывать даже окопы и траншеи.

— Вам бы только в земле отсидеться... трусы! — оскорблял он людей. — Окапывание подрывает наступательный дух красного бойца, а большевик должен смело глядеть в лицо смерти!

Всю тяжелую артиллерию, которой сам господь-бог велел торчать в тылу, Мехлис выдвинул на самый передний край фронта. Дивизия есть дивизия, а Мехлис держал их кучей, не разрешая растягиваться, теснил солдат одного к одному, как жильцов в коммунальной квартире, и дивизия занимала фронт на «пятачке» в 500 метров, а Козлов боялся вмешиваться:

— Погубит он всех нас, но... что делать? Кому жаловаться? Тронь это дерьмо, так оно тут же завоняет.

1937 год с его кошмарными страхами витал над Керченским полуостровом, и положение Козлова я понимаю. Во все времена, во всех войнах России русские генералы, не согласные с высшим начальством, сразу подавали в отставку, и за это их уважали! Но теперь-то времена иные: попробуй Козлов заикнуться об отставке или несогласии с Мехлисом, он был бы сразу уничтожен — как «изменник». Сталин знал, что Козлов задерган Мехлисом, но верил не генералу Козлову, а партайгеноссе Льву Захаровичу:

— Товарищ Мехлис не подведет... хороший товарищ! Когда он был редактором «Правды», там у него одну правду писали...

Сколько у нас писали об этом мерзостном человеке, и хоть бы один автор сказал о Мехлисе доброе слово — нет, никто не сказал.

Да, чужих жизней Мехлис никогда не щадил, стрелял людей направо и налево, словно это не люди, а мухи. Но свою-то голову он берег... еще как берег! Стоило над плацдармом появиться вражескому самолету, и Мехлис сразу поднимал в небо не только эскадрильи истребителей, но иногда целые авиаполки. Маршал авиации Н. С. Скрипко писал, что едино лишь для безопасности самого представителя Ставки «авиация фронта быстро выработала моторесурсы, а когда действительно потребовалось летать в полную силу, многие истребители не могли подняться...» Голова незабвенного Льва Захаровича обошлась нам в 400 самолетов!

Конечно, Москва не за тем собрала большие силы, чтобы там топтались на одном месте и пожирали казенную кашу. Ставка не раз толкала Крымскую армию в наступление, чтобы рванулась в глубину Крыма, чтобы выручила израненный Севастополь, чтобы взяла Перекоп и захлопнула крышку котла, в котором армия Манштейна и погибла бы... Только в апреле Мехлис с Козловым начали наступать, но так бестолково, что все атаки оказались бесполезны. Солдаты даже не знали, как наступать за огневым валом, не умели атаковать следом за танками. Радиосвязь бездействовала — штабы, как в гражданскую войну, полагались на телефоны, а если и телефон отказывал, они рассылали ординарцев:

— Сбегай, Ваня, скажи Петухову, что ему должно быть стыдно.

Манштейн очень легко отвоевал у Мехлиса город и порт Феодосию, отчего войска Крымской армии еще более стеснились на маленьком «пятачке», словно люди в переполненном трамвае. Немцы под Севастополем фортам его давали такие названия: «Ленин», «Сталин», «Максим Горький», «Молотов», «ОГПУ», «ЧК», «Сибирь»...

— «Охота на дроф», — возвестил Манштейн, — именно так назовем мы эту операцию... Из этой каши, что заварили сталинские стратеги, мы устроим кровавую кашу!

На рассвете 8 мая немецко-румынские войска начали «охоту на дроф», а уже к вечеру наш фронт развалился. Бойцы сражались отчаянно — на пределе сил, гибли геройски, понимая, что мостов от Керчи на Тамань нету: море... Моряки в тельняшках вставали в полный рост и, крича «Полундррра-а!», пытались из винтовок стрелять в узкие триплексы танков... все они и погибли под гусеницами! Манштейн вспоминал:

«Все дороги были забиты брошенными машинами, танками и орудиями противника. На каждом шагу навстречу нам попадались длинные колонны пленных... перед нами в лучах синеющего солнца лежало море, Керченский пролив и противоположный берег (уже Кавказский). Цель, о которой мы так долго мечтали, была достигнута».

Мехлис бежал, оставив врагам 176 000 пленных, все самолеты, все танки и две с половиной тысячи орудий, которые Манштейн сразу отправил под Севастополь — крушить его защитников. Но, перед тем как убежать, Лев Захарович отправил донос на генерала Д. Т. Козлова как на «изменника», и Сталин, получив этот донос, показал его Г. К. Жукову:

— Вот видите, к чему приводит оборона, до которой у нас так много охотников. Надеюсь, что товарищ Тимошенко, рвущийся в бой, понимает, что лишь в наступлении вершится победа...

Около полуночи 11 мая он вызвал С. М. Буденного:

— Семен, поезжай туда сам и разберись. Заставь (!) ты Мехлиса и Козлова остановиться, чтобы Манштейн не мог проникнуть к востоку далее — далее, Семен, уже Кавказ...

15 мая Сталин издал приказ: «КЕРЧЬ НЕ СДАВАТЬ».

Но Керчь уже сдали. Крымская армия, брошенная командованием, спасалась вплавь через Керченский пролив — вплавь, потому что катеров не хватало, люди цеплялись за каждую шлюпку. А часть наших войск, не сумев пробиться к морю, заживо погребла себя в каменоломнях Аджимушкая (и там, глубоко под землей, почти целых полгода она еще держала фронт, пока немцы не задушили их газами).



Севастополь теперь был обречен!

Сталину доложили, что пришел Лев Захарович Мехлис.

— Что ему? — спросил Сталин.

— Объясниться.

— Скажите, что я эту сволочь видеть теперь не могу...

Эта «сволочь» с великими почестями погребена у Кремлевской стены, где — давно всем известно — полно всяких других сволочей и палачей народа, продолжателей дел и интерпретаторов наследия мавзолейного идола. Мы, русские, по собственной инфантильности, любящие прощать тогда, когда прощать нельзя, до сих пор еще не разгребли эту свалку, образованную возле святынн нашего оскорбленного государства.

— «Охота на дроф», — подвел итоги Манштейн, — закончилась удачно, и нашим богатым трофеям, наверное, позавидует мой коллега — фельдмаршал фон Бок...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

В бункерах «Вольфшанце» шла активная подготовка к летней кампании. Гитлер, как и Сталин, ложился спать лишь под утро, он включался в оперативную работу ставки лишь после полудня. Тучи комаров налетали из чащоб в штабные бараки, по ночам зловеще угукали нелюдимые прусские филины, надрывно лаяли сторожевые овчарки эсэсовской охраны, каждодневно пожиравшие столько мяса, сколько рядовой немец не имел по карточкам в месяц.

Настроение у Гитлера было хорошее, Кейтель с Йодлем рассуждали, что лето начинается хорошо:

— Успех в Крыму определился, перед нами узенький Керченский пролив, и мы сразу окажемся на берегах Тамани, чтобы развивать движение в сторону нефтяных вышек Кавказа... Наконец нам повезло и на Волховском фронте, где окружена и полностью разгромлена вторая ударная армия, на которую так уповали в Кремле, и вчера нам сдался генерал, назвавшийся Власовым!

Фельдмаршал фон Бок вызвал к себе в Полтаву генерала Паулюса, и он предстал, тщательно выбритый, стройный и подтянутый, с упругой походкой человека, соблюдающего диету.

— Первоначальный успех, — сказал командующий «Центром», — определен ловкостью Манштейна, а дела в Крыму сразу же отразятся на Барвенковском выступе. Именно от вас, Паулюс, зависит и наш конечный результат — выход к Волге у Сталинграда. Никаких перемен в сроках более не предвидится, и маршал Тимошенко будет потревожен нами ВОСЕМНАДЦАТОГО мая...

Совсем иное настроение было тогда в нашем Генштабе, совсем иное, просто паршивое. Александр Михайлович Василевский — уже генерал-полковник — был срочно отозван из-под Демянска, где наши войска никак не могли справиться с немцами, попавшими в окружение, но в кресле маршала Шапошникова он, новый начальник Генерального штаба, чувствовал себя крайне неудобно, словно самозванец, не по праву занявший коронный престол.

Со своим приятелем генералом Анисовым он поделился:

— Как начинать? И — с чего? По сути дела, начинать мне приходится с *позора*... Да, да, с позора. Манштейн *малыми* силами сокрушил в Крыму наши *большие* силы. Вчера наш самолет пролетел на бреющем полете над крышами Керчи, пилот видел, что все улицы и дворы в Керчи забиты нашей брошенной техникой, и теперь нашей же техникой Манштейн станет усиливать свою штурмовую группу под Севастополем, судьба которого, таким образом, решена... Между нами говоря, — продолжал Василевский, — после всего, что случилось в Крыму и под Волховом, нет никакого смысла начинать операцию под

Барвенково, чтобы штурмовать Харьков. Но... как доказать там, наверху, что только в обороне наше спасение?

А мне вновь вспоминаются слова молодого комбата, которые както услышал генерал Родимцев, и я эти слова с удовольствием повторю для тебя, читатель, ибо мне они представляются мудрыми: «...Только научись тому, как нельзя воевать, и тогда будешь воевать как надо... вот и вся тут премудрость!».

К сожалению, у нас часто воевали так, как нельзя.

## 14. НА РАТЬ ИДУЧИ...

Прошу обратить внимание на очень рискованный стык во времени: Паулюс готовил армию для удара по Барвенковскому выступу 18 мая, а маршал Тимошенко планировал перейти в наступление опять-таки с этого выступа 12 мая, — их планы разделяла одна неделя, но уже в этом почти совпадении дат и точном определении боевых позиций чуялось нечто роковое...

Б. М. Шапошников, навсегда покидая Генштаб, еще раз просил Ставку воздержаться от харьковской операции, считая ее рискованной и малоподготовленной. Но Сталин (по словам Василевского) «дал разрешение на ее проведение и приказал Генштабу считать операцию делом направления, — то есть делом Тимошенко, — и ни в какие вопросы по ней не вмешиваться...» Иначе говоря, Сталин, отвергая услуги Генштаба, брал ответственность за предстоящее наступление как бы на себя...

— Почему не вмешиваться? — переживал Василевский. — Без указаний Генштаба разве мало дров наломали в сорок первом? Ведь не один я тут сижу, здесь круглосуточно работает «мозг» всей нашей армии. Я все-таки вмешаюсь.

— Желаю успеха, голубчик, — ответил Шапошников и ушел...

Будущая трагедия Сталинграда определялась просчетами Сталина и боевым апломбом маршала Тимошенко, всегда излишне самоуверенного в своих талантах и в своих силах. После страшного разгрома армии в Крыму, казалось, нет никакого смысла начинать движение на Харьков — тем более не с широкого плацдарма, а лишь с «бородавки» Барвенковского выступа. После крымской катастрофы многие понимали, что обстановка на юге изменилась в пользу противника. И наши и западные историки согласны в едином мнении: положение Красной Армии могло спасти не наступление, а, напротив, о т к а з от него, чтобы занять нерушимую оборону. К сожалению, Сталин и Тимошенко рассуждали иначе...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Катились грузовики с молодыми солдатами последнего призыва, для которых битва за Харьков станет первым и последним их боем, по зеленеющим обочинам неторопливо шли ветераны, крутя на ходу цигарки, иные даже босиком, покрикивали молодым:

— Мотопехота! Оттого, что шагать неохота...

Впервые за всю войну солдаты увидели в небе превосходство нашей авиации над вражеской, своими глазами убедились в том, что тяжелые КВ — это не выдумка окопных краснобаев. Броня танков была украшена надписями: «За Сталина!», «За нашу Советскую Родину!» и «Вперед к победе!»...

Все это настраивало войска на боевой лад, да и кормить стали намного лучше, а до этого сидели на мерзлой картошке, которую выкапывали на заброшенных огородах под пулями немецких снайперов. В кисетах солдат зашуршала махорка, по утрам старшина делил водку, как положено перед наступлением. Особым почетом пользовались бронебойщики с длинными ружьями ПТР, которые они таскали вдвоем, как носят деревья (один с хлыста, а другой с комля). Радисты приникали к штабным аппаратам, боясь пропустить в эфире сочетание цифр «777», которые послужат сигналом ко всеобщему наступлению.





Молодой генерал Кузьма Акимович Гуров навестил в эти дни Александра Ильича Родимцева на передовой, широким жестом выставил на стол бутылку портвейна, на этикетке которой красовалась популярная марка «777». Родимцев — человек нервного склада характера, легко возбудимый, худощавый, очень подвижный — побарабанил по бутылке пальцами:

— Три семерки... что за символика? Как по заказу. Но погоди, Акимыч, сначала допросим одного франта.

Пленный действительно выглядел добротно, словно свежий товар, полученный прямо со склада. Морда сытая, сапоги сверкают, мундир с иголочки. Начали:

— Какой дивизии?

— Двадцать третья.

— Инфантерия?

— Нет, панцер.

— Откуда появились в наших краях?

— Из Парижа...

Карта парижского метро и фотография пленного на фоне мостов через Сену подтверждали его слова. Генерал Гуров, как политработник, спросил — нравится ли ему в России?

— Совсем не нравится, — отвечал пленный.

— А воевать... нравится?

— Если б не эта война, что бы я делал? Наживать горб у станка на заводе... это не по мне. Когда бы еще я смог повидать Норвегию, Крит, Ливию, побывать в Афинах и в Париже? И все это бесплатно — за счет вермахта!

Родимцеву было не до лирики, он спросил:

— Почему вы так откровенны с нами?

— А что мне скрывать? Я попал в плен случайно и пробуду в плену недолго. Скоро вы все будете уничтожены нами, а я тогда получу двухнедельный отпуск. Я долго не усижу за колючей проволокой, а вот вы еще насидитесь.

— Ну что ж, — посмеялся Родимцев. — В откровенности вам не откажешь, в смелости тоже, за что и хвалю...

Пленного увели. Гуров открыл портвейн.

— Верно говорят наши бойцы: о ж и л фриц, отогрелся на солнышке. И теперь не слыхать, чтобы «Гитлер капут» орали, как это зимой было... Перезимовали, сукины дети!

— Да, — согласился Родимцев, — признак нехороший. Но меня сейчас тревожит иное. Я заметил уплотнение боевых порядков перед своим фронтом. Не напорется ли наш кулак на немецкий? Свои корпусные эшелоны Паулюс придерживает в Харькове, выдвигая лишь дивизионные резервы. Ясно, что немцы сохраняют силы в тылу для ответных ударов... В осторожности Паулюсу никак не откажешь

— В уме тоже, — кивнул Гуров. — Это не Рейхенау, который частенько пер на рожон, действуя нахрапом. Я беседовал тут с Баграмяном, армянин с башкой, собаку съел на штабной работе. Так вот он говорил мне, что в поведении Паулюса чувствуется крепкая академическая школа. Скверно, если мы станем его недооценивать. Такой «академик» способен, кажется, переломать мебель и перебить всю нашу посуду...

В канун наступления маршал С. К. Тимошенко созвал в Купянске совещание командармов, еще раз заверив их в слабости противника, он говорил о полном преимуществе своих армий — как в живой силе, так и в техническом обеспечении. На этом же совещании были произнесены слова:

— Уже одно то, что товарищ Сталин, наш великий друг и учитель,

одобрил наступательные планы армии, может служить верным залогом в предстоящем успехе нашего наступления...

«Должен сказать, — писал очевидец, — что это сообщение прозвучало тогда весьма обнадеживающе. Мы сочли, что возложенная на нас задача связана с *самыми широкими* планами Ставки». Как и водится, все было достаточно засекречено, и потому командиры (и даже генералы) не могли знать о тех мнениях, что складывались в Генштабе и в кабинете Сталина, не всегда совпадавшие. Повторялась сказка про «белого бычка»: Сталин ожидал удара немцев по Москве и толкал Тимошенко вперед, чтобы он, его натиск на Харьков, оттянул немецкие силы от Москвы, а Тимошенко ставил перед собой задачи более широкие — выйти на широкий стратегический простор, чтобы изменить весь ход войны...

В ночь на 12 мая Тимошенко торжественно объявил приказом по войскам, что открывает «новую эпоху» в истории войны с заклятым врагом человечества... Этот преждевременный пафос многим пришелся по душе. Гуров сказал Родимцеву, что говорить о «новой эпохе» рановато и даже нескромно:

— Как бы ни были благородны цели полководца, но лучше бы воздержаться от таких эффектных прогнозов.

— Да, — скупо кивнул Родимцев, — что-то у нас быстро забыли о мудрости предков: «не хвались, на рать идучи...»

В армии Тимошенко напряженно ожидали сигнала — «777».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Паулюс просыпался очень рано и, встревоженный подозрительным молчанием эфира, сначала спрашивал Гейма, своего начальника штаба, — дал ли что-нибудь ночной радиоперехват?

— Русские помалкивают. Теперь совсем не так, как было в прошлом году, когда они трещали, как сороки, и мы смеялись над их наивною болтовней в эфире... Тогда, — вздохнул Гейм, — воевать было легче: я всегда знал, что думает полковник Иванов и чего боится генерал Петров... Впрочем, лондонское радио на днях сообщало, что Тимошенко намерен наступать на Харьков и Днепропетровск, чтобы выбить из-под наших ног плацдарм для продвижения в сторону Майкопа.

Фердинанд Гейм был извещен, что на его пост начальника штаба 6-й армии скоро пришлют полковника Артура Шмидта, но Паулюс просил Гейма не торопиться с укладкою чемодана:

— Мы неплохо сработались и, чтобы не терять вас для своей армии, я прошу вас, Гейм, принять четырнадцатую танковую дивизию, в которой служит и мой сын Эрнст-Александр, с которым, — сказал Паулюс, — я стараюсь встречаться пореже, чтобы его не заподозрили в отцовской протекции. Сейчас он капитан и при мне капитаном останется, а вас, Гейм, я постараюсь рекомендовать для производства в генерал-майоры.

Гейм осторожными намеками дал понять Паулюсу, что полковник Артур Шмидт выдвигается на его место не столько оперативными талантами, сколько «иными качествами». Паулюс намек понял:

— Очевидно, — сказал он, — чтобы я не свихнулся, ко мне решили приставить идейную гувернантку... Неужели и полковник Баграмян тоже водит маршала Тимошенко на политических помочах? Мне, как и Блюхеру, необходим только Гнейзенау.

Вечером в казино Харькова немецкие офицеры смотрели советский документальный фильм довоенных времен «Борьба за Киев», в котором — на примере маневров Красной Армии — была показана ее высокая мобильность, ее передовая тактика, массированная мощь ударов — воздушных и танковых. Паулюс, как генеральштеблер, изучил этот фильм еще в Цоссене, а сейчас просмотрел снова — глазами придирчивого специалиста.

Вечер выдался хороший и теплый, после сеанса в душном казино было приятно прогуляться под липами харьковских переулков. Попутчиком Паулюсу стал генерал-майор Отто Корфес, командир пехотной дивизии, склонный ко всяческим историческим аналогиям. Сейчас, сопровождая командующего, доктор Корфес первым делом переложил «вальтер» из кобуры в карман мундира.

— Советую и вам поступить так же со своим «парабеллумом», — сказал он Паулюсу. — Вечерние прогулки в России опасны...

Конечно, «доктор Корфес», в отличие от Паулюса, еще весь находился под впечатлением документальной киноленты:

— На экране все выглядит превосходно, и хочется аплодировать. Но я никак не могу понять, к у д а все это делось? Красная Армия в тридцатые годы бесспорно была лучшей армией мира. Но сталинские наркомы, кажется, погнались потом за рекордами — кто выше прыгнет, кто дальше плюнет, кто глубже нырнет и никогда не вынырнет. Я думаю, — рассуждал Отто Корфес, — легче всего приготовить одного стахановца, дающего сразу тысячу процентов нормы. Но гораздо труднее наладить работу многих-многих тысяч рабочих, дающих сто обязательных процентов нормы — и н и о д н и м п р о ц е н т о м б о л ь ш е! В конце тридцатых годов все утерянное русскими в погоне за рекордами освоили мы, немцы, и теперь наш вермахт ставит «рекорды», взятые из поучительной практики прошлого Красной Армии...

Размеренные шаги гитлеровских генералов резко звучали в тишине мертвых улиц оккупированного ими города.

Паулюс, доселе молчавший, вдруг заговорил:

— Я не боюсь маршалов вроде Тимошенко, но следует остерегаться новых русских полководцев, которые еще никому неизвестны, но которых Россия обязательно сыщет в своих необъятных недрах. Они, эти люди, может, и не смотрели кинохроники «Борьба за Киев», но они наверняка многому научились на жестоких уроках прошлого года... научились у нас!

Мимо генералов, освещая улицу фонариками, процокал сапогами патруль автоматчиков, а позади немцев шел с карабином на плече русский полицай в кургузом пиджачке и пролетарской кепке. На площади Дзержинского генерал Корфес спросил:

— Правда ли, что Гейма заменяют Артуром Шмидтом?

— Да. В назначении Шмидта меня смущает лишь отсутствие у него высшего военного образования. Впрочем, такого образования не имеет и фельдмаршал «Лакейтель», услуживший фюреру.

Корфес уже был замешан в острых конфликтах с войсками СС, которые, словно тень, сопровождали 6-ю армию, и сейчас, стоя под одиноким фонарем на площади Дзержинского, он вдруг заговорил о загадочном «кружке друзей Гиммлера».

— Надеюсь, вы о таком кагале слышали?

— Кое-что, — ответил Паулюс. — Но в этот кружок, насколько мне известно, входят нацистские интеллектуалы или очень богатые люди... Разве Артур Шмидт принадлежит к их числу?

— В роли интеллектуала он выглядел бы смешно. Однако не забывайте: Шмидт из богатой семьи гамбургских коммерсантов.

— Ах, вот оно что... Впрочем, — сказал Паулюс, — нацистские убеждения Шмидта вряд ли могут помешать исполнению им своих обязанностей. Спокойной ночи, доктор Корфес, я покидаю вас, а то мой зять, наверное, уже волнуется. Время позднее...

Были первые числа мая, и до немецкого наступления — 18 мая — оставались считаные дни, когда состоялось знакомство Паулюса с новым начальником штаба 6-й армии. Артур Шмидт оказался вульгарным крепышом с круглою головою, плотно вросшей в широкие плечи. Бодрый, хорошо упитанный, коренастый, на вид — лет сорок, не больше. Небрежным жестом он вынул из кармана пачку сигарет «Аттика» и достал зажигалку. Одновременно с язычком пламени из зажигалки выскочил забавный смешной чертик.

— Чем только мой чертик не шутит, — сказал Шмидт...

Отныне эти два человека, Паулюс и Шмидт, столь разные, станут неразлучными до самого конца Сталинградской эпопеи, и они оба умрут на родине — Паулюс в Лейпциге, а Шмидт в Гамбурге, разделенные не только географией, но и политикой.

Между ними скакал этот пламенный чертик!

— Позвольте посмотреть, — протянул руку Паулюс.

— Пожалуйста, — показал ему Шмидт свою зажигалку. — Это мой священный амулет. Пока мой чертик пляшет в огне, я за свою судьбу спокоен. Только бы не посеять эту зажигалку.

Паулюс, смеясь, показал ему свою расческу.

— А вот и мой амулет, — сказал он, находя тему для установления первого контакта с начальником штаба. — Купил на Фридрихштрассе в магазине еврея Либензона, когда получил первый чин фендрика. С тех пор прошло много-много лет, но эта расческа всегда остается при мне... я, как и вы, суеверен.

Шмидт внимательно осмотрел амулет Паулюса:

— Странно, что за все эти годы из расчески не выпал ни один зубчик и выглядит она совершенно новенькой.

— Да, — отвечал Паулюс, — в блаженные и невозвратные времена «Вильгельм-цайта», когда у нас еще не было фюрера, немцы из любого дерьма умели сделать шоколадную конфетку.

— Хоп! — сказал Шмидт, щелкая зажигалкой с чертиком и раскуривая сигарету, он охотно согласился, что в старые времена вещи были добротнее. — Останется ли что-либо от наших эрзацев?

— Осколки, вынутые из наших ран. Вот они останутся.

— Осколки — не эрзацы, — отвечал Шмидт. — Они-то как раз сделаны очень добротно. Даже слишком добротно...

Не думали они тогда оба, и Паулюс и Шмидт, что эти их амулеты, зажигалка с чертиком и старинная расческа, доставят потом немало лишних хлопот советским генералам-победителям.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12 мая 1942 года — ровно в 06.30 по московскому времени — фронтовые радисты выудили из бездонных омутов эфира долгожданный сигнал «777», и сразу заработали «катюши», выстеливая по горизонту огненные трассы: жжув-жжув-жжув-жжжув...

Юные комроты и молоденькие комбаты выдергивали из кобур черненые пистолеты ТТ и призывали бойцов:

— За мной, славяне... даешь Харьков! Робеть не надо, а помирать придется... Урра-а-а!.. все там будем!

Удар, тщательно подготовленный Паулюсом на 18 мая, маршал Тимошенко предвосхитил на шесть дней, а боевой порыв его войск, устремленных на Харьков, в германских штабах восприняли радостно, почти восторженно, оперативники даже поздравляли друг друга.

— Для нас это волшебный дар небес... подарок судьбы! Спасибо маршалу Тимошенко — он облегчил исполнение наших планов в операции «Блау», как будто все эти годы он получал жалованье не от Сталина, а от нашего фюрера...

Яснее всех выразился в это утро сам Паулюс:

— Лучшего мы и ожидать не смели! Нам уже не придется ломать последние зубы, прогрызая оборону противника. Русские сами лезут в капканы, для них расставленные. Как верующий человек, я могу только воскликнуть — с нами бог!

Впервые прорезался голос и его начальника штаба Шмидта:

— Не будем забывать, — тактично напомнил он, — что при обоюдной готовности противников неизбежно следует «встречное сражение», а это, пожалуй, самая сложная форма боя.

Паулюс в ответ полковнику Шмидту только посмеивался:

— Именно этот вопрос и занимал меня более всего, когда я вел кафедру тактики. Суть дела очень проста: пусть слабый и далее ослабляет себя в наступлении, а сильный сидит в обороне.



Появление Адама не предвещало ничего хорошего.

— Требуется ваше вмешательство, — выпалил он Паулюсу. — Срочно созвонитесь с Джованни Мессе. Вот уже два часа подряд в Днепропетровске насмерть бьются немцы с итальянцами, и страшно, если дело дойдет до гранат и автоматов.

Подробности таковы. В кинотеатре Днепропетровска демонстрировался трофейный фильм «Антон Иванович сердится», немцы стали изгонять союзников с лучших мест, хотя итальянцы купили себе дорогие билеты; началась кровавая драка.

— Безмозглые фашисты! — горланили гитлеровцы.

— А вы... нацистская сволочь! — отвечали итальянцы.

(Союзники не сходились «идейно», ближайшее родство итальянского фашизма с германским национал-социализмом им суждено было познать несколько позже — на политбеседах в лагерях для военнопленных.)

Паулюс вышел на связь с Мессе.

— Камарад, — сказал он ему, — вы, наверное, извещены об этом прискорбном инциденте в Днепропетровске?

— Да, прекрасная комедия «Антон Иванович сердится».

— Прошу строго наказать своих виновных солдат.

— Если вы, кампаньо, накажете своих... немцев!

— Накажу, — обещал Паулюс. — После чего, я думаю, для укрепления боевой солидарности следует устроить товарищеский ужин для солдат вермахта и берсальеров ваших частей.

— Солидарность? — хохотал Джованни Мессе. — Но если моих ребят посадить за один стол с вашими, то, боюсь, что Антон Иванович рассердится еще больше...

Паулюс бросил трубку телефона, сказал:

— Эта драка из-за лучших мест — опасный сигнал для будущего шестой армии... и, пожалуй, для всего нашего вермахта. Теперь многое зависит от того, дорогие или дешевые места получат итальянцы в окопах большой излучины Дона.

Вильгельм Адам проявил редкое остроумие:

— Самые дорогие билеты достанутся нам, немцам...

Именно так и случилось потом — под Сталинградом.

На всякий случай Паулюс принял таблетку первитина.

— Первитин сегодня просто необходим, — сказал он, запивая горькую таблетку. — Чувствую, предстоят бессонные ночи...

*Продолжение следует*

## ПРОЗА



АЛЕКСАНДР СЕГЕНЬ



# ЗАБЛУДИВШИЙСЯ БТР

ПОВЕСТЬ

*Он оставлял и при свете дня.*
*В воздухе огненную дорожку*

*Н. С. Гумилев. «Заблудившийся трамвай».*

## Часть первая

### 1.

В сгустившихся сумерках строились на плацу. Темные фигуры бойцов становились в три ряда, кладя у ног снаряжение. Некоторые переминались с ноги на ногу, зябли после недавней хорошей парилочки — этот вечер по сравнению с предыдущим был студеным. Майор Бородинцев, капитан Старовойт и старлей Митяшин подходили к каждому по очереди, проверяли готовность, расспрашивали, может ли тот или иной боец идти на боевые. Никто не жаловался. Разве что сержант Карпеня, выходя на построение, слегка прихрамывал, и Митяшин приметил это.

— Так, Карпеня,— сказал он, осматривая бойца.— Готов? Оружие в порядке?

— Так точно,— был ответ.

— Что с ногой?

— Все в порядке, товарищ старший лейтенант.

— А почему хромаешь?

СЕГЕНЬ Александр Юрьевич. Родился в 1959 году в Москве, на улице Благуша. Окончил Литературный институт и аспирантуру при нем. Автор романа «Похоронный марш», вышедшего в издательстве «Современник» в 1988 году, а также рассказов, повестей, очерков и статей по русской литературе. Член Союза писателей СССР. Живет в Москве.



— Да это... В парилке кто-то банку разбил, ну эту, из которой на камни плескали, а я на самый осколок наступил пяткой.

— Плохо дело. Придется побыть дома.

— Ну товарищ старший лейтенант,— заканючил Карпеня.— Да ерунда, чес слово, я уже все обмазал йодом, забинтовал как следует. Кроссовку вон у Леонова позаимствовал, у него сорок третий. Нормально схожу.

— Нормально! А если без ноги у меня останешься?

Но Митяшину не хотелось выходить без Карпени, ему нравился этот коепкий, коренастый белорус, деловитый и надежный. И видя, что к ним приближается Бородинцев, он не стал больше спорить с сержантом, велев ему остаться в строю. Зато уж рядового Шишова он не преминул как следует распечь:

— Ты что, сынок, захотел дома остаться? Ну-ка, выйти из строя! Почему завязки на лифчике болтаются? Трудно было пришить? Шнурки на кроссовках еще с первой мировой войны, что ли?

Шишов хотел было что-то ответить, но вдруг раскашлялся. Это окончательно решило его судьбу.

— Что это за черт-те что! — возмутился старлей.— Покашляй мне тут! Выйти из строя! Останешься дома, еще пару стишков в тетрадку перепишешь.

— Ну това-арищ старш...— затянул было Шишов унылым простуженным голосом, но Митяшин оборвал его:

— Разговорчики!

Остальные бойцы, те, что еще не были осмотрены и признаны удовлетворительными, облегченно вздохнули — едва ли еще кого-нибудь оставят дома, раз уже нашелся один козел отпущения. А оставаться в Кабуле, особенно теперь, когда знаешь, что там, в духовской зоне сейчас не особенно опасно,— тоска зеленая. Да и потом, когда ребята вернутся, на тебя, не ходившего, будут все волком смотреть, издеваться, за человека считать перестанут.

Остаток построения проходил уже совсем в темноте. Вверху, на холме, во дворце Амина, где размещалась ставка, горели все окна, и это зрелище наводило на мысли об уюте и безопасности, а сам дворец становился как бы символом всего Советского Союза, до которого не достают эрэсы и пули моджахедов.

Так они стояли и смотрели на высокое здание дворца Амина, а за спиной у них лежал в долине город Кабул, в котором в это время уже вовсе небезопасно было бы появиться шурави.' Он лежал широко и плоско, как болото, на котором тускло мерцают болотные огоньки, пугают и манят.

— Братцы-бойцы! — гаркнул Бородинцев, когда смотр группы спецназа, выходящей завтра на боевые, был окончен.— Может статься, это ваш последний выход. С нового года мы начинаем из Афганистана выводиться. Здесь нам больше делать нечего. Завтра вы идете, скажем так, на крайние боевые. Обстановка сейчас спокойная, и ничего особенного от вас не требуется. Как говорится, здесь не Кандагар, и будем ждать вас без потерь. В добрый путь, сыны!

— Спаси-и-и...— вяло откликнулась группа.

— Вольно! — скомандовал Старовойт.

### 2.

Выходили в три часа ночи. Сонные навьюченные бойцы, грузно шагая, цепочкой тянулись мимо спящих модулей туда, где пыхтели, воняя горячей соляркой, четыре БТРа. Зажженные фары боевых машин высвечивали перед собою квадратную площадку, и пыль в белом свете фар казалась сахарной пудрой. По этой мягкой и белой, лунной, пыли так приятно было топать подошвами кроссовок, она была словно остатком мягкости только что покинутого сна. Половина солдат уже сомнамбулически вскарабкалась на БТРы, когда появился Митяшин.

— Команды «по машинам!» не было! — грозно прикрикнул он.— Всем построиться!

И пока все, вполголоса поругивая старлея, слезали с БТРов и строились против света фар, Митяшин сделал втык двум другим офицерам группы — старлею Исабаеву и лейтенанту Козлову. Наконец группа вся построилась, и Митяшин объявил:

— Как вы знаете, в Армении произошло сильное землетрясение, повлекшее

за собой многочисленные человеческие жертвы. За несколько дней там погибло людей больше, чем за девять лет войны здесь, в Афгане. Наше правительство в знак гуманизма отозвало в Союз из сороковой армии всех лиц армянской и азербайджанской национальности. Поэтому рядовой Магомет Сафармамедов с нами на войну сегодня не идет. Он возвращается в СССР, и мы должны сейчас с ним попрощаться.

Старлей первым подошел к азербайджанцу Сафармамедову, обнял его, похлопал по плечу и, отпустив, направился к БТРу. Сафармамедов, застенчиво улыбаясь, пошел вдоль строя, пожимая всем руки и бормоча:

— Да свиданя, ребята. Да встречи в Союзы. Счастлива, ребята, да свиданя.

— Давай, Магома! Прощай, браток! Привет Союзу! Не забывай спецназ, Магома! — обнимая, похлопывая Сафармамедова, пожимая ему руку, прощались бойцы, и никто не сказал ему, что он, счастливчик, отмучился, возвращается в свой родной Баку, а им через десять минут трястись на БТРах, мчаться во враждебную афганскую ночь, в духовскую зону, и кто еще знает, чем окончится этот не вызывающий покамест никаких опасений, но все же боевой выход.

Непрекращающееся грохотание кабульских пушек, получеловечья-полусобачья пища солдатской столовки, разговоры об эрзсах и ожидание новых боевых выходов, мемориальный стенд с фотографиями погибших спецназовцев, скудные солдатские чеки военторга и зеленые жестяные баночки апельсиновой газировки «сиси», чумазые ребятишки, преследующие БТРы с криками «бакшиш! бакшиш!», и постоянно витающий в воздухе запах смерти — все, что еще долго будет составлять жизнь этих ребят, гомонящихся в свете фар БТРов, для Магомета Сафармамедова завтра, уже завтра, станет вчерашним днем.

— По машинам! По машинам! — скомандовали офицеры. Стальные восьмиколески взревели, выпуская из своих спин фонтаны газа, и вот уже через несколько минут, облепленные бойцами, они тронулись одна вслед другой.

— Будь здоров, Магома! Счастливо долететь до Союза! — кричали сквозь рык моторов, махая руками, солдаты, а брошенный ими товарищ бежал за ними следом сколько мог и тоже махал им вдогонку обеими руками. Пыль и перегар солярки били ему в лицо, уже грязное от слез, смешавшихся с пылью и копотью. И долго еще кто-нибудь взмахивал ему с БТРов, покуда фигура Магомета не исчезла окончательно в темноте.

3.

Сначала неслись по улицам окраин Кабула; заспанные афганские ребятишки, в основном с ведерками и бидончиками спешащие куда-то за водой или керосином, как рассыпанные бусинки мелькали тут и там, жалкие, досадующие на столь раннее утро и на свет фар БТРов, выхватывающий их из теплой и сонной темноты. Реже, особенно сказочные в обрамлении тьмы ночи, выплывали на обочину дороги афганки в зеленых и голубых чадрах; гордые, не оборачивающиеся ни на какой звук, словно призраки из иного времени, неприкосновенные ни для взгляда, ни для мысли, лишь обнаженной щиколкой намекающие на свою все-таки принадлежность земному миру. Проехали мост через речушку, промелькнула мечеть, и снова сверкали отсветами фар ряды двух-, трех- и четырехэтажных окон.

Ночь была холодная, и бойцы, сидя на броне, застегнулись на все пуговицы, подняли капюшоны надетых под бушлатами горных курток, а некоторые даже развернули шерстяные подшлемники, накрыли лица, и с глазами, сверкающими в прорезях, стали похожи на каких-нибудь террористов. Когда выехали из Кабула, ветер усилился, и, бичуемые его ледяными струями, солдаты плотнее прижались к броне, уткнулись друг другу в плечи, в бока и в спины. Лишь на передней машине командир группы старлей Митяшин развлекался собственной несгибаемостью ни перед какими природными факторами. Он тоже сидел наверху, лишь свесив ноги в правый люк, лицо и грудь его были подставлены прямо в лоб ветру, но верхняя пуговица бушлата оставалась расстегнутой, а голову закрывал лишь шлемофон, в котором по обыкновению крякали и квакали голоса тех, кто находился на связи. Крепкое лицо Альберта Митяшина, несдающееся ветру, лишь размежевалось на белые и алые полосы, покрылось твердыми желваками, как бы продолжая собой поверхность шлемофона, защищенную тугими валиками. Ставшие щелочками серые





глаза изредка поглядывали на ужавшихся бойцов и усмехались: у нас в Оренбурге и не такие ветра бывают!

Нужно было во что бы то ни стало затемно добраться до заставы на Мухамедке, и потому мчались БТРы на бешеной скорости, особенно с того момента, как оставили Кабул. Ветер помогал почувствовать эту дикую гонку, да еще если посмотреть вправо, где стеною вставал над бетонкой крутой обрыв горы, можно было даже шарахнуться от ужаса, как стремительно проносится мимо эта стена, размазывая выпирающие булыжники, торчащие кустики и прочие подробности в сплошную ленту. Слева бежала встречная полоса бетонки, по ней очень редко проносились мимо чьи-нибудь шальные фары, а за ней, тоже не очень часто, по обочине дороги семенили какие-нибудь ссутулившиеся фигуры или ездоки на ослах.

Несколько раз фары вытаскивали из темноты на короткий миг мрачные силуэты подбитых танков, скорбящих там, за обочиной бетонки, о своей участи. Альберту помнилось, что где-то после четвертого силуэта на самой обочине должна была валяться огромная подорвавшаяся на мине собака. Сколько уже в кабульской жизни Альберта насчитывалось таких ночных выездов, и всякий раз труп собаки оставался нетронутым на своем месте. Между четвертым и пятым силуэтами. Но вот уже давно проехали четвертый покойник-танк, а псины нет и нет. Наконец пятый силуэт показался. Мелочь — мало ли как ее могло присыпать или что, но Альберту стало чуть-чуть не по себе: он привык, что и танки, и собака провожали его на боевые как символ тех, кто прошел впереди Альберта и подорвался, подставился, не сберегся, а следовательно — опробовал эту вражью землю до него.

Вскоре вдалеке прорезалась сквозь тьму череда огоньков, идущих навстречу. Еще минута, и стало ясно, что это идет колонна машин.

— БМПешки,— определил сидящий за спиной Митяшина слева рядовой Божечко, и действительно, вскоре сделалось очевидным — идет колонна БМП. Вот уже их головная машина, просигналив приветственно, пересеклась с головной машиной, на которой ехал Митяшин. Возвращающиеся с задания БМПешки гнали, конечно, не так сильно, но две встречные скорости сплюсовывались, и, проносясь мимо, эти сгустки лязгающего гусеницами металла обдавали сидящих на БТРах тугими волнами, где ветер и звук, смешиваясь, создавали ощущение проносящегося мимо снаряда: ж-ж-ж-у-у-ххх! ж-ж-ж-у-у-ххх! ж-ж-ж-у-у-ххх!.. И вдруг — успела только вынырнуть навстречу последняя, замыкающая колонну БМПешка, как что-то ее дернуло в сторону, она поднырнула головному БТРу под бок — и в следующий миг раздался сильный удар, БТР встряхнуло, повернуло в сторону, и никто не успел сообразить, что произошло, нарвались ли на мину или еще что-то непредвиденное. Пытаясь сбросить скорость, БТР несся влево на обочину бетонки и стонал, как раненый слон. Сидящий справа за спиной Альберта рядовой Гражданкин в момент толчка сорвался с брони, но поскольку крепко держался за ствол башенного пулемета, то и остался висеть на одной руке, а ноги его болтались в воздухе, рискуя удариться об колеса. В полубреду от шока, он подтянулся все же одной рукою и вновь очутился на броне. БТР меж тем в долю секунды выскочил уже на обочину, перед ним в следующий миг распахнулась зияющая яма, но не успел никто и испугаться, как вновь резкий толчок — и машина замерла как вкопанная, повиснув носом над черным обрывом.

После секундного оцепенения все вскочили на ноги, ожили, стали оглядываться по сторонам и материться изо всех сил. Из левого люка вынырнул ведший машину Карпеня:

— Живы, товарищ старший лейтенант?

— Ты что, уснул там? ослеп там? карась долбаный! — заорал на него Митяшин, вытягивая из люка ноги, поднимаясь на броню и рывком левой руки расстегивая все пуговицы на тесном бушлате.

— Да не виноват я, товарищ старший лейтенант! — закричал в ответ обычно спокойный Карпеня.— Это БМПешка, сука, в нас дерябнулась, я и так еле успел руль вырулить!

Тем временем со всех сторон сбегались бойцы. Пехотинцы с БМП подбегали с лютым матом, однако матерная перестрелка с ними не оказалась долгой, ибо очень скоро выяснилось, что виновницей аварии все-таки явилась последняя БМПешка, и точнее, даже не она, а небольшая воронка, в которую БМПешка тюкнулась левой гусеницей и, поднырнув под БТР, ударилась ему в самое заднее правое колесо, выбив

его напрочь с оси. Колесо это теперь уныло валялось посреди дороги, освещенной фарами боемашин. Потерявший его БТР картинно, как на памятниках Т-тридцать-четверкам, застыл над глубокой ямой бомбоубежища. От падения туда, в яму, его спасла какая-то непонятного назначения деревянная лачуга. Сама-то она разлетелась в щепки, но бронемашину, севшую на нее своим брюхом, спасла.

Всеобщую ярость и возбуждение совершенно неожиданным образом развеял выскочивший из темноты старик-афганец. Он подбежал к попавшему в приключение БТРу и кинулся с радостными припеваниями и приплясываниями обнимать бойцов:

— Герами шурави! Ташаккор, азизи! Ай, ташаккор, шурави!

Не сразу поняли, в чем дело и чему он так радуется, за что благодарит растерянных «шурави». Обняв всех, кого только мог, смешной старичишка принялся подбирать деревянные обломки неизвестной лачуги и, набрав полную охапку, снова запел-запричитал:

— Хуб! Хуб! Ай, бессйяр хуб! Ташаккор, шурави! Ташаккор!.

Тут уж все поняли и расхохотались:

— Молодец, папаша!

— «Хуб»,— говорит! Конечно, «хуб» — столько дровишек сразу привалило.

— Отец, поехали с нами, мы тебе еще что-нибудь на дрова поломаем.

— Откуда дровишки? С халявы, вестимо?

— Шурави, слышишь, рубят, а мне хорошо!

— Тьфу ты, ё-моё! Кому война, а кому мать родна!

Старик тем временем исчез в темноту, где тускло светился огонек его, судя по всему, незамысловатой хибарки, но вскоре он снова выскочил оттуда, на сей раз ведя за руку слегка упирающуюся девчушку в дырявой чадричке. Старик вновь принялся припевать и приплясывать, двигаясь к БТРу, под которым еще много валялось драгоценных дров, а девчушка как-то одновременно и робко и решительно принялась танцевать перед вконец удивленными «шурави», плавно извиваясь станом, вращая локтями и запястьями с немудрящими цепочками и браслетиками. При этом она еще и что-то мурлыкала под своей чадричкой, какую-то монотонную песню. Бойцы, улыбаясь, хлопали ей в такт, а старик, не теряя даром времени, вновь уже бежал в темноту с охапкою дров.

Но вот тронулись и исчезли БМПешки; поковырявшись и решив, что ремонт следует отложить, бойцы забросили на броню оторванное колесо, собрали с дороги рассыпанные болты, гайки, десантные рюкзаки — все, что отвалилось и свалилось с брони в момент аварии; пострадавший БТР завелся и дал задний ход, обнажив осчастливленному старику солидную груду обломков.

— Дрянь дело,— выругавшись, подытожил старлей Митяшин.— Тридцать семь минут — псу под хвост. Светает, собака! До света не успеем. Карпеня, машина идет нормально?

— Нормально, товарищ старшлейтенант.

— «Валенки»! — обратился Альберт, включив шлемофон, ко всей своей группе, условно закодированной «валенками».— Приказываю: трогать, газу прибавить! Если до света не успеем, сутки потеряем. Поехали!

Группа тронулась, БТРы окатили гарью и жаром выхлопных газов смешного старика, стоявшего среди нежданно-негаданно свалившегося на него дровяного богатства. Девчушка его уже улепетнула, а он все стоял и махал вслед убегающим БТРам:

— Ташаккор, шурави! Ташаккор! Ташаккор!

## 4.

Светало.

Уже промелькнули мимо перевернутый ржавый остов искореженного миной БТРа, и вдребезги разбитый дувал с чудом уцелевшей майоликовой голубятней, и голубовато-серые останки сбитого вертолета. Бетонка бежала по ровному месту в долине, расстилавшейся справа и слева, а впереди уже показалась гора Мухамед-Дага, или попросту, по-русски, Мухамедка.

БТРы неслись на очень хорошей скорости, но Альберт понимал, что идти ставить засады придется только после заката и сегодняшний день — впустую. Об этом



он больше не переживал, как привык относиться спокойно ко всему, что свершилось окончательно и бесповоротно. Однако в душе у него было очень неуютно, и причиной тому было не что иное, как военное суеверие. Всё как-то шло одно к одному. Во-первых, по неизвестно чьему наблюдению чаще всего солдат гибнет в свой первый или последний боевой выход. Это наверняка предубеждение, и гибнут одинаково и во второй, и в третий, и в пятый, и в двадцатый раз; просто обидней и запоминаются чаще смерти тех, кто идет или в первый, или в последний свой бой.

Во-вторых, собака. Куда она делась?

В-третьих, эта глупая авария.

Наконец, в-четвертых, у Альберта еще когда выехали из Кабула, начало зарождаться и зудеть в душе чутье смерти. Это тоже одна из примет, и она-то как раз была самая серьезная. Не здесь, не в Афгане, еще подмечено, что солдат часто чует, идя в бой, что не вернется живым. «Нехорошо как-то на душе»,— сказанет он, бывает, товарищам, а через минут десять-двадцать, глядишь, он уже с пулей во лбу лежит.

Маялось сердце у старлея, так что лицо его время от времени невольно сморщивалось. Альберт вздыхал и принимался мысленно напевать свою заветную, придуманную кем-то здесь, в Афгане, песенку. Он верил в ее слова как в заклинание и, может быть, даже больше — верил в саму песню, как верят в Бога-спасителя. И когда ему изредка становилось где-то как-то не по-себе, он принимался тайно, в своем лишь воображении, напевать ее, по многу раз, будто молитву, повторяя главный кусочек песни, ее припев:

Чем дольше расставанье,
Тем жарче будут встречи,
О том, что не вернусь я,
Не может быть и речи.
О том, что не вернусь я,
Не может быть и речи.

Дома, в Оренбурге, как и во всем Советском Союзе, не было у Альберта Митяшина ни жены, ни невесты, как-то не успел он обзавестись, оттого он всегда старался избегать всякой болтовни на сей предмет. Но как бы то ни было, напевая незамысловатую эту, но какую-то родную такую песню, Митяшин знал, что адресует ее не в пустоту, а именно той единственной, которую ни он не знает, ни она его, но которая непременно есть и ждет его, Альберта, сама о том не догадываясь.

Ты теперь скучаешь,
Сидя у оконца,
Но подожди немножко,
И твой солдат вернется.
Чем дольше расставанье,
Тем жарче будут встречи,
О том, что не вернусь я,
Не может быть и речи.

Иной раз требовалось пропеть в голове эту песню для того лишь, чтобы заглушить, отвести прочь какую-нибудь мрачную — их тоже множество роилось в мозгу Альберта, особенно во время езды на БТРе. В тысячный раз прослушанные дома, в Кабуле, на магнитофонной кассете записанные, во время боевых выходов они сами собой лезли в душу и наполняли ее тревогой. Например, эта:

Ах, зачем война бывает?
Ах, зачем? Ах, зачем?
Зачем нас убива-ют?

Или — особенно — другая, про груз 200:

Вот мы и вместе —
Одни на двоих самолет.
Груз мой 200,
Твой прощальный полет!

И тогда, когда они приходили в голову, он, мысленно пропев их, вдруг спохватывался, что накличет ими беду, и заставлял себя спеть, что о его невозвращении не может быть и речи. Так и сейчас, с небывалой остротой чувствуя в сердце тревогу, Альберт то перескакивал с «груза 200» на «о том, что не вернусь я», то,

забы...сь, вновь возвращался к «прощальному полету» и — вновь заставлял себя настраиваться на спокойную волну.

Свернули с бетонки, и БТР запрыгал, заскакал на ухабах. Справа проплыл пустой, почти сровнявшийся с землей кишлак, из которого в августе наших обстрелял минометчик, двоих тогда не довезли до Кабула живыми.

— Товарищ старший лейтенант,— обратился к Митяшину сзади рядовой Гражданкин.— Может, это — пульнуть туда с подствольника?

— Отставить,— коротко приказал старлей.

За оставшимися сзади БТРов горами, обернувшись к Гражданкину, Митяшин увидел розовый свет только что проблеснувшей первыми своими лучами зари. Над ней уже голубело небо, и теперь никто уже не мог сомневаться в том, что идти и ставить у духов засады поздно.

БТРы излишне растянулись. Один, последний, вообще здорово отстал. Митяшин грозно прорычал в шлемофон, чтоб подтянулись. В этот момент правым передним колесом БТР нырнул в особенно глубокую колдобину, и рядовой Гражданкин снова чуть было не сорвался с брони.

— Держись, матрена, ёшь твою двадцать! — злобно прикрикнул на него старлей.— Что, животиком ослаб?

— Никак нет,— тихо промемекал Гражданкин и шмыгнул носом.

Митяшин тоже сильно шмыгнул носом и крепко сплюнул в сторону разрушенного кишлака, уже остававшегося позади. Вдалеке слева, по ту сторону от бетонки, порхнул и округлился серым мозговатым дымом взрыв, тут же, рядом,— еще один.

— От ты ж!..— ругнул их младший сержант Рябинин.

Через десять минут, объехав гору справа, прибыли на место обычной стоянки — небольшой прихолмок неподалеку от заставы. Заря уже вовсю розовела, и груды пустых консервных банок, сваленные справа от стоянки, тоже поблескивали розовым светом.

### 5.

Спустя три часа уже кашеварили, готовили завтрак. Половина бойцов, разлегшись на откосе невысокой горки, там, за кучами консервных пустых банок, спала, досыпая то, что не успелось доснуться в Кабуле перед выездом. Митяшин вернулся с заставы, куда ходил проведать тамошних мужиков, узнать-уточнить обстановку.

Около широкого противня, на котором поджаривалась картошка, стояли и сидели кто на корточках, кто на деревянных чурках, Исабаев, Козлов, Рябинин, Карпеня, Гражданкин и сержанты Языков и Щукин. Всей готовкой заправлял Божечко, известный повар. Гражданкин рассказывал о том, как он чуть не свалился с брони:

— Да ну, ты чо, не успел! Еще как успел-то! Чес слово! Ну, буквально, сколько все продолжалось? Несколько секунд? А у меня все будто в замедленной съемке. Ну! Ты чо, чесно! Вот, буквально, как, вот, в кино показывают, в замедленном виде. Как шандурыкнуло нас об эту БПМешку, я — мама родная! — в первый момент подумал: кобздец нам пришел, на мину напоролись. «Прощай, жизнь!» — думаю. Потом смотрю, вот честное слово! так медленно все осмысляю — смотрю: я вишу, ноги болтаются, под мной дорога несется, а я одной рукой только за ствол пулемета держусь. Ну, думаю, чо делать?

— Пока то да се, значит, раскидываешь мозгами на досуге, так? — рассмеялся Щукин.— Умреш!

— Тебе «умреш», а я — нá вот, зуб отдаю, точно — будто время раз в двадцать замедлилось. Я, так даже спокойно, начинаю прикидывать: что лучше — обратно на броню подтянуться или на дорогу спрыгнуть? В левой руке — автомат, тут лифчик полный, за спиной — эрдэ, тоже битком набитый у меня, так и тянет все к земле.

— А ты бы к старлею обратился: «Товарищ старший лейтенант, разрешите обратиться? Что делать — прыгать или еще повисеть?» — в свою очередь сострил Рябинин.

— Да ладно вам!..— ничуть не обижаясь, отмахнулся Гражданкин.— Короче, пока я так думаю, рука моя сама собой начинает действовать и подтягивает меня обратно на броню. И вот я уже обратно сижу на броне и вижу, что бэтэр наш





несется черт знает куда в темноту. А дальше, вижу, несемся мы — и прямо в огромадную ямищу. И тут я чую — накрылись мы медным тазом. Только было собрался прыгнуть куда-нибудь подальше, тут — хрясь! — тут мы и сели. Как в кино, над самой ямой. А если б туда ухнули, точно нас бы там всех в масло раздавило бы бэтэром.

— Ты-то ладно,— сказал Рябинин,— а вон у Славки, поди, очко поиграло.

— Ну,— сказал Божечко.—Трошки спугался, товарищ сержант?

— Да не, иормально,— только и ответил Карпеня.— Тормоз даванул, а бэтра, как фигурист по льду, катит и катит. Я его и вырулил на ту деревянную фигню.

— Ну, что там картошка? — спросил подошедший Митяшин.

— Готова, товарищ старший лейтенант,— доложил Божечко.

— Гражданкин, Рябинин, тащите сухпай. Щукин, иди буди народ.

### 6.

Альберт любил это славное местечно возле Мухамедки: с юга, востока и запада его окружали, как надежным редутом, холмы; неподалеку располагались две заставы — большая и маленькая; а на север распахивалась широкая долина, пересеченная бетонкой, обрамленная по горизонту горами, особенно живописными на закате и рассвете. В общем, место было хорошее. Альберт любил приезжать сюда, располагаться на стоянку, затем, поставив в духовской зоне засады, несколько дней гонять по окрестностям в поисках приключений, прочесывая пустые кишлаки на тот предмет, если какой-нибудь дух захочет там примоститься и шурануть реактивным снарядом по Кабулу. Конечно, великое счастье, если на какую-нибудь из засад нарвется духовский караван и можно будет вернуться в Кабул с хорошими трофеями. Это не просто счастье, не просто радость великая,— это сродни чуду, и уже четыре раза такое чудо случалось в жизни Альберта Митяшина, причем однажды трофей был очень солидный. Но все же всякий раз, возвращаясь в Кабул с пустыми руками, Альберт, хоть и выражал вместе со всеми неудовольствие, где-то глубоко в душе особо этого неудовольствия не испытывал. Да и, может быть, скучно было бы всякий раз забивать караван, притупилось бы острое чувство охотничьей удачи, азарта, редкости везения. Все равно что в футбольных матчах каждые пять минут загонялись бы голы или раз в месяц присваивали бы орден Красной Звезды. Кстати, Альберт уже ждал его приближения и после каждого боевого выхода возвращался домой с надеждой — а вдруг? Ведь он уже три почти года трубил в афганском спецназе, и из них одиннадцать месяцев не где-нибудь, а в святая святых этой войны — в Кандагаре. Вот там бывало и страшно, и жутко, и черт-те чего можно было ожидать в любой момент, как в каком-нибудь видюшном фильме ужасов, только по-настоящему, ближе к телу. А здесь — что? Здесь опасность по сравнению с Кандагаром оставалась разве что для затравки. Хотя и здесь случалось встретиться со смертью, но на то и война, а как на войне без нее, без старухи этой, скрывающей свои пустые глазницы под чадрой цвета пыли...

Размеренная жизнь в кабульском спецназе с верной, как жена, периодичностью выходов на боевое задание укрепила расшатанные в кандагарском пекле нервишки Альберта. Тут он стал спокойным, уравновешенным боевым офицером, ежедневными занятиями с гирей накачал себе культуристские горы мышц. В кабульском модуле у Альберта на стене, как и у многих, висел большой плакат с изображением Арнольда Шварценегера, купленный у местной армяно-азербайджанской фарцы, промышлявшей в дуканах с отчаянной дерзостью. Фарца эта, такая же подлая и нечистоплотная, как в Союзе, все же заслуживала здесь, в Афгане, какого-то, пусть относительного, уважения, поскольку к обыденному риску военной обстановки вполне добровольно прибавляла себе риск попасть в каком-нибудь дукане дурной своей головой в пыльный мешок и потом остаться брошенной с отрезанными ушами, носами, пальцами и половыми органами на съедение псам. И все же они лезли нарожон, «патаму щта ти вернулся к сэбэ дамой и ти герой, да? а я вернулся к сэбэ бэз дэнжонки, бэз видючки, я — пох ер свн, я гавна кушаль, да». При желании у этой несчастной шантрапы можно было прикупить за хорошие бабки и водку, и клевое курево, и всякую мелочёвку, то, что называется «пустячок, а приятно». В спецназе этого захребетного сброда, кажется, не было...

Короче, Шварценегер был куплен у какого-то жучка в вонючем обтрепанном хабэ и приклеен на стенку. И всякий раз, сравнив свои бицепсы и трицепсы с мускулатурой Арнольда, Альберт радостно бормотал себе под нос: «О'кэй, Арни». Двухпудовую гирю он неизменно возил с собой и на боевые, всякий раз с усмешкой отмечая, как слегка покачивается БТР, когда эта круглая дуреха тюкается ему на дно. На стоянках — под Мухамедкой ли, или где еще — по два раза в сутки, утром и вечером, Альберт баловался гирькой. Обязательно просил, чтобы кто-нибудь вытащил ее ему из БТРа и, потея, нес, покуда Альберт выберет место для упражнений. Выбрав наконец такое местечко, Митяшин брал у солдата свою «подругу» с вопросом: «Умаялся?» И тут же лихо начинал крутить ее над головой, подбрасывать и ловить, отжимать от твердокаменной груди круто вверх, снова подбрасывать, теперь уже сзади у себя между ног вверх и ловя впереди на уровне лица. Испытывал он при этом необычайную радость удали, воображая себе, что кругом вовсю свищут пули, а он, молодец эдакий, на них абсолютно чихает.

Это была мечта — идти по стране моджахедов с боями, брать город за городом и чтоб пули, как в видюшных фильмах, свистели вокруг, не задевая никого из друзей, разве лишь изредка. За каких-нибудь два-три часа видеовремени захватить главную ставку духов, окончить войну и завоевать для всех шурави право вернуться домой. Возвратившись с боевых, Альберт частенько захаживал к Старовойту, у которого был видюшник. Они смотрели очередной боевик со Шварценегером или Сталлоне, и реальные бои растворялись на какое-то время в видюшных перепалках. Смешно, но даже глядя «Рембо в Афганистане», Альберт, как и все, был на стороне героя, Рембо, а не на стороне якобы наших. В фильме они и не были нашими, так умело создатели фильма изобразили их неправдоподобными, идиотскими ублюдками, что называется — «совками». Там и техника вся была американская — не нашлось в Голливуде современных советских БТРов, танков, БМПешек и вертолетов. Только «калашниковы».

Видак можно было, если накопить чеков военторга, приобрести в Кабуле. Фильмы записывались в Союзе во время отпусков, и когда офицер возвращался в Афган, он обычно привозил с собой что-нибудь новенькое.

Альбертова голова, напичканная видеобоевиками, частенько безо всякого усилия переделывала ситуацию какого-нибудь боевого выхода в лихой фильмец, где сам Альберт если и не превращался в Шварценегера, то ни в чем не уступал великолепному Арнольду.

## 7.

Завтракали молча и сосредоточенно, любовно опорожняя консервные банки, бережно неся ко рту ложки жареного картофеля, страхуя каждую ложку снизу ладонью. Чем хороши были боевые выходы — в Кабуле в столовке накормят черт-те чем: холодная перловка с разогретыми и оттого еще более паршивыми рыбными консервами да квкой-нибудь прокисший яблочный компот или чай,— не чай, а водица какая-то, не разбери-поймешь, из чего сваренная; в лучшем случае дадут плов — распаренный до размазни рис с вкраплениями осколков костей, на коих едва-едва брезжится мясо; а на боевых — другое дело: БТРы загружаются ящиками сухпая (сухого пайка), в которых удивительно вкусная тушенка, печеночный паштет, сливочное масло, галеты, сгущенное молоко, виноградный сок, и все это в таких маленьких аккуратных баночках, которые так приятно опустошать, и чаю дают столько, что можно заваривать, как душа пожелает,— конечно, для любителей чифиря все равно ерунда, но аромат чувствуется. Такое баловство вполне оправдано, потому что, случись боевой группе попасть в серьезный переплет и недели три уходить и отбиваться от духов где-нибудь в горах, так там и по нескольку суток на одной галете приходится держаться; хотя такое случается и редко, но все же.

Первый завтрак на боевой стоянке всегда совершается молча, будто священнодействие в какой-нибудь секте глухонемых. Боец нежно берет в руки жестяную баночку и мысленно гадает, что там — тушенка или паштет, и если слюноотделение бойца обильнее происходит при мыслях о тушенке, то в баночке при вскрытии непременно окажется паштет, и наоборот: если о паштете,— то тушенка. Но какое бы из этих замечательных блюд там ни оказалось, боец все равно рад им и спешит как можно быстрее уничтожить, обласкать их внутреннею честью своего желудка.





Ради первого завтрака командиры не щадят для бойцов сухпая — ешь, сколько влезет. И поэтому, если желаемый паштет или тушенка не оказался в первой жестянке, то можно попытать счастья и после первой откупорить вторую. Это уже начиная с обеда начнут строго выдавать по одной банке на нос, а посему тут не следует упускать своего шанса. Во второй баночке, как в награду, обычно бывает желаемое. И хорошо, что выбор продукта не столь богат.

Радуется душа бойца также и картошке. Три, а повезет,— то и четыре мешка ее грузят в Кабуле в БТРы. На стоянке охотно вызываются желающие ее чистить — так радостно держать в руке это свежераздетое, скользкое и пахучее круглое тело, стругать его на уже шипящий от растопленного масла противень и ждать потом, когда эта сыпучая масса, слегка политая томатным соусом, дойдет до готовности. Уничтожив содержимое жестянки, так приятно накрыть его в желудке пятью-шестью ложками жареного картофеля.

Весело также выпить баночку виноградного сока, а к чаю открыть сгущенку и макать в нее кусочки одеревеневших галет, тщательно облизывая после каждого кусочка не слишком чистые пальцы.

Короче, завтрак афганского туриста упоителен.

## 8.

Когда уже все поели, Карпеня еще доскребывал с противня остатки картошки.

— Давай-давай, бульбаш, все чтоб дочиста, не то за руль не пущу, — звкуривая, бубнил Митяшин.

— Интересно,— сказал лейтенант Козлов,— а в которых группах бульбашей не попадается, там кто картошку доедает?

— Таких групп не бывает,— спокойно отвечал Карпеня.— Мы, бульбаши, по всему Афгану встрачвемся, в больших количествах.

Тут Исабаев вдруг улыбнулся, вспомнив шутку, и сказал:

— Вячеслав, а знаешь, почему у казахов морщины больше около глаз, а у белоруса на лбу?

— Не, не зна,— засовывая в набитый рот последнюю ложку, промычал Карпеня.

— Потому что казах сидит целый день в юрте, на чай дует и щурится — ф-ф-ф-ф, ф-ф-ф-ф, а белорус горячую бульбу в рот бросает — хап! хап! хап! — глаза во какие, аж на лоб вылезают.

Некоторые посмеялись.

— Не смешно,— дожевывая, сказал Карпеня.

— А действительно,— сказал Козлов.— Куда ни сунься, везде, по всему Афгану, бульбашей навалом.

— А нас, украинцев, що, меньше? — легонько обиделся Божечко.

— И вас, хохлов, хватает.

— И Средний Азий много,— вставил свое слово младший сержант Фархат Мамеддиев, душанбинец.

— Без вас тут хреново было бы,— рассудил Щукин,— Восток дело тонкое, без чурки, как без мата, не разберешься.

— Я тиби дам — «чурки»! — встрепенулся, но без особой злобы, Фархат.— Нихарашо! Как двину тиби у морда! Щука ти и есть, щучий род твой.

— Говорят, прибалты от нас отделяются,— сообщил Альберт.— Листовки сюда завезли: народный фронт ихний призывает, что ихнему брату в Афгане воевать западло, чтоб все отказывались подчиняться и ехали назад. Мол, эта война позорная.

— Ненадежный народ,— вздохнул Исабаев.

## 9.

После перекура вереницей потянулись на неприятное дело — к отхожему месту, длинной неглубокой траншее. Неприятным это дело было потому, что, во-первых, требовалось расстегивать множество пуговиц бушлата, комбинезона, а под комбинезоном еще теплых стеганых штанов, потом следить, чтобы лямки комбинезона не вляпались куда-нибудь, но во-вторых, и главное, потому, что ужасала

обидная мысль — вдруг именно в эту постыдную минуту какой-нибудь шутник-дух подстрелит тебя, клюнешь носом в самое это самое и будешь лежать в нем, сверкая на солнце голым задом. Очень досадная картина. Нет, уж лучше под эрэс попасть и мелким кровавым дождичком на землю с неба поморосить, чем так, в отхожей траншее.

Но, впрочем, и тут отшучиваются. Командиры обычно сообщают бойцам, что идут обдумать план боевых действий, а солдаты оповещают командиров, что хотят отлучиться и проверить свою боеготовность.

## 10.

К полудню солнце стало припекать. Некоторые бойцы разделись по пояс и загорали у подножия горы. Козлов с четырьмя солдатами пошел пострелять — тут бойцами застав даже небольшое стрельбище было устроено неподалеку. А Митяшин, Исабаев, Карпеня, Языков и Мамеддиев на двух БТРах поехали за водой. В десяти минутах езды отсюда в заброшенном кишлаке был источник, у которого дряхлый старик зарабатывал себе мелкие деньжонки, продавая воду проезжающим мимо. Шурави и солдаты Наджиба заправлялись у него водой бесплатно.

— Ух ты, лед! — удивился Языков, когда, въехав во двор, где находился колодец, БТРы захрустели колесами по ледяной корке, окружающей огромную желтую лужу.

— Ночи-то холодные стали,— сказал Митяшин.

— А жара-то вроде, чего же не тает?

— Тень,— показал Альберт на тень от дувала, только что сошедшую с лужи и льда. Зимой и впрямь частенько можно увидеть в Афганистане кое-где лед. Голову солнце припекает, а по ногам, однако, студеный ветерок ходит — найдет в тени какую-нибудь лужу и заледенит ее. Смешно смотреть — кругом зелень, загорать можно, а рядом — свежие сосульки или иней на траве. В Кабуле около ресторана для работников штаба — газон, а из газона три фонтанчика задрипанных выведены, так попадет один из фонтанчиков в тень от здания — весь облепится сосульками и льдышками среди бела дня, при самом что ни на есть солнцепеке.

— Эй, бачча! Бачча! — стал выкликать старика Исабаев, хотя все знали, что старик ни за что не вылезет из своей конурки, если его звать издалека. Как ни беден он, а горд своей старостью, бояться ему нечего. За ним нужно сходить, уважительно попросить его, тогда только он придет и откроет сарайчик, в котором скрывается от солнца водонапорная машина.

— Фархат,— повернулся Исабаев к уже вылезающему из-за руля БТРа Мамеддиеву,— дуй за баччой.

Смешливый был этот Исабаев. Вот смешно ему, что и мальчишка по-афгански «бачча», и всякий прислуживающий тоже «бачча», хоть он и старый-престарый старик, а главное, что задница по-афгански на жаргоне тоже «бачча». И каждый раз Исабаева так и подмывало обыграть эту словесную тонкость какой-нибудь плоской шуткой, типа: «Эй, бачча! Подставляй бачча!»

— Живой там этот воин аллаха? — сказал Митяшин, вспоминая смешную физиономию старика.— Может, уже среди гурий млеет?

Мамеддиев скрылся в стариковой хибарке, и минут пять его не было. Обычное дело — старик артачится, кряхтит, еле шевелится. Наконец, они появились.

— Бензину просит, товарищ старший лейтенант,—объяснился Мамеддиев.

— А хо-хо не хо-хо? — качнул головой Митяшин.— Ладно, нацедите ему ведро.

Старик по тону догадался, что бакшиш будет, и удовлетворенно закивал своей огромной головой. Длинный и мясистый нос его смешно при этом заколыхался, так что никто не мог сдержать улыбки при виде этого забавного зрелища. Покуда относили старику ведро горючего, покуда долго, с яростными стонами и матом пытались раскрутить замерзшую в сарайчике машину, Альберт осматривался кругом, что происходит в кишлаке. Его все-таки что-то тревожило, но причин беспокойства он пока не видел. Так же, как и полгода назад, в этом заброшенном кишлачишке было безлюдно и спокойно, так же трепался на жердине трехцветный революционный флаг, уже совсем бесстыдно выцветший — черная полоса стала серой, красная — едва розовой, а зеленая, кое-как обозначающая исламизм режима, вовсе



исчезла, съеденная ветрами и солнцем до основанья. Митяшин стал прикидывать, попал бы он с такого расстояния в жердину, и в эту минуту сердце его вдруг наполнилось какой-то тоской, словно он чувствовал, что за дувалом или еще где-то поблизости затаился враг, который вот-вот нападет. В следующий миг он увидел мальчишек, гурьбой вваливающихся во двор, где стояли БТРы, и Митяшин спросил у старика через Мамеддиева, откуда они взялись и что тут делают.

— Он говорит, что они тут второй день бродят,— перевел Мамеддиев то, что ответил старик.— Это... как его... Беспризонники. Это... который без отец, без мамаша остался.

Тем временем самые смелые из беспризорников уже приблизились к БТРам и заканючили:

— Шурави! Бакшиш! Дай бакшиш! Бакшиш дадан! Бакшиш-бакшиш!

Самый старший из них улыбнулся Митяшину белозубой улыбкой и, показав обеими руками большой палец, почти мужским голосом произнес:

— Шурави — короши аскар. Бэтээр-зерехпош — хуб! Дай бакшиш. Сахебмансаб, дай бакшиш, ёкэлэмэнэ!

Альберт рассмеялся и велел отдать мальчишкам все, что было можно,— галеты по пачке каждому, по горсти конфет, сухари. Задние, боязливо стоящие поодаль, при виде бакшишей тоже подбежали, и тут душу Митяшина обожгло, словно туда плеснули стакан кипятку. Он увидел среди этих пацанов Охломона... Тотчас разглядел, что это вовсе не Охломон, но так удивительно похож. Не брат ли? Очень похож! Кровь забилась у Альберта в висках, заломило в затылке...

## 11.

Довелось Альберту повидать в Афгане немало — и изуродованные, распухшие на солнцепеке трупы наших ребят с отрезанными носами, ушами, пальцами, с засунутыми в рот отрубленными половыми органами; приходилось ему залезать в подбитые БТРы и танки, в которых на стенках висели ошметки мозгов и внутренностей, а сами стенки были вымазаны кровью так, словно кто-то нервно выкрасил их кистью; однажды Альберт летел в вертолете с тяжелоранеными бойцами, они страшно стонали, метались, и трое из них умерли на глазах у Альберта; но это воспоминание об Охломоне, как бы то ни было, оставалось самым страшным.

Под Кандагаром, возвращаясь с задания, он с небольшой группой нарвался на крупный отряд моджахедов. Пришлось уходить от преследования долго, путать следы, отстреливаясь, оставшись без воды и пищи с двумя ранеными и одним трупом на руках. Наконец, духи сбились с их следа, и удалось устроить первый за трое суток привал, найдя для этого полуразрушенный пустой дувал. Шестерым Альберт сразу разрешил покемарить, остался вдвоем с седьмым солдатом. Это был Карпеня. Так они с ним целую ночь вдвоем и просидели — то один поспит полчасика, то другой. Рассвет встречал Митяшин. Сидел и, как водится, мысленно неторопливо беседовал с Шварценегером: «Все о'кей, Арни, все о'кей. Пусть мои мальчики отдохнут. А завтра мы доберемся до своих, Арни. Вот увидишь». И вдруг в одну из пробоин дувала (Альберт для себя обозначал ее как «Пункт № 1, особого внимания») заглянула черноглазая физиономия, и Альберт, чутко улавливавший все звуки и пропустивший шорох пришедшего мальчишки, даже и не сразу сообразил, что произошло. Лицо мальчика лишь на несколько секунд задержалось в пробоине, в глазах его изобразился страх, и в следующий миг лицо исчезло. «Ах ты, охломон!» — в сердцах прошептал Альберт, и лишь тут до него дошел кошмарный смысл происшедшего. Только тут он понял, что ему нужно догнать охломона, поймать его и притащить в дувал, с тем чтобы после тащить с собой до самого расположения, иначе глупый бачча расскажет духам, где он видел шурави. Альберт бесшумно выскочил из дувала и побежал по ущелью. Охломона нигде не было. Но не привиделся же он! До сих пор никаких галлюцинаций у Митяшина не бывало. Альберт вернулся, пробежал по ущелью в другую сторону и только там, но уже в диком далеке увидел баччу, который успел взбежать на гору и через несколько секунд должен был скрыться за нею. И новое ужасное осознание настигло тут Альберта. В эти доли секунды он понял все — догонять охломона бесполезно, мальчишка

быстроногий, а Альберт изнурен; если же его упустить, то риск становится огромным. Мальчики ислама — даже более преданные воины Аллаха, нежели менее горячие душою их отцы. Бачча доберется до ближайшего кишлака и поднимет людей. Смерть мальчика и девять трупов шурави, пусть один из которых уже труп, мгновенно взвесились. Митяшин замер, вскинул автомат, прицелился и успел выстрелить до того, как охломон добежит до противоположного склона горы и исчезнет с глаз долой. Выстрел глухо шпокнул через свежий глушитель, мальчишка неестественно взбрыкнул, выбросив в небо руки, и — исчез, словно его и не было. Альберта потянуло добраться дотуда и посмотреть, жив ли охломон, может быть, он только ранил его, но расстояние было порядочное и, поразмыслив минуты две, Митяшин вернулся в дувал, поднял своих шурави и к вечеру того же дня они благополучно возвратились в свое расположение. Была мысль пройти мимо того места, где упал охломон, но там они попадали бы в невыгодное, обозримое с многих сторон место, и Альберт так и не узнал, убил ли он несчастного баччу или только ранил. Мысль о том, что если и убил, то тем самым спас группу, не успокаивала Митяшина, воспоминание жгло хуже угля, больнее раны. Правда, там, под Кандагаром, еще не так страшно, потому что дни были горячее другого, чувства притупились. А вот когда перевели в Кабул, тут уж началось, особенно в первое время. Однажды утром Альберт проснулся оттого, что кто-то смотрел на него, спящего. Он взглянул на потолок и увидел, что в потолке пробоина, а сквозь эту пробоину смотрит на него Охломон. С того момента он и стал для него только Охломоном, с большой буквы. «Это ведь только сон, Арни, только сон»,— промолвил он тогда как заклинание, и лицо мальчика исчезло с потолка, а еще через секунду Альберт вскрикнул, проснулся и обнаружил, что еще никакое не утро, и что он спал, уткнувшись лицом в подушку — видимо, стал задыхаться, вот и приснилось черт знает что. В другой раз на стрельбах взорвавшаяся фомка выбросила такой причудливый дымный образ, что в нем Альберт отчетливо увидел искажившуюся мальчишескую фигуру с взметнувшимися в небо руками. Так и пошло — то приснится, то привидится, то померещится. Долго не мог спокойно слышать стрельбу через глушитель — тошнотный ком подступал к горлу. То начнет себя корить, что не сходил все же посмотреть тогда — убил или ранил, то начнет в душе саднить: эх, не надо было вообще стрелять в Охломона, кто знает — может, и обошлось бы. Но, посомневавшись, рано или поздно он приходил к жестокому выводу, что поступить иначе, не подстрелить Охломона, он не имел никакого права, как не имел права не вывести ребят с вражеской территории. Случись беда, и не глупый бачча, а кто-нибудь из них, родненьких спецназовцев, приходил бы к нему во сне и галлюцинациях. «Я не мог поступить иначе, Арни, и ты это прекрасно понимаешь». Но, на время успокоившись, он снова встречался во сне с Охломоном, снова любые две черные точки, поставленные рядом, напоминали ему глаза в пробоине дувала, и каждый хлопнувший через глушитель выстрел возбуждал в мозгу видение вскинутых в небо тонких мальчишеских рук.

### 12.

Водонапорный механизм наконец заработал. Через толстый шланг с изрядно потрепанным матерчатым покрытием рванулась в алюминиевые баки вода. Мальчишки, жуя галеты, стояли около БТРов в надежде на еще какой-нибудь бакшиш.

— Эй, баччата, хватит с вас, проваливайте! — прикрикнул на них Языков.

Они поняли, и некоторые насупились. Тут произошла неожиданность. Тот, который знал слово «ёкэлэмэнэ», самый по виду старший, откусил от галеты кусочек и тут же выплюнул его с гримасой отвращения, а оставшуюся галету отбросил в сторону. Ее, правда, тут же подобрал какой-то маленький оборвыш.

— Не понял,— обиженно сказал Митяшин.

Мальчишка шагнул вперед и поднес ко рту два пальца, словно держа в них сигарету:

— Эй, шурави шагал, дай сегрет!

— Ого! — возмутился Альберт.— Не мал еще?

Вся орава опасливо отошла на пару шагов назад, и лишь этот нахальный стоял



перед БТРами, гордо выпрямясь и нагло глядя в глаза шурави. В его чумазой физиономии выражалось все — ненависть, отчаяние, бесстрашие, решимость... и в то же время ужас. Жалко было смотреть на него. И жутковато. Он еще требовательнее повторил свою просьбу:

— Дай сегрет, ёкэлэмэнэ!

— Вот наглая рожа! — хмыкнул Языков.

Маленькие оборванцы отступили еще на шаг, глаза у всех были испуганные.

Тут Мамеддиев быстро и громко что-то закричал на них, размахивая руками. В свою очередь некоторые из ребят вскрикнули и пустились наутек. Остальные последовали их примеру. Лишь трое остались стоять перед БТРом. Тот, который знал «ёкэлэмэнэ», подмигнул двум другим и что-то сказал, явно вызывающее, потому что у обоих в глазах изобразился ужас, а один даже покачал головой и сказал: «Уй!» Мамеддиев еще раз прикрикнул на них. Они не отходили.

— Товарищ старший лейтенант, разрешите я им уха накрутиль,— попросил Мамеддиев.

— Отставить,— сказал Альберт, достал из кармана сигарету и протянул наглому бачче. Тот сплюнул, подошел, взял сигарету, прикурил и улыбнулся.

— Ташаккор. Спасиб.

— Давай вали, «спасиб»,— добродушно махнул рукой Митяшин.

Парни отошли прочь, по очереди затягиваясь дымом сигареты. Баки были полны водой, сержанты нырнули в свои люки и завели моторы. Митяшин жестами поблагодарил старика, сказал «ташаккор». Тронули. Вдруг в броню БТРа, прямо рядом с задницей Митяшина, ударился камень. Резко оглянувшись, Альберт успел увидеть улепетнувших за дувал баччей — того, наглого, который знал «ёкэлэмэнэ» и «спасиб», и другого, который так смахивал на Охломона.

— От бляха-муха! — удивился старлей.

— Ай нехорошо! — возмущался Мамеддиев.— Ай, какай собак! Такай маленький и уже такай собак!

Но видя, что старлей смеется, он тоже улыбнулся:

— Чито вы смеетесь, товарищ старший лейтенант?

— А что же мне, из автомата по ним, что ли? Молодец, бачча. Я сам в детстве был такой.

В детстве Альберт Митяшин и сам был такой.

### 13.

Когда вернулись к Мухамедке, там застали картину не самую приглядную — бойцы вповалку лежали на склоне холма, кто загорал, кто дрыхнул.

— Не спецназ, а гарем Султан-Мултана,— огорченно охарактеризовал картину Митяшин. Настроение его испортилось. К тому же, заглянув в один из стоявших на причале БТРов, он застукал младшего сержанта Сорокина за развратным деянием и строго приказал всем строиться. Бойцы с кислым видом стали становиться в строй. Альберт наорал, они задвигались быстрее. К выстроившимся наконец бойцам старший лейтенант Митяшин обратился с такой речью:

— Едрена матрена! Что я вижу перед собой? Бойцов прославленного на весь мир спецназа или стадо запаршивевших гурий? Как мы выполняем боевое задание? Скажете — хорошо? Я скажу — хрен вам, плохо! В аварию попали — раз, до света к месту доехать не успели — два, устроили тут сонное царство до первого эрэза — три. Мало того. Заглянул я в БТР... Младший сержант Сорокин, выйти из строя! Заглянул я в БТР, а там младший сержант Сорокин, полюбуйтесь на этого голубчика, занимается тем, что я строго-настрого запретил. Доложи своим боевым товарищам, чем ты занимался в БТРе.

— А чё такого-то, ну? — прогудел Сорокин.

— Отвечать, когда тебя спрашивает командир! Ты, младший сержант Сорокин, занимался в бронемашине непростительной глупостью и небрежностью — на сухом спирте ты кипятил тушенку. Я запрещал тебе разжигать... я запрещал не только тебе, но и всем разжигать внутри БТРов сухспирт?

— Так точно,— уныло отвечал Сорокин.

— Ну так вот, Сорокин,— подытожил Альберт.— За то, что ты нарушил мой категорический запрет, и объявляю тебе перед лицом твоих товарищей, что ты — чмо.

— Товарищ старший лейтенант, это неуставняк,— обиделся Сорокин, что его назвали чмо.

— А я тебе повторяю,— стоял на своем Альберт,— что ты — чмо, и пусть все это знают. А вот я тебе сейчас двину ласково в челюсть, и тогда уже будет тебе неуставняк, понял?

— Так точно, понял. Только называть солдата чмом это тоже не совсем уставняк,— нарывался на дальнейшую грубость Сорокин. В строю кое-кто хихикнул.

— Так я в третий раз повторю,— грозно зарычал Митяшин,— что ты, Сорокин, чмо и к тому же — козел вонючий. Дождался?

— Так точно,— угрюмо промычал Сорокин, но прения прекратил, по тону Митяшина сообразив, что, еще немного, и точно заработает себе в челюсть тяжелого старлейского кулака.

— Встать в строй,— приказал ему Митяшин.— Если еще раз доведется идти на боевые, тебя с собой не возьму. Лакомки мне не нужны. Пропесочиваю дальше. Почему, когда мы приехали, никто мне не доложил обстановку. Что, сынки, расслабились? Не рановато ли? Приказываю: после обеда те, кто идет в группах пасти караван, проверяют еще раз свою боеготовность. Остальные на двух БТРах поедут со мной и Исабаевым на проческу кишлаков. Еще раз: если, когда мы вернемся, снова я увижу курорт Гагру, то вы меня знаете. Разойтись! Сорокин, ко мне.

Сорокин с недовольным видом подошел опять к старлею.

— Ты в засаду идешь в группе Неулыбова?

— Так точно.

— Останешься здесь кашеварить с Гражданкиным и Божечко, будешь им дрова колоть.

— Ну това...— у Сорокина даже в горле перехватило.

— Разговорчики тут у меня! Или обратно скажешь: неуставняк? Начитался Полякова? Все, иди с глаз долой.

**14.**

После обеда, хорошенько перекурив, отправились на двух БТРах прочесывать кишлаки. Занятие это было почти пустое, напрасная трата боеприпасов. Один шанс из тысячи, что в каком-нибудь кишлаке наткнешься на духов. Но эта профилактическая операция входила в боевое задание спецназа, и следовало ее выполнять.

Солнце не по-декабрьски распеклось, до брони невозможно было дотронуться. Передний БТР сильно пылил, и следующий за ним, на котором ехал Альберт, шел в плотном облаке пыли. Когда подъехали к первому кишлаку, лица у всех со второго БТРа, кроме Рябинина, который на этот раз вместо Карпени сидел за рулем, покрылись словно бы белой пудрой, а у Карпени пшеничные усы сделались седыми. Остановившись, обстреляли кишлак из крупнокалиберных с башен БТРов. Затем построились цепью.

— Работаем по окнам, по полрожка. Вперед! — скомандовал старлей, и цепь, обстреливая кишлак из автоматов, двинулась вперед. Приблизившись, стрельнули пару раз гранатой из подствольника — крепкая стена дувала без малейшего для себя ущерба отразила первую гранату, вторая ухнула за дувалом, внутри. Подойдя к воротам, бросили туда еще две лимонки.

— Поэма пиротехнического экстаза,— сказал сержант Щукин.

Вбежали внутрь, рассыпались по лабиринту узеньких улочек, стреляя из автоматов, грохоча фомками. Кишлак был пуст. Побродив по нему и обстреляв все темные закоулки, все колодцы и собачьи будки, вернулись к бронемашинам. Исабаев прихватил откуда-то из кишлака медный кувшин с длинным изящным горлышком.

— Эй, Жылыкун, смотри, может, там дух засел? — смеясь, предостерег его Митяшин.

— Какой тебе там дух! Там у меня джинн сидит, вот что,— ответил Исабаев.

— А ты его фомочкой угости,— посоветовал тогда Альберт.





— Горлышко, видишь, какое узкое.

— Тогда из АКСа пугни его.

— Ты что! Вот еще я его буду пугать. Он мне служить будет, помогать.

— А звание какое ему определишь?

— Ему звание аллах определяет. Но, судя по кувшину, не больше прапорщика.

Поехали к другому кишлаку. На сей раз поменялись местами, чтобы всем досталось лечебной пыли и никому не было обидно. Тот, другой кишлак располагался неподалеку от предыдущего и состоял всего из одного дувала. Ему и внимания меньше уделили — подъехав, сразу побежали к воротам скомканной цепью, в ворота стрельнули из двух подствольников; ворвавшись внутрь, не очень-то тратили патроны.

— И тут никого,— с некоторой досадой сказал Карпеня.

— Так они тебя и ждали,— проворчал Альберт.

— Товарищ старший лейтенант,— позвал его младший сержант Патряков.— Я тут фомку в колодец бросил, а она не взорвалась.

— Не понял,— Альберт подошел к колодцу.— Кто это там наши фомки ловит? Ну-ка отойди в сторонку.

Он выдернул чеку и бросил лимонку в колодец. Сильным взрывом из нутра колодца выбросило целый столп воды и в этом столпе — какую-то полосатую желто-красную тряпку, завязанную узлом. На короткий миг Митяшину показалось, что это оторванная человеческая ступня, а узел — пятка.

— Тьфу ты, черт,— проворчал он, пнув тряпку носком кроссовки, когда тряпка приземлилась у его ног.

Следующий кишлак был за горой. Пока до него добрались, испытали все удовольствия, как на аттракционе «американские горы». Словно корабли в бурю, БТРы то вставали на дыбы, то ныряли носом вниз, высоко задирая зады. Хорошая все же машина — вездеход.

— Полдень. Сиеста. На фазенде полуденный сон. А в это время с окрестных гор уже спускаются племена диких и кровожадных спецназов,— завидев кишлак, пижонски продекламировал Щукин.

— Первая глава из романа писателя Щукина «Шурави, дай бакшиш»,— усмехнулся Альберт.

— Товарищ старший лейтенант, разрешите позабавиться. Я тут пару дымов прихватил. Разрешите разукрасить кишлечок.

— Артист,— ответил Митяшин разрешающим тоном, и Щукин стал вытаскивать из лифчика дымовые шашки.

Когда обстреляли и осмотрели этот кишлак, Щукин на несколько минут задержался в нем, и, покуда все остальные поднялись к машинам, он запалил там шашки и, выскочив, бегом догнал остальных. Забираясь на броню, Альберт с неудовольствием смотрел на то, как две толстые дымовые струи, синяя и кирпично-красная, из двух разных дувалов кишлачка стремились в небо. Он пожалел, что не запретил Щукину это баловство.

— Ну как пейзажик, товарищ старший лейтенант? — весело спросил тот, добравшись до БТРа.— Правда, красиво?

— Дать бы тебе по шее за такое «красиво»! — хмуро ответил Альберт.

— А чё такое-то? — недоуменно обиделся Щукин.

— А то, что тут люди когда-то жили, а ты над их жильем озоруешь, надругательство устраиваешь. Потому что городской.

— Так и вы же городской, товарищ старший лейтенант.

— Я городской, а все равно понимаю. Вот ты, Божечко, на Украине у себя, в селе, в хате живешь?

— В хате. У нас мазанка красивая, белая-белая, боже ж ты мой! А на окнах наличники голубые-голубые, як небушко.

— Тебе б понравилось, если какой-нибудь мазурик над твоей хатой такое издевательство учинил?

— Я б за такое ноги падлюке повырывав! — спокойно отвечал Божечко.

— Понял, Щука? — спросил старлей.

— Так то хата, а то — кишлачишка духовский,— отбивался Щукин.

— Воно для кого-то и кишлак — хата,— сказал Божечко.

— А ну вас, дайте лучше закурить,— Щукин обиженно уселся на броне и закурил протянутую ему Божечкой сигарету.

Поехали к следующему кишлаку. Этот был большой — целых пять дувалов, огромный сад, ручей такой серьезный, что надо прыжком перепрыгивать. Короче, не кишлак, а настоящая зеленка. Митяшин с заставой у Мухамедки связался, чтобы дали немного огня. Подъехав на триста метров к кишлаку, минут десять ждали, покуда с заставы пустили штук шесть мин — одна легла мимо, остальные точно в кишлаке. Потом, медленно приближаясь, всерьез обстреляли цель из башенных пулеметов. Спрыгнув с брони, выстроились широкой цепью, подошли к первому дувалу. Да, богатый некогда был этот кишлак. Стены дувалов высокие, ворота кованые. Три раза стреляли из подствольника, покуда пробили запертые ворота. И кто их запер?

— Кажись, можем и повстречаться,— сказал идущий рядом с Альбертом сержант Сергеенко.

— Не говори «гоп»,— проворчал Митяшин. Ему азартно хотелось «повстречаться», но вместе с тем тяжелые предчувствия говорили ему, что не надо бы в этот раз никаких встреч.

Вошли в первый дувал, отработали по целому рожку патронов. Но тут никого не оказалось. В одном из углов нашли следы стоянки — пустые банки из-под консервов, пустые пачки из-под югославского печенья. Но кто тут был, свои или духи, разве узнаешь?

— Аллах акбар,— сказал Митяшин.— Пошли дальше по гостям.

Другой дувал оказался изрядно разрушен минами. Пока Альберт с пятью бойцами пошел по нему, Исабаев с восемью оставшимися уже перебрался в другой дувал. Альберт угостил колодец фомкой, посмотрел на гору, нависающую над кишлаком, и в эту минуту оттуда, с горы, стали стрелять из пулемета. Пули засвистели над головой, запели, словно натянутые струны электропроводов, звенящих от приближения поезда.

— Понял,— сказал Альберт.— Отойдем в сторонку.

Он аккуратно примостился за отвалившимся от стены куском и, покуда залегшие сзади него Щукин, Карпеня и Сергеенко стреляли по горе короткими очередями, старлей присматривался, откуда именно их обстреливали. Но там, на горе, остыли. Стрельба прекратилась и с нашей стороны.

— Все целы? — обернулся Альберт к своим.

— Все, кажись,— ответил Щукин.

— Быстрыми перебежками вперед! — скомандовал старлей. Бойцы зашевелились, стали перебегать от одного мало-мальского укрытия к другому. На горе молчали. Альберт, а за ним и бойцы выбрались из кишлака к ручью. Здесь совсем почти негде было укрыться, но гора не давала огня. Справа появились бойцы Исабаева, так же ползком и перебежками. Сам Исабаев слегка отставал от остальных, и Альберт увидел, что Жылыкун утирает с лица кровь.

— Что с Исабаевым? — спросил Митяшин у первого подползшего бойца — веснушчатого младшего сержанта Кукичева.

— Ничего,— отвечал Кукичев.— Ерунда. Осколками камней щеку поцарапало.

— Остальные живы?

— Все целы, никого не задел, падла. Товарищ старший лейтенант, отчего он умолк, как вы думаете?

— Драпанул, скорее всего. Один он, скорее всего. Пострелял ради собственного удовольствия и — деру. Мы его теперь хрен догоним. Вы те дувалы все посмотрели?

— Все. Пусто.

— Так,— крикнул Альберт громко.— Приказываю всем возвращаться к машинам. Карпеня, Щукин, Рябинин, Божечко — за мной!

Они впятером поднялись на гору, скудно поросшую жесткой высохшей добела травой, заглянули за каждый камень и в одном месте нашли россыпь гильз от пулемета Калашникова. Забравшись на вершину этой невысокой горы, осмотрели все вокруг и никого не увидели.

— Ну, что будем делать? Пойдем дальше? — спросил Щукин.

— Хрен с ним,— слегка помедлив, сказал Альберт.— Он, небось, уже в Пешаваре.



Стали спускаться назад. И тут неприятнейшее чувство глядящего тебе в спину ствола заскрипело в сердце у старлея Митяшина. Но он выдержал и не оглянулся ни разу до самого ручья. А дойдя до воды, медленно опустился на колени, набрал пригоршню чистой и холодной влаги, медленно выпил. Тогда только обернулся, вскинул автомат и тремя одиночными выстрелами в трех местах продырявил эту шальную гору.

## 15.

Вернулись к Мухамедке без приключений, если не считать лисы, которую Альберт зорким глазом углядел в отдалении, приказал Рябинину остановить БТР и долго стрелял по лисице, покуда не понял, что упустил ее из виду. Эта промашка очень сильно разозлила Митяшина, и остаток магазина он, держа автомат одной рукою, истратил на лежащую у обочины дороги консервную банку. Ржавая железяка жалобно подскакивала, а Альберт бил ее влёт, превосходно попадал снова и тем успокаивался.

— Эй, Альберт! Поедем мы наконец или нет? — возмутился Жылыкун Исабаев. Из раскарябанной щеки его неуемно бежала кровь, и он раздражался. БТРы поехали дальше.

## 16.

Перед ужином Альберт разрешил всем расслабиться, поваляться на броне, подставив румяные от загара тела солнцу, поспать на холодной земле, то и дело переворачиваясь, чтобы согреть на солнце озябший бок. К вечеру ветерок усилился. Приближался закат, и очертания дальних гор стали четче, небо там сгустилось и обвело их по контуру синей лентой. В остывающем воздухе острее и приятнее запахло костром, жареной картошкой, заваривающимся в ведре чаем.

— Эй, шурави! Идите жрать, пожалуйста! — весело крикнул кашеваривший вместе с Божечко и Гражданкиным Сорокин. Бойцы ожили и потянулись в стаю к костру. Многих разморило, и они с неприязнью думали о том, что через несколько часов нужно будет ехать, тащиться в горы, там окапываться и сидеть потом трое суток в засаде, мерзнуть и глотать один сухпай.

Темнело быстро. Синяя лента над очертаниями гор уже сделалась фиолетовой, а над нею небо слоилось яркими, сочными красками — темно-синяя полоса, затем синяя, бирюзовая, голубая, зеленовато-голубая, светло-зеленая, лимонная, желтая, розовая, малиновая...

— Никогда не думал, что доведется увидеть картины Рериха живьем,— сказал Щукин, задержав у рта ложку картофеля.— Красота, братцы, будет что вспомнить.

— Если будет кому вспомнить,— проворчал лейтенант Козлов.

— Будет,— уверенно сказал Альберт.— Чтоб ни одна курва тут не пропала, поняли! Если кто погибнет, пусть лучше в Кабул не возвращается — зашибу гада. Или ранит кого, пусть пеняет на себя. Настоящий солдат это не тот, который геройски нарожон лезет и харю свою первой попавшейся пуле подставляет. Настоящий солдат это тот, который выполняет задание командования и при этом сохраняет в целости и сохранности свою жизнь. Свою жизнь, которая в условиях войны принадлежит не солдату, она вовсе не ему принадлежит. А принадлежит она военному ведомству, подобно автомату и прочему инвентарю. А ты, лейтенант Козлов, ведешь группу в засаду при полном пессимизме, мать твою!

— Да ладно тебе, Альберт, ну чего завелся. Я же так просто сказал,— хлопнул старлея по плечу Козлов.

— Товарищ старший лейтенант,— обратился к Альберту Божечко,— як вы думаете, когда мы отсюдова отчалим, царики с духами побратаются? Говорят, у них так бувает, що один брат у цinnerикив, а другий у духив.

— Черт их не знает,— пожал плечами Альберт,— я не гидрометцентр, чтоб прогнозы давать. Думаю, что и у них не так все просто. У нас же тоже в гражданскую войну один, бывало, брат за красных, а другой за белых, и друг друга лупят. Вообще говоря, без нас зеленым туговато будет, духи с них кожуру-то сни-

мут, а то привыкли за нашей спиной прятаться, гниды. Я честно скажу, мне духи больше по душе, чем зеленые.

— Нет, говорят, у зеленых летчики зверь самый настоящий, смелее наших, но и бьют их здорово из «стингеров»,— сказал Жылыкун Исабаев. Щека у него стала подсыхать, замазанная йодом, и вид у казаха снова был жизнерадостный.

— Летчики, може, и ничого, но сами царики, которые сухопутнии, от же ж самая нечистоплотная нация! Родную мать за гроши прирежуть.

— А ты откуда знаешь, Божечко?

— Та я сам не знаю, но разные хлопци знакомые кажуть про них богато всяких информаций. Один царик с другим поругается и зараз же с духами передоговорится и на своего недруга их наведет.

— Тут рассказывали, что из Шинданда на днях наши должны были идти в сопровождении колонн на Кандагар,— вмешался в разговор старший сержант Неулыбов.— Ну, короче, поначалу договаривались, чтоб только до полпути их сопровождать, и то наши ни в какую не хотели. Потом царики уломали наших довести колонну до Кандагара. Упрашивали-упрашивали — упросили. Наши там, конечно, матерились со страшной силой. Еще бы, все сворачивается, пора на Кушку курс брать, а туть лезь в самое пекло. Короче говоря, кончилось тем, что зеленые и дальше уломали наших в самый Кандагар провести транспорт. Небось, кому-нибудь в штабе захотелось лишний орденок прицепить, вот и отдали приказ лезть в Кандагар. Ну, хрен с ним, провели смотры, подготовились идти...

— А царики и разбежались,— перебил Неулыбова Митяшин.

— Точно. Слышали уже про такое?

— Была такая информация. Говорят, весь Шинданд со смеху покатывался. Все водители у зеленых врассыпную, некому вести транспорты.

— Небось, те водители теперь уже у духов плов кушают,— усмехнулся сержант Языков.

— Ну! Свои же царики своих же кандагарских цариков поддержать не хотят, вот ведь трусовьё! — возмутился Рябинин.

— Видать, сильны духи,— покачал головой Сорокин.

— Патамущта у духа — ислам, религий предков,— вставил свое слово Мамедднев.— А у Наджиба аллаха нету, совесть нету, людей потеряет совсем. Восточный человек долго совесть не иметь не может, долго не может без аллаха жить.

— Так чем кончилось там в Шинданте? Так и не лошли колонны? — спросил Исабаев.

— Говорят, теперь уговаривают наших и грузовики тоже вести. Но наши пока ни в какую. Мол, наша миссия — только сопровождение.

— Уломают,— махнул рукой Неулыбов.

— Может быть, хотя сейчас — едва ли. Ну ладно,— Альберт встал с корточек, стряхнул с коленей крошки.— Пора нам, граждане командосы, собираться в путь. Завтра, по разным неофициальным сведениям, ожидаются обильные караваны с дождем.

— Эх, хорошо бы дождичка,— мечтательно крякнул Козлов.— Караваны-то хрен с ними, а вот дождичка бы...

— Со снегом,— добавил Щукин.

— Будет вам и со снегом,— сказал Альберт.— Вот полезем через Саланг в январе, не только со снегом, но и с морозцем будет вам погодка, да еще ветерок ледяной подует. Уши и носы у всех с хрустальным звоном отвалятся.

— Чего это ты, Альберт, при полном пессимизме на вывод контингента собрался? — улыбнулся Исабаев.

— Ну! — гыгыкнул Козлов.

### 17.

Когда как следует стемнело, три БТРа, обсаженные идущими в засаду спецназовцами, отправились в духовскую зону. Четвертый БТР, получивший аварию и лишившийся одного колеса, остался у Мухамедки под присмотром Божечки, Гражданкина и Сорокина. Не прошло и трех минут с тех пор, как перестало доноситься жужжание удаляющихся моторов, а Сорокин уже разжигал внутри БТРа сухой спирт, чтобы





разогреть на нем тушенку, а главное, чтобы доказать себе и двум товарищам, что выволочки старлея для него чистый фук и ничего более, и никакое он не чмо, а свободный гражданин свободного спецназа.

— Ну ты же и дурак, Сорока! — сказал ему Божечко.

— А в лоб тебе? Не хочешь? Забыли, кто тут младший сержант? Я тут остался старший по званию.

— Фиг тебе,— отрезал Божечко.— Старлей сказал, что я остаюсь за старшего. По должности. Хоть я рядовой и хоть ты кто. Правильно старлей сказал, что ты чмо.

После этих слов в БТРе несколько минут была возня, отдаленно напоминающая драку. Сорокин и Божечко, насколько это возможно, катались внутри бронетранспортера и несильно мутузили друг друга по ребрам и щекам, покуда Сорокин не хрястнулся затылком о прицел пулемета и не взвыл от боли:

— Уй-й-э-ы-ы-ы-ы!

— Так тоби и надо, Сорока, понял! — сказал на это Божечко, но тут же и поинтересовался о размерах катастрофы: — Ну ты, это, сильно шпандарукнувси?

— Катись ты к черту, хохляндия! — был ответ.— Уй-у-у!

— О, гаврюха курская! Туда же еще, хохлом мени обзывает! Кровь е?

— Нету, кажись.

— Ну и нечого тады завывать. Пишлы лучше галэты жарить.

— А чё Серега там?

— Спыть вже.

Они весело посмотрели на Гражданкина, который мирно спал сзади на длинном сиденье, укутав ноги в спальный мешок. В темноте его почти не было видно, только слышно, как посапывает.

— Возьмем его за компанию?

— Нехай спыть, вин намаявси, чуть было трошки з бэтэра не сваливси.

Божечко и Сорокин вылезли из машины и отправились к костру. Начиналась полноправная афганская ночь.

### 18.

Знаете ли вы афганскую ночь? Это особенная ночь, она может быть даже заслуживает особенного исследования. Во всяком случае ночь где-нибудь на заставе в горах, на черте, разделяющей мир на свою территорию и духовскую, как, к примеру, возле горы Мухамед-Дага, или попросту, по-русски, Мухамедки.

Прежде всего, это ночь отнюдь не молчаливая, и многообразие звуков, ее наполняющих, может рассказать чуткому уху солдата очень о многом. Самый тихий и скромный из звуков — токот автомата с малой заставы. Он доносится из-за горы и потому приглушен. Он не так уж и част: лишь два-три, от силы четыре раза в час он токочет: то-то-то-то-то, то-то, то-то-то, будто там, внутри горы, кто-то прибивает что-то мелкими гвоздочками. Другое дело — стрельба с большой заставы. Оттуда из автомата, во-первых, чаще садят, и звук этот четкий, щелкающий, звучный: че-че-че-че-че! че-че-че-че! че! че! В молчаливой мудрости ночи эти автоматные очереди, словно спицы вонзаются в даль, в темноту. А допустим, постреляет кто-нибудь одиночными выстрелами с отдаленной горы, там звук совсем иной, отрывистый, отчаянный: пау! п-пау-пау! А вот с духовской зоны ворчливо отвечают: а!а!а!а!а!а!а! или: э!э!э!э!э!э!э! Словно какая-нибудь птица болотная в ночи мается. Разбудят ее, она долго не может улечься.

Но автоматы — это мелкие птички афганской ночи. Артиллерия, как и положено, поет значительно громче. На большой заставе она нескольких видов. Самая постоянная — пушка. Она долбит каждые пятнадцать минут, верная своему интернациональному долгу, и голос ее ударяет в самую грудь, но не пронзительно, а мягко, гулко, плоско, так что, если спишь, то от пушки не проснешься. А вот когда «град» работает, здесь просыпаешься непременно. Пение его нечеловеческое, невыносимое и навязчивое. Он грузен, и когда его ракеты достигают далекой цели, горы вокруг трясутся и стонут, и несколько минут потом не можешь вернуться ко сну, лежишь и слушаешь, как успокаивается эхо и утихает дрожь. А засыпая, подумаешь: «Фух, ну хана всем духам, скоро домой».

Лежа в темноте бронетранспортера, слушаешь все это множество звуков, то пугливых, то заносчивых, то скромно-приглушенных, то самолюбивых и вызывающих,

то громких, то трескучих, и внимая их многоголосью, засыпая, представляешь себе, будто ты лежишь внутри какого-нибудь мелкого камушка, катящегося по дну стремительного ручья, и клокочет тот камушек по всем ребрам и позвонкам длинного русла, катится и клацает, уносясь куда-то в неведомое...

Такова ночь под Кабулом, если не видеть ее, а только слышать. Но вот приснится что-нибудь невообразимое, проснешься и не можешь уснуть больше. Долго не можешь уснуть, начинаешь искать причину бессонницы и находишь ее в какой-нибудь мелкой нужде — скажем, приспичит вдруг курить до невозможности, кряхтишь и лезешь вон из спального мешка, долго спросонья не можешь открыть люк, потом выкарабкиваешься из бронированной пещеры, словно из тесной, сдавившей и трудно снимающейся одежды. Вылез, закурил и, отбросив спичку, оглядываешься по сторонам. И словно впервые удивляешься: до чего же она, ночь, живая и нетемная! Не ночь, а представление какое-то с фейерверками. Настоящая ночь как будто бы осталась там, в темноте бронемашины, а здесь — двигающаяся реальность, гигантский спектакль с причудливыми декорациями и осветительскими эффектами. Вон вдалеке затарахтел вертолет и, взлетая с какой-то неведомой тебе площадки, рассыпал по горизонту оранжево-белые вспышки-бусинки оборонительных тепловых ракет, улавливающих возможные «стингеры». Не успело утихнуть жужжание вертушки, как снова заработал «град», вколачивая в далекую цель гвозди своих ракет, и заморгала гора над заставой электрическими белками, понеслись вдаль огнехвостые лисицы. Заахал, заохал духовский горизонт, посыпались искры с раскаленного лезвия ислама. Долго не утихал гул, затем на минуту-другую ночь взяла тайм-аут, и снова понеслось — где-то сбоку чихнуло, зашипело вверх — и все вокруг вмиг осветилось белым фосфорическим сиянием: в небе медленным парашютистом повисла, не спеша падать, осветительная ракета. Как все от нее переменилось! Земля стала белой, отдаленные предметы бросили в невероятную даль длиннющие тени, окрестные горы, наоборот, сделались чернее черного, а две фигуры дежурящих бойцов, сидящие у костра, обрели какой-то причудливый, фантастический облик, будто это не Витька с Виталькой, а космические пришельцы, состоящие не из человеческой плоти, а какой-то неведомой материи — полугаза, полусвета, полужидкости. Да и сам ты себе кажешься в эту минуту не Серёгой Гражданкиным — Ленинград, проспект Елизарова, 29, квартира 3, а таким же пришельцем, только что вышедшим из межпланетного БТРа покурить на неизвестной планете, где так экзотично мелькают неизвестного назначения огни и что-то громко ахает, стукает и потрескивает во всех сторонах. И ты идешь к своим однопланетянам узнать, как у них дела и много ли удалось наловить интересного, летая над этой хаотически организованной планетой.

Но пока ты доходишь до них, фосфорическое сияние затухает, тает и наконец полностью рассеивается в новонаступившей темноте. И снова ты человек из Ленинграда, с планеты Земля, ноги твои ступают по мягкой и белой космической пыли, покрывающей эту враждебную тебе планету Афган из созвездия Пророка Магомета. А в небе над тобой уже новые явления. Вот стремительно пронеслись два пылающих хвоста на Кабул — все-таки умудрились где-то поставить «тойоты» и запустить эрэски. А вот новое чудо — на сей раз уже оттуда, из Кабула, а может быть дальше, вылезли на свет Божий одно за другим три светящихся солнца; неторопливо, будто три лифта, побрели они по небу вверх из-за горизонта, шаг за шагом ступая все выше и выше, медленно забрались на самый верх, под самый купол небесного свода, и уже оттуда, с грозной высоты, так же — с достоинством и важно — пошли вниз, к противоположному горизонту, в гости к суровым и мудрым моджахедам.

— Полетели бакшиши,— весело и весомо сказал про них Сорокин, ради любования ракетами оторвавшись от жарения галет, отчего с противня, политого шипящим маслом, запахло горелым.

— Это что — «земля-земля»? Баллистические? — подойдя к костру, спросил Гражданкин.

— Ну, кажись, они, родимые,— ответил Сорокин.

— Обратно Ахмад-шах будет ноту а ООН писать,— сказал Божечко.— Серег, будешь галэты йисты?

На большой заставе снова чихнула ракетница, вновь в небе повисла яркая лампочка, превращая все вокруг в сплошной контраст белого и черного. Видно, бойцов



на заставе что-то беспокоило, пулемет оттуда заработал деловито и долго, по всей вероятности изгваздал целую ленту патронов, покуда не замолчал. Трое у костра ненадолго встревожились.

— Пойти, что ль, посмотреть, может, душки полезли? — сказал Гражданкин.

— Та ни, чого им теперь лизти,— лениво ответил Божечко.— Може, кто з них и побаловавси, а так, щоб кака крупная вылазка, они теперь ни боже мой. Дождутся, пока мы не слиняемо.

Свет ракеты иссяк, вернулась тьма. На противне мирно шипели недавно брошенные в масло галеты — блюдо, заменявшее блинцы. Их за несколько часов до приготовления набрасывали в ведро с водой, они там набухали, пропитывались влагой и, испеченные затем в кипящем жире, по вкусу очень напоминали блинчики. Такие аккуратные, ноздреватые и прямоугольные. А если еще полить сгущенкой, то никак не отличишь — блин и блин. Подобным же образом солдатская смекалка научилась подделывать шашлык: после галет (а не наоборот, чтобы вкус лука не затесался в галеты) в кипящий жир бросают куски тушёнки, крошат лук и обжаривают до образования корочки — шашлык готов. Конечно, все равно чувствуется, что это тушёнка, но уже во всяком случае не та, которая была в консервной банке, а некая близкая родственница настоящего шашлыка.

Божечко обладал непревзойденным даром кулинара и умел, как это говорится в грубоватом солдатском лексиконе, сделать из дерьма конфетку.

— Витюх,— сладким голосом сказал Сорокин, переходя от галет к «шашлыку»,— как это у тебя так клево все получается? Ты бы мог, когда вернешься домой, кооператив открыть. На вывеске: «Блюда ограниченного контингента».

— Нет,— возразил Гражданкин,— лучше так: ресторан «Шурави».

— Не поймут.

— А внизу приписка на большом листе: «Национальные блюда, изобретенные воинами-интернационалистами в Афганистане».

— Ну,— согласился Сорокин.— Галеты — раз, шашлык — два, что еще?

— Помните, тогда хлопцы на боевых торт смастачили — хлиб, масло, халва, сгущенка. Можно такий торт в тим кооперативе подавать.

— И за каждое блюдо бешеные бабки драть. А чё, у кого башли есть, тот пойдет,— размечтался Сорокин.

— Скильки я, хлопцы, не думаю, одного не могу понять — що це така «интернационалисты». Националисты — понятно. Скажемо, украинские националисты, то есть, те, которые за Украину борются. Немецкие булы — которые против жидов за Германию. Русские — тоже понятно, за Россию. А що це за птиця интернационалист? У которого, что ли, никакой родины ни хрене немае? Так такого не може и буты. Взять хотя бы ж местных, що духив, що царикив, без разницы. Воны ж нас не клычуть интернационалистами, воны же нас клычуть шурави. Нехай у них в башке путаница и воны про нас думают, що у нас така и государства Шуравия, все едино же мы для них прийшлы с той стороны, которая для нас родина, как для них Афган. Серега, разобъясни мени, що це «интернационалист»?

— Хрена ты ко мне пристал? Я, что ли, это слово придумал? Ну, интернационалист — это который выполняет свой интернациональный долг, то есть, оказывает помощь народам, попавшим в беду.

— Та кто ж тут попав в беду? Царики? А духи что, не в беду попали? У них що, народ не мордуется? Та у них, може, еще больше горя, чем у царикив.

— Ты чё это, Витюха, не к духам ли собрался перейти? — спросил Сорокин.

— Та иди ты в баню, Сорока-белобока! — рассердился Божечко.— С тобой по-людски не покалякаешь, все равно, що з тою эрэской.

— Вообще говоря, ты прав,— сказал Гражданкин,— я и сам, хрен его знает, что это такое — интернационалист. Вроде, уже и никакой мировой революции нету, а мы все за нее воюем. То вьетнамцев косоглазых защищали, то теперь этого Наджибулу. А они все равно к нам рано или поздно задницей поворачиваются. У самих брюхо голое, а всё чего-то кому-то строим, плотины, Асуаны всякие, сюда тоже целыми вагонами барахла всякого передарили. Не знаю, может, у нас в ЦК сплошь интернационалисты заседают, а я лично себя никаким интернационалистом не считаю. Была б моя воля, я бы так приказал: сидеть вдоль границы и беречь свое благосостояние внутри страны, а остальные все плывите боком, я вас не тро-

гаю, но и вы меня не троньте. А то — подарки им! Да все равно Америка, если захочет, всю эту малазию с потрохами купит.

Снова все вокруг стало белым от вспыхнувшей в небе ракеты, вновь на большой заставе заработал пулемет, процеживая окрестность. Сорокин решил пойти послушать шлемофон и как раз вовремя — едва он уселся на БТРе и закурил, старлей вышел на связь, интересовался обстановкой, сказал, что уже возвращаются.

— Нормалек! — остался доволен Сорокин. Если бы Митяшин вышел на связь, когда все трое сидели у костра, не миновать еще одной взбучки. А так — все обошлось.

## 19.

Поездка прошла без каких-либо осложнений. Местность эта была хорошо разведана. Углубившись в духовскую зону на несколько километров, устроили в горах над обрывом первую засаду, там и окапываться особо не пришлось — в одном месте скалы создавали как бы лоджию, очень удобную для засады. Здесь оставили группу Неулыбова. Группу лейтенанта Козлова отвезли еще на несколько километров. Там пришлось тащиться высоко в гору, но место для засады было очень выгодное — развилка двух дорог, одна из которых исчезала в узком ущелье. Самый выгодный путь для того, чтобы проскользнуть каравану с оружием и наркотиками и остаться незамеченным ни с застав зеленых, ни с наших. Окапываться на этой горе пришлось дольше. Шепотом матерясь, бойцы долбили каменистую почву, проклиная «чертов Афган» с его духами и зелеными, вместе взятыми. Наконец, устроились и тут. Тщательно осмотрев все подходы и отступления, старлей остался более-менее доволен и, пожелав бойцам доброй охоты, оставил их на трое суток в засаде.

На Мухамедку на трех БТРах возвращались семеро — Митяшин, Исабаев, Щукин, Сергеенко, Карпеня, Рябинин и Петряков. В случае удачной охоты они должны были прийти на помощь к той засаде, где будет забит караван.

Альберт ехал на третьем, замыкающем БТРе. Машины неслись в темноте с потушенными фарами, но небо было относительно светлое, и никаких аварий тут не предвиделось. Полпути ехали и туда, и обратно по глубокому руслу реки; река эта хлипким ручейком бежала по самому дну русла, сухо жила в нем, как душа старого-престарого человека в обветшалом теле. Спасибо этому руслу — БТРы с головой укрывались в нем, и можно было не беспокоиться, что кто-то увидит их по крайней мере с расстояния не ближе километра. Даже под двумя шаткими мостами, перекинутыми через русло, БТРы спокойно проходили, не касаясь башнями, лишь сидящим на броне приходилось малость нагибаться, чтоб не втемяшиться головой в сухую древесину.

Там, где река убегала дальше, а нужно было сворачивать вправо к Мухамедке и, следовательно, покидать безопасное русло, начинался самый неприятный отрезок пути. Здесь равнина распластывалась довольно просторно и бетонка чуть ли не сверкала, так хорошо она осматривалась со всех сторон. Остовы двух бронетранспортеров и искореженный танк маячили тут, словно дорожные знаки: «Внимание! Зона удобная для обстрела». Здесь проступал условный пунктир условной линии условного фронта. Едва вырулили на бентонку и помчались по ней, повернувшись спинами к духам, Альберта, как и сегодня днем, когда спускались с горы, обуяло неприятнейшее чувство, будто кто-то направил на его спину дуло автомата. Это чувство никогда раньше так остро не охватывало его. Случалось иногда, но лишь вскользь, невзначай, так что душа и не придавала особенного значения, а тут прямо-таки напасть какая-то. Он несколько раз, покуда мчались по бетонке, оглядывался назад, хотя что он мог увидеть там? Архангела Азраила? Черное пламя судьбы? Ничего такого — сзади шаталось уносящееся назад пространство равнины, тряслась бетонка, а вдалеке подразумевались силуэты гор, изредка освещаемые взрывами.

— Все нормально, Арни, все о'кей,— шептал он себе и Шварценеггеру.— Ребята отлично устроились, будет караван — будет добыча. Ты же сам знаешь, пареньки у меня славные, если что, не заржавеют. Только какая-то сволочь мне все в спину зенки пялит, и бетонка, падла, сверкает, как голый зад в темноте.

Так он разговаривал с собой и Арнольдом, и бетонка все тянулась и тянулась



нескончаемо, уносясь под колесами БТРов назад и оттуда тысячами глаз глядя в спину старлея Митяшина.

Наконец, показалась Мухамедка, окрестности которой далеко во все стороны осветила повисшая в небе ракета, словно лампа дневного освещения, горящая в подвале. Не успела потухнуть одна, как уже другая взвилась вслед за нею, будто соревнуясь в своей светоносности.

— Что они там? Новый год что ли встречают? — сердито проворчал Альберт и приказал головному БТРу снизить на всякий случай скорость. Остаток пути по бетонке не ехали, а плелись. Когда еще одна ракета шуркнула в небо и, рассыпавшись красными искрами, ярко загорелась, Сергеенко, сидящий на броне рядом с Альбертом, произнес вслух то, о чем Альберт только успел подумать:

— Видать, пара-другая душков забрела, вон прожектор с заставы так и сычит, и ракетницу одну за одной пузыряют.

В ответ на его слова застава бросила в темноту несколько отрывочных фраз из пулемета.

— Звук приятный и аккуратный,— сказал Альберт,— бьют не по прицелу, а по подозрению.

Передний БТР повернул с бетонки на живую дорогу, закачался на колдобинах. За ним и два других, миновав опасный отрезок пути, поплыли по валким колеям, уходя под надежную защиту пророка Мухаммеда — горы, названной его именем.

## 20.

И костер, и раненый БТР возле него, и весь этот крохотный плацдарм между двух гор и двух застав встретили вернувшихся спецназовцев будто малый отголосок родины России. Когда они вернутся в Кабул, там точно таким же, но большим отголоском встретят их пропахшие ими, прокуренные, пропетые под гитару модули. А если, даст Бог, в январе или в феврале перелезут они через суровый Саланг и перейдут границу планеты Афган, там будет встречать их Советский Союз, Средняя Азия, почти родина. А уже там — встречай, Россия... Но пока об этом еще рано думать и приходится довольствоваться точкой костра в темноте, силуэтом бронетранспортера и тремя пацанами в кроссовках, альпинистских комбинезонах и надетых поверх них бушлатах — смешным и милым хохлом Божечкой, Сорокиным, который чмо, и Гражданкиным, самым ненадежным из всех. А они, до чего ж молодцы! — нажарили галет, превратили в шашлык тушенку, чай горячий, свежезаваренный готов, садитесь полуночничать, гости дорогие.

— Без пяти три, самое время для завтрака,— бодро потирая руки, присаживались к костру, таскали из большой миски еще не остывшие галеты, макали их в сгущенку и с удовольствием лопали, смачно облизывали пальцы, отправив в рот куски «шашлыка» с вкусно обжаренным луком, обжигаясь хватали губами горячий чай, дули, весело матюкались, радостно вдыхали в себя первые ароматные сигаретные затяжки. На сегодня война окончена, завтра можно будет спать до полудня, а сейчас — ночь, и веселое возбуждение подмывает к разговорам.

— Ну как там устроились? Хорошо?

— Нормально.

— Упаковали ребятишек так, что никакой зоркий сокол не увидит.

— Завтра поедем к духам, попросим, чтоб пару караванчиков снарядили.

— Ну, много не надо, верблюдов сорок, да?

— Неплохо бы. Оружия, соответственно, боеприпасов, килограммов с десяток гашиша и самих душков человек пятнадцать.

— Як вы думаете, товарищ старший лейтенант, будет караван чи ни?

— Спроси лучше у аллаха, что ты у меня спрашиваешь.

— Дяденька аллах! Божечко просил узнать, будет завтра караван для хлопцев чи ни?

— Що ты балясничаешь, Сорока! Откуда мени знаты, може у командира какие сведения е.

Общий хохот.

— Ну ты даешь, Божечко! Что я, с духами на связь выходил, что ли? «Аллах

акбар, душенции, пришлите завтра пяток верблюдов и своих душков, ребята им бакшиши приготовили».

Божечко смеется вместе со всеми.

— Та ну вас! Йишьте лучше, доедайте, щоб ничого не зосталось.

— Спасибо, повар, накормил.

— Кажись, угомонились на заставе, перестали ракетницами небо щекотать.

— Видали, какие три тети к духам в отпуск полетели?

— Какие тети? А, видали. Класс! Вот уж погреют им косточки!

— Да ну! Дурное дело нехитрое — нажал на спуск и полетело, а куда полетело, на кого легло, ты и не знаешь. Разве это война?

— Это точно. Даже здесь, с заставы, ребята дубасят по ним, и то видят, что делают. Я сегодня, когда ходил к ним, смотрел в перископ, как они «градом» работали. Смотрю, едут два грузовика у них там, у душков, потом — фыры! фыры! — взрывами все накрыло, ни черта не видать. Только дым рассеялся — от тех грузовиков одни щепки еле виднеются.

— А чё они ездят там? Не знают что ли, что их накроют медным тазом?

— А мы что ездим? И нас могут накрыть.

— Да ну!

— Вот тебе и «да ну!» Спирт больше не жег в бэтэре?

— Не жег.

— Божечко, Сорокин не баловался больше, младенец наш?

— Ни, не баловавси.

— Ну ладно, снимаю с тебя полвзыскания. Отныне ты уже не чмо, а только чмошник.

— Неуставняк, товарищ старший лейтенант.

— Наряд вне очереди. Завтра гирю мою из БТРа вытащишь и будешь моим гиреносцем.

— Ладно.

— Товарищ старший лейтенант, расскажите, как вас сюда готовили.

— Как я зачет, что ли, сдавал? Да ну, рассказывал миллион раз. Тут вот ребята-джелалабадцы смешную историю на днях рассказали. Про обезьяну. Не слышали.

— Я, кажись, что-то такое слышал.

— Расскажите, товарищ старший лейтенант.

— Смешная история. Там же у них, если кто бывал, почти что уже джунгли начинаются, как в Индии. Собственно, и Пакистан весь, говорят, как Индия, не такой, как наш Афган. И у них там, в Джелалабаде, в иных местах можно обезьян даже поймать. И вот одна генеральская жёнка своего генерала запросила: страсть, мол, как хочу живую обезьяну у себя в московской квартире иметь. Ты, мол, туда и так бестолку в свой Афган чуть ли не каждый месяц болтаешься, прикажи своим там солдатам, чтоб поймали для меня макаку. Он сначала отшучивался — хи-хи, ха-ха. А она — ни в какую, вынь да положь мне макаку. Он уже всерьез говорит, что не станет такие идиотские приказы отдавать, а она — в истерику, у нее головные боли, переходящие во временную потерю всех чувств. Прямо как старик со старухой из сказки про золотую рыбку. Иди и без обезьяны не возвращайся. Что делать? Приехал он сюда. Так, мол, и так, стал врать, что ему приказано в Главпуре для каких-то очень важных экспериментов раздобыть джелалабадскую обезьяну. Мол, от этих экспериментов зависит что-то, чуть ли не исход всей афганской кампании. Разошелся, врет непропалую, «под трибунал!» — кричит. Приказ есть приказ, тем более генерала. Отрядили группу спецназовцев, пять человек, и велели им без обезьяны лучше не возвращаться — иначе, мол, измена родине, трибунал и все такое. А им что — шурави сказал: «есть», взял под козырек и почапал. Походили, походили по окрестностям, наконец, повезло, увидели вдалеке эту самую обезьяну, стали ее преследовать. А она, умная сволочь, и смекнула, что по ее душу спецназ вышел. Они за ней, а она от них, они ходу, и она ходу. Шестые сутки, как ребятушки из расположения вышли, а о возвращении и говорить не приходится. А тут их к тому же духи засекли и пошли за ними. Ходят и ни хрена в толк взять не могут, что это шурави кругами ходят. Так они еще сутки вокруг Джелалабада





гуляли. Дальше еще смешнее. Другая группа наших спецназовцев засекла, что отряд духов движется в непонятном направлении и стала этих духов пасти. И вот представьте себе картину Шишкина: бежит по горам глупая, вернее, наоборот, умная та обезьяна, за ней пятеро голодных уже, как черти, шурави, за ними человек десять духов, а за духами еще десяток наших. И все это приятное времяпровождение происходит по одному только взбалмошному капризу избалованной московской бабенки. А надо сказать еще, я забыл, что генерал этот тудацкий был женат на молоденькой, лет на пятнадцать моложе себя. И она, когда истерики ему закатывала, все стращала: «Или я, или обезьяна! То есть, или ты мне — обезьяну, или ты сам — старая обезьяна, и я найду себе кого-нибудь помоложе. У нас генералитет обширный, выбор большой». И он очень пугался таких угроз. Это вам на будущее — если кто из вас станет генералом, не женитесь на молоденьких, а то они тогда быстро курвятся.

Так вот, на седьмые сутки этих обезьяньих приключений та наша группа, которая всю эту карусель замыкала, вошла в непосредственный контакт с отрядом духов и, при трех раненых с нашей стороны, шестерых воинов аллаха отправила на тот свет, а четверых повела веселым караваном в Джелалабад. Обезьяна, в отличие от духов, оказалась более стойкой и, поболтавшись на этой территории, смекнув, что избавиться от преследователей ей не светит, сиганула за кордон, в Пакистан. Хлопцы, однако, попались настырные, такие же, как мы с вами, и обезьяне сказали: «Врешь, сука, не уйдешь!» Без виз, без паспортов, посетили соседнее дружественное государство и там все-таки на девятые сутки бедную макаку догнали. Но успели, как говорится, к последней исповеди, потому что несчастная животная на их руках отдала Богу душу. Оказалось, что обезьяна эта старая-престарая, драная, лысая, короче, черт-те что, а не экземпляр. Бойцы поначалу приуныли, но идти и искать новую обезьяну, когда у них ни крошки сухпая уже не осталось, им было не в дугу, и командир им сказал так: «Фигня, хлопцы, берите эту старую дуру и несем ее в Джелалабад. Скажем, что пока несли, была живая, а как принесли, тут и сдохла. На худой конец заставят еще раз идти. А то еще лучше — других пошлют».

Через пару-трое суток, миновав опять же таможенный досмотр, командосы вернулись в свое расположение. Как приказал старлей, так и сделали. Сказали, что пока несли лысую куклу, была живехонька, а в самом Джелалабаде, как увидела, сколько там всякой смертоносной техники понапихано, так и каюкнулась. Подполковник ихнего спецназа на них орет: «Паразиты! Неучи! Сволочь желтушная! Что я генералу скажу! Да меня под трибунал! Эту гамадрилу в Москву для важных экспериментов требуют! Сам Язов постоянно на проводе!» А старлей очень неглупый мужик попался, уважаю, отвечает подполковнику: «Откуда нам, товарищ подполковник, знать, какие им там эксперименты нужны. Может быть, им вытяжка какая-нибудь из это лысой дряни нужна, да и все. Может, им она вовсе не нужна живая. А мандрила эта хоть и воняет уже, мы ее укольчиками всякими обколем, она временно разлагаться перестанет. Вы ее в ящик посадите дохлую, а генералу скажите, что мол, когда в ящик сажали, лысая эта сволочь еще живая была, а тут уж ничего не поделать, люди не виноваты, что она ящиков не выносит».

Подполковник аж посинел весь, как орел после этого. Но, однако, призадумался и решил сделать так, как советовал старлей. Жалко вот, я забыл, как того старлея фамилия. Не то Коновалов, не то Копылов, как-то так. Итак, дохлую макаку поместили в ящик, подполковник, чуть ли не перекрестившись, сказал: «С Богом!», и понесли дохлое животное к генералу. Приносят ящик. «Товарищ генерал, ваше задание выполнено, обезьяна доставлена». Генерал от радости чуть не до потолка скачет — спасен, жена не уйдет к другому генералу! «Давайте,— говорит,— ее, голубушку, скорее сюда». Открывают ящик, и тут у генерала чуть кондратий не случился. Лежит там в ящике облезлое, лысое, неприглядное существо, к тому же без явных признаков жизни. Что дальше было, трудно себе представить. «Это что,— кричит генерал,— консервы?!» И матом садит так, как никакой «град» не работает. Потом хватается за сердце и кричит: «Валидол, сволочи! Валидол!» Его отхаживают и, когда он приходит в себя, вежливо объясняют, что обезьяна была очень даже живая, но только, пока в ящике ее несли, ей по старости лет стало плоховато, а валидола поднести было некому, вот она и того. Генерал ящик осмотрел и нашел

причину смерти. «Убийцы,— говорит,— вы. Головорезы проклятые. Что же вы, чертова рота, обезьяну в ящик усадили, а дырок для воздуха в ящике не провертели?» И начинает придумывать всякие меры наказания, вплоть до отдания под трибунал всего джелалабадского спецназа. Но тогда подполковник осмеливается сказать и советует генералу вернуть животное в ящик, упаковать и отправить самолетом в Москву. С надписью: «Не кантовать. Живой груз». Генерал опять ногами топочет, только уже тише, потому что у него сердечные боли не утихают. «Я,— говорит,— не могу любимое существо подвергать гнусному обману. Ступайте».

Альберт замолчал, долго прикуривал, оглядывая и смеющиеся, и одновременно замершие в ожидании развязки истории лица бойцов. Он пожалел, что развязки никакой не было, что на том, как генералу принесли дохлую обезьяну, этот анекдот и заканчивался, вернее, окончание его известно было одному генералу, если вообще вся эта история не была вымыслом.

— Чем кончилось-то? — не выдержал наконец Сорокин.

— А ничем оно и не кончилось,— сознался Митяшин, но тут же не выдержал и присочинил: — Говорят, что кто-то видел, как отправляли этот ящик с надписью «Живой груз» на самолет. Будто даже и дырки в ящике были проверчены. Но кто знает, может быть, какая другая группа выловила все-таки хорошую обезьяну и генеральская дуреха получила полное моральное удовлетворение. А может, и дохлую ей отправили. Представляю, какая у нее была рожа! Вот бы хоть одним глазком посмотреть.

— Ну и загнули вы, товарищ старший лейтенант! — сорвалось у Сорокина. Все-таки очень безуважительный по отношению к командирам был этот младший сержант. Но в бою на него можно было положиться.

— Вот чмошник! Не верит! — рассердился Альберт.

— А что, вполне реальная история, хоть и анекдотическая,— защитил его честь Щукин.

— Ну,— добавил Рябинин,— мало ли таких баек ходит. Про тех же обезьян. Как та обезьяна одна была у старика в Джелалабаде надрессирована на женщин без паранджей.

— Ну и чё?

— А, я знаю.

— И я.

— Ее так обучили, чтоб, как увидит бабу без паранджи, сразу прыгала и в волосы ей вцеплялась. У них же тут по закону, то есть по корану, строго запрещается бабам с открытым забралом ходить. А тот старик, видно, был религиозный фанатик, вот и надрессировал свою мартышку с таким курсом. А как раз тогда приехал выступать в Джелалабад Валерик. А у него же патлы, и вообще он на бабу похож.

— Ну, говорят, он — педросо.

— Так не говорят, а наверняка! Чего ж ему так хочется на женский пол смахивать. На все сто — педрила. Так вот, та мартышка, как его увидела, как вцепилась ему в космы и давай драть!

— Ну это уж точно сочиняют!

— Почему?

— Да ну! Этот педро и в Джелалабаде-то не был.

— Был!

— Этот, Розенбаум был. Майор Бородинцев его даже лично встречал. Говорит, его на носилках из самолета в Кабуле вытаскивали, такой пьяный был.

— Зря так про Розенбаума. Он песни про Афган написал — «Черный тюльпан» и «Караван». А раньше он блатные песни писал. Кайф. Там даже с матом.

— Ну и что хорошего, что с матом? — сказал Альберт.— Одно дело — в жизни. В жизни без мата нельзя. Особенно, когда так и просится ругнуться.

— Для придания эмоциональной окраски,— подсказал Щукин.

— Во-во, при эмоциях. А песня, она и есть песня. Я вот не люблю блатные песни. Одессу всю эту терпеть не могу.

— Ну это кому как,— опять лез на рожон Сорокин.— А у меня дома штук семь кассет записано.





— Потому что ты чмошник.

— Вовсе не поэтому. Я зато неуставных взаимоотношений не допускаю.

— Ну вот сиди и не допускай.

— А я очень люблю неуставные взаимоотношения. Особенно когда с Лидусиком в модуле уединяюсь,— решил резко сменить тему Сергеенко. Его затяжной роман с Лидочкой из военторга, которую он, ласково сюсюкая, называл Лидусиком, был известен всем, и Сергеенко прилагал максимум усилий, чтобы эта известность не утихала. Лидусик была смазливенькая, в отличие от многих других одиноких и отчаянных женщин, населяющих Афганскую Шуравию. Обычно бойцы не спешили освещать события на своем любовном фронте, особенно сержанты, которым уж точно всегда обламывался самый нелакомый кусок. Но Сергеенко был парень видный, и хоть и сержант, а выторговал себе в военторге подружку, которой можно было гордиться и выставлять свою дружбу с ней напоказ.

Разговор стремительно перетек в другое русло. Уже смеялись над Петряковым, которому удалось привлечь к себе повариху Иру, страшненькую и кривоногенькую, вспомнили анекдот про бабу Ягу, как она зачастила на своем помеле в Афган летать. Ее спрашивают: «Ты чего это, баба Яга, на старости лет умом тронулась?» А она отвечает: «Это я тут — баба Яга, а в Афгане я — Василиса Прекрасная».

Альберт не уважал бесед о женщинах, считал, что это чисто бабьи штучки — о мужиках сплетничать. Не потому, что у Альберта за все время его странствий по восточной стороне было лишь одно случайное приключение, когда он летал по одному делу из Кандагара в Газни и там приглянулся хорошенькой разносчице в столовке. Она сама пришла к нему в модуль, где он ночевал, и как на грех трое других бойцов, обитателей того модуля, ставшего для Альберта гостиницей, отсутствовали по причине выхода на боевые. Об этой единственной за всю его, Альбертову, войну любовной ночи он ни разу никому не сболтнул, храня глубоко в сердце все неловкости, неумелости и волнения, наполнившие собою ту чудесную ночь. Упавший с тумбочки и вдребезги разбившийся стакан — вот единственное, что осталось в памяти как некая реальность, а все остальное размазывалось, рассыпалось на тысячи запахов, прикосновений, движений и полуснов. И как можно об этом рассказывать?

Он попытался перевести разговор снова в какое-нибудь менее теплое и грязноватое русло, но бойцам нужно было выпустить пар из этого именно клапана, заговорили о новенькой парикмахерше, о половом героизме майора Баталова, о том, как двое прапорщиков-интендантов купили себе хорошенькую афганочку, внучку нищего старика, у которого всю семью, кроме этой куколки, вырезали духи. Они держали ее сначала на своем складе, потом на одной крошечной заставе неподалеку от Кабула, а когда их обоих — одного по ранению, другого по болезни — вернули в Союз, афганочка ни под каким соусом не соглашалась признать власть других мужчин, сбежала с заставы, пришла в Кабул и потребовала, чтоб ей вернули ее мужей. Дело стали расследовать, прапоров тех нашли, притащили за шкирку в Кабул и — под трибунал.

— Представляю, каково им было,— сказал Карпеня,— они же и забыли про Афган, а их обратно сюда — вас тут ваша жёнка стребует. У ихних настоящих жёнок небось челюсти так и щелкнули.

— Еще одна телеграммочка из Кабульска полетела,— откомментировал Гражданкин пронесшийся по небу огненный шарик.

Ни с того, ни с сего скабрезная тема вдруг сама собой уступила место другой, когда Петряков вздохнул и сказал:

— Эх, хорошо бы сейчас у озера зорьку встречать. У нас, братцы, под Люберцами такие карьеры песчаные, озера целые. Сосны, воздух перед рассветом пахнет всякой зеленью, влагой. Не то, что здесь — пудра какая-то.

— Подумаешь, у вас под Люберцами! — хмыкнул Рябинин.— Вот у нас под Иркутском — его высокоблагородие Байкал Байкалыч. Это тебе не песчаный карьер. Летом забуришься подальше, где не ходит нога туриста, и ловишь рыбку. Медведь мимо пройдет, носом подвигает, поздоровается и дальше в тайгу путь двинет.

— А на Иссык-куле никто из вас не бывал? — вмешался Исабаев.— Красивее места нет на земле!

И — пошло-поехало: «А у нас на Урале!», «А у нас в Костроме!», «А у нас в Гаврюхине!», «А у нас на Украине!»... Сначала изливались в восторгах, вспоминая родные, милые места, в которые с детства вросли всей своею жизнью, потом, отведя душеньку, стали вспоминать, что где есть смешное.

— У нас, когда к Костроме подплываешь,— сказал Сергеенко, прежде всего памятник Ленину в глаза бросается. Всегда с протянутой рукой. Скульптор чудило был — руку малость переборщил, шибко длинную отмахал. Если Ильич ее опустит, она ему ниже колена будет. Не рука, а танковое дуло.

— А у нас в Свердловске,— продолжил Щукин,— Свердлову очень смешной памятник — будто он крепко под мухой и сейчас блевать будет. Якобы он на митинге выступает. А со стороны — точно, этакий козлетон бухой.

— Он что, родился у вас в Свердловске?

— Не в Свердловске, а в Екатеринбурге, колхозник! Раньше никакого Свердловска не было, а был Екатеринбург. В честь Свердлова его переименовали потому, что этот выродок приказал царскую семью расстрелять по всем ритуальным законам. Расстреляли их в доме, который до революции принадлежал миллионеру Ипатьеву. Он так и назывался Ипатьевским домом. Я туда забирался, в этот подвал, где их расстреливали. Потом Ельцин приказал этот дом уничтожить.

— Зачем?

— Там всякие надписи были, каббалистические знаки. Разные собрания стали собираться в память о царе Николае. Ельцину надо было перед Москвой выслужиться, вот он и уничтожил памятник революционной славы.

— А я думал, Ельцин — наш мужик,— сказал Альберт.

— Подождите, он еще себя покажет,— ответил Щукин.— Еще Свердловск в Ельцу переименуют.

— Да,— сказал Жылыкун,— шли мы к коммунизму, но пока что дальше Афгана не уехали.

— А ведь ты, Жылыкун, среди нас один партейный,— съязвил Митяшин. Исабаеву стало совестно, будто это он вел всех в коммунизм, а привел в Афган, и он сказал:

— Эй, шурави, пять часов уже, мы спать думаем или нет?

— Да, давайте расползаться. отбой,— согласился Альберт.

— Говорят, новый термин изобрели,— поднимаясь, сказал Гражданкин,— про такую войну, как у нас тут, в Афгане. Ползучая война. Не слыхали, нет?

— Не слыхали.

— Вот мы и поползем к своим бэтрикам на боковую.

— Точно.

— Витюха, спасибо за галеты и шашлык!

— Будь ласка.

## 21.

Покуда все, кто оставался у Мухамедки, залезали в теплые БТРы, Альберт решил еще пройтись по окрестностям. При нем был автомат и четыре запасных магазина в лифчике, он спустился вниз к подножию горы, к разбитому дувалу, шел и вспоминал Оренбург. Разговоры о России растравили его душу, и родной город так томительно воскрес в ней. Альберт брел по его улицам, заглядывал в лица красивых девушек, ведь в Оренбурге они самые красивые в мире, дул ветер, знаменитый оренбургский ветер, бродяга-пугачевец. Смешно сказать, вспоминалась чебуречная, в которую Альберт любил захаживать — там хорошо готовили чебуреки. Иногда с приятелями и пузыревичем, которого держали под столом и там давали ему излить свою душу в стаканы. Вспомнилась и домашняя настойка, которую делал отец. Он называл ее «оренбургская матрадура». Когда Альберт учился в восьмом классе, он прочел «Мертвые души» и обнаружил, что это Ноздрев в одном месте, разговаривая с Чичиковым, называет шампанское, которое он пил, «клико матрадура», то есть двойное клико. И тогда Альберт заметил, что отец его вообще чем-то сильно смахивает на Ноздрева, такой же смешной и взбалмошный, не знаешь, чего





от него ожидать. По окончании восьмого класса Альберт был допущен к первой пробе отцовой настойки. «Ну-с, пора тебе попробовать моей матрадуры»,— сказал отец торжественно, и это было смешно, потому что Альберт давным-давно уже знал, где она прячется, и частенько прикладывался. Бывало, отопьет глоток, почувствует, как разливается в груди хмельное тепло, а потом с тревогой приглядывается — заметно ли в бутыли, что отпито? Хороша была «матрадура»! На душе от нее становилось по-ноздревски лихо и беспардонно, словно отец знал способ примешивать к вину во время его приготовления частичку своего характера. А что стоило само имя Альберта — «Альберт»? Ну какому еще отцу придет в голову такая бредовая идея назвать сына Альбертом? Да еще и Альбертом Иванычем! Бабушка даже не могла правильно произносить это слово и говорила: «Альберк», а то и вовсе «Амберк»; в школе именовали «Альбертиной», а в старших классах «Эйнштейном». Однажды в какой-то компании его представили и какая-то девица спросила: «Камю?», а он ответил: «Наполеон», так и не поняв, почему она вспомнила про французский коньяк. Лишь потом, когда попалась в руки книжка Альбера Камю.

Амберк! Милая бабушка, сколько таких смешных слов она говорила: вместо «лист» — «лис», вместо «рецепт» — «рецеп», вместо «театр» — «киятр». Про отца говорила: «ох и бо́лмут, ох и бо́лмут же ты, Иван!». «А чья же утробушка-то меня породила?» — откликался на это отец. «Родить родила, а ума не привила»,— сокрушалась старушка. И в игры отец тоже играл чисто по-ноздревски. Бывало, сядет с кем-нибудь в шахматы, ходы делает — песни напевает, прибауточки всякие прямо на ходу выдумывает, а как видит, что ему мат грозит неминуемый, тут же вскочит, фигуры все смешает и кричит: «Ничья! Ничья! Вижу, что ничья. А как жаль, ведь близка была моя победа!» Соперник возмущается, мол, какая еще ничья, чистый проигрыш, а отец тогда предлагает восстановить фигуры и продолжить, но сопернику уже неохота, тем более что отец начинает его щекотать и усаживать за стол тяпнуть по стеканчику «матрадуры»...

Вдруг Альберта выплеснуло из воспоминаний о доме, как воду из стакана — за дувалом он увидел фигуру человека, которая целилась в него из автомата. Альберт резко отпрыгнул в сторону, натренированно перекувырнулся колесом по земле и, замерев на одном колене, три раза выстрелил по врагу. Пули точно поразили цель, и тут только Альберт увидел, что это вовсе не человек, а ржавая раскоряченная железяка, обломок какой-то трубы.

— Тьфу ты, зараза! — злясь на себя, в сердцах сплюнул Альберт. Хорошо, что ребята не видели. Сколько раз проезжал и проходил он мимо этой ржавой раскоряки, и надо же было так опростоволоситься. Все потому, что кто-то привесил к железяке драную полосатую тряпку. Подойдя, Альберт увидел, что тряпка — не что иное, как флаг афганской революции. Откуда он тут взялся? Почему никто не видел его днем? Альберт озадачился, неприятный холодок пробежал у него под ложечкой. Что-то неспокойно нынче под Мухамедкой. Застава вся нервничала, у самого Альберта целый день на душе тягомотина... А флаг этот? Не тот ли, на который сегодня он обратил внимание, когда брали воду у старика?

— Спокойно, Арни, все о'кей,— пробурчал Митяшин. Он тщательно осмотрел развалины дувала, но никаких следов не обнаружил. Прихватив с собой трехцветную революционную тряпку, он пошел вокруг горы, напряженно вглядываясь в темноту. Шел медленно, готовый в любую секунду решетить эту чертову ночь из автомата. Вполшепота переговариваясь со Шварценегером, успокаивая его, что все о'кей, он обошел всю Мухамедку вдоль ее основания, рискуя, что с заставы его могут принять за духа и подстрелить. Но на заставе устали нервничать и прохлопали старшего лейтенанта Митяшина, как он прошел у них под самым носом, проверяя, не гуляет ли в ночи какой-нибудь воин аллаха. Он прошел незамеченным между двух застав, поднялся вверх к своим БТРам и решил подежурить до рассвета. Но до самого утра не выдержал. Едва лишь обозначились первые признаки просыпающегося солнца, он покинул свое дежурство, забрался в БТР и быстро уснул.

## Часть вторая

*Не смейте умирать!*
*Вы нам нужны живые!*
*Родные вы мои!*
*Не смейте умирать!*
*В тоскующих полях истерзанной России*
*Иная уготована вам рать.*

*Ю. М. Лощиц. «Возвращение».*

### 22.

В это утро старшему лейтенанту Митяшину приснился тягостный сон, будто ему невыносимо хочется спать, одежда и снаряжение давят так, что нечем дышать, но он стоит на корточках и ковыряет пальцем землю, роет ее, что-то ищет, без чего ему нет жизни. Пулю. Там пуля какая-то чрезвычайно важная сидит в земле. А земля сухая, убитая, ковырять ее пальцем трудно, под ногтем уже болит, но рыть надо, хоть зарежься, и он роет. Вдруг палец его касается там в земле чего-то скользкого и холодного. Он начинает рыть быстрее и в ужасе отдергивает руку — оно, это скользкое и холодное, движется! Он смотрит туда, в вырытую ямку и видит разноцветный блестящий узор змеиной кожи, там змея ползет, медленно проползает боком мимо ямки под землей. Что еще за подземная змея?! Он хватает автомат и стреляет, рыхлит землю, колошматит ее почем зря, покуда не кончится магазин. Тогда снова бросается на корточки, роет уже двумя руками, бросает комья земли во все стороны, но успевает только схватить хвост змеи двумя пальцами, потянуть его к себе, и хвост выскальзывает, уходит в землю. Он снова бросается рыть. Теперь земля почему-то очень легко поддается, он швыряет ее полными пригоршнями, как песок. Руки его натыкаются еще на что-то, он разгребает землю и видит человеческое плечо, шею, затем часть груди, сосок, под соском черная рваная рана, дыра, и змеи в этой дыре так и копошатся...

— Ах ты! — вскричал Альберт, отпрянув от ужасного зрелища, и крепко ударился головой о потолок бронепещеры. Очухался, откинул люк, вылез, долго стряхивал с ноги спальный мешок. Было уже десять часов утра, светило солнце, у костра Сорокин, Божечко и Петряков готовили завтрак.

### 23.

С точек доложили, что все пока спокойно, ни одной живой души. Альберт показал Исабаеву найденный ночью флаг и после завтрака на двух БТРах они, взяв с собой Щукина, Сергеенко, Карпеню и Рябинина, понеслись проведать старика, у которого брали воду. Подъезжали туда медленно, внимательно приглядываясь. Но там все было в порядке, старика встретили на улице живого и здорового. Но флага на шесте не оказалось. Надо было бы спросить, куда делся флаг, но Мамеддиев остался в засаде Неулыбова, а кроме него никто на дари не разговаривал. Исабаев попытался было поговорить с ним по-казахски, но, видимо, очень далекие языки дари и казахский, ничего старик не понял. Альберт показал ему флаг, покивал в сторону холостого шеста, старик стал что-то объяснять, но опять же — что он там бормочет, черт его разберет.

— Может, его ветром к нам принесло? — предположил Исабаев.

— Соображаешь, что говоришь? — проворчал Альберт. Делать было нечего, поехали назад. В дороге Митяшину вспомнился сон про змею.

Давно еще, когда он только-только приехал в Кандагар, был такой случай. Группа пришла с войны, бойцы двое суток не спали и не ели, вяло стояли на последнем построении, предвкушая ту сладостную минуту, когда скажут: «Отбой!» Приказано было проверить оружие, и тут какой-то сержант неправильно держа пулемет, дал пробный выстрел, а в затворе возьми да окажись патрон, и стоящему прямо напротив капитану Крутикову — точно в коленную чашечку. Ногу словно





отрубило, на двух жилках повисла. Через пару часов ему ее пришлось выше колене ампутировать. А сержанта — под трибунал. И фамилия-то у него была — Ногаев.

Спустя полтора года баловница судьба подарила Митяшину точно такой же случай, только малость ошиблась, промахнулась, и Альберт остался цел и невредим. Точно так же привел он группу, только это уже здесь, в Кабуле, было; точно так же бойцы долго без сна мотались по горам и точно так же стоял он напротив рядового Ткаченко, когда тот, проверяя автомат, стрельнул оставшимся в затворе патроном. Только на сей раз пуля ушла в землю в сантиметрах в двадцати от Альбертовой кроссовки. Он тогда страшно разозлился. «Ну,— сказал,— скажи «спасибо», сука, что ты мне ногу не оттяпал!» Подошел и сорвался. Никогда не рукоприкладствовал, а тут пару раз кулаком в челюсть въехал. Не то чтобы сильно, челюсть не свернул, но почувствовать дал. А потом еще заставил пальцем эту пулю из земли выколупывать. Ткаченко роет и плачет — то ли ему обидно, что понюхал командирского кулака, то ли стыдно, что чуть было не ранил старлея, а скорее всего, и то, и другое — и стыдно, и обидно. Рыл-рыл, так и не вырыл пули, только все носом хлюпал. «Ладно,— смилостивился Альберт,— отставить. Даже этого не можешь сделать!»

Вот откуда сон этот вырос сегодняшний.

Альберт вдруг почувствовал, как он устал от этого Афгана, от постоянного напряжения, от необходимости то и дело успокаивать Арни, что все о'кей, что ничего не случится и «о том, что не вернусь я, не может быть и речи». Он устал держать зубами смерть и не давать ей вырваться и нанести свой змеиный укус. «Как все надоело, Арни,— подумал он.— Как все надоело! Как я устал! Пошло оно все к лешему!»

Навстречу им из духовской зоны ехал автобус.

— Карпеня! — приказал Митяшин.— Останови машину. Проверим бурбухайку.

Они остановились, дождались, когда автобус подъедет, и, наставив ему в лоб дула автоматов, заставили остановиться.

Открыв дверцу водителя, Альберт грозным голосом бросил на ломаном дари:

— Шурави газма. Аз коджа рафтан бас?

Что примерно значило: «Советские патруль. Откуда ехать автобус?» Альберт все равно не поймет, что ему ответит водитель, но зато водитель теперь будет думать: «Черт его знает, может быть, этот шурави кое-как понимает по-нашему?» Тот действительно, бегая черными глазками-бусинками, принялся обстоятельно что-то рассказывать. В окнах автобуса испуганные черноглазые лица смотрели на Альберта и его людей.

— Ладно,— перебил старлей водителя.— Пусть теперь все выходят.

Он движением автомата показал, чтобы все выходили из автобуса. В салоне бурбухайки раздался встревоженный ропот и с минуту длилось замешательство, никто не выходил. Наконец, водитель прикрикнул на людей, и они потянулись цепочкой из автобуса на обочину дороги. В основном — старики, дети, женщины в чадрах, мужчин только человек пять. Выйдя, они растерянно оглядывались по сторонам, но Щукин и Сергеенко вежливо препровождали их в ущелье между двумя БТРами. Когда это ущелье заполнилось, а автобус опорожнился, Альберт впрыгнул в салон, обыскал его и, ничего не найдя, велел людям возвращаться на свои места и ехать дальше.

— Давай,— показал он водителю,— бурбухай дальше. Рафтан в свой Кабульск!

Шурави вернулись на свои машины и, объезжая бурбухайку, поехали дальше. Альберт в последний раз оглянулся, в окне автобуса мелькнула черноглазая физиономия Охломона и тут же исчезла, а расстояние между автобусом и БТРами стремительно увеличивалось.

— Ты видел, Арни, это был он. Он жив, Арни, все о'кей, и нам осталось не так долго тут бултыхаться.

### 24.

По возвращении к Мухамедке, несмотря на душевное неравновесие, Альберт занялся своей гирей. Долго выбирал место для спортивной площадки, заставляя Сорокина покорячиться. Потом стал крутить двухпудовую тетеньку, как какую-нибудь

легкую фигуристку, на глазах у всех духов окрестных мест. Накрутив, намотав ее, родимую, так и сяк от всей души, он крутнул и, отбросив ее на несколько метров вперед, велел Сорокину проводить ее в БТР под лавку. Тут внимание его привлек сидящий на связи Петряков. С точки Козлова сообщалось, что только что мимо них прошел караван из десяти верблюдов в сопровождении двух погонщиков, но, судя по всему, мирный, и они не стали обнаруживаться, а решили пропустить караван мимо.

— Понял,— сказал Альберт, снял шлемофон и скомандовал:— Исабаев! Щука! Карпеня! И ты, Петряков. Карпеня — поведешь машину.

Когда БТР уже тронулся, догнал Сорокин и впрыгнул на броню. Альберт строго спросил, кто ему это разрешил.

— Вот,— сказал Сорокин, показывая старлею фотоаппарат.— Совсем забыл, я ж его починил перед выходом. Разрешите, я пощелкаю, товарищ старший лейтенант.

— Ладно уж,— согласился Митяшин.— Вот ведь чмошник!

И пока они ехали, старлея посетила одна весьма приятная мечта — сфотографироваться на верблюде. Он даже весело обернулся к Сорокину и сказал:

— Вообще ты это хорошо придумал. А то я на ишаке уже три раза фотографировался, а на верблюде еще ни разу.

Выехав на бетонку, стали ждать караван. Минут через десять он появился вдали, шел неторопливо и долго оставался вереницей букашек; наконец, дождались, когда он приблизился. Сорокин сфотографировал, как Альберт, Исабаев и Щукин целятся из автомата в красиво бредущих по бетонке верблюдов. Когда караван подошел вплотную, Альберт встал посреди дороги и остановил идущего впереди старика-погонщика заученной фразой:

— Шурави газма. Аз коджа рафтан караван?

Старик-погонщик, лицом черный и страшный, сам похожий на верблюда, кивал головой и, показывая хлыстом вперед, твердил только одно слово:

— Кабуль! Кабуль! Кабуль!

— Я спрашиваю: аз коджа? — сурово повторил Митяшин. Старик в ответ забормотал что-то, из чего понять можно было только одно слово «Кабул». Вдруг он широко улыбнулся, обнажая несколько длинных, желтовато-розовых зубов, оставшихся в его рту.

— Чего лыбишься! — рассердился Митяшин.— Давай поворачивай свой чертов караван обратно. Кабул манест! Манест! Нельзя!

И старлей сделал круговое движение, показывая, что, мол, надо разворачивать верблюдов. Старик сильно расстроился, забормотал что-то слезливым голосом, потянулся своим верблюжьим лицом к рукам Альберта. Второй погонщик, парень лет двадцати двух, подойдя как раз в эту минуту с конца каравана, грозно нахмурил брови и, метая в шурави огненные взгляды, стал оттаскивать старика, говоря при этом ему что-то вежливо, но сердито.

— Ишь ты,— сказал Альберт Исабаеву,— небось, говорит: «Брось, отец, не унижайся». Ладно, будет вам Кабул, только на верблюде дайте покататься, а то шурави скоро домой поедут, там верблюдов нету.

Он знаками объяснил старику, чего ему хочется. Старик понял, зашел к верблюду спереди и издал горлом долгий скрипучий звук:

— К-х-р-х-х-х!

Верблюд послушно, но с видом, явно говорящим: ну и надоело же мне все до чертиков! — сложил сперва передние ноги, потом задние.

— Дисциплинированный скот,— усмехнулся добродушно Альберт и стал забираться на верблюда. Забравшись, он принял воинственную позу и велел Сорокину его сфотографировать. Старик поднял верблюда на ноги, Сорокин несколько раз щелкнул аппаратом, и Митяшин весело захохотал от удовольствия. За ним фотографировался на верблюде Жылыкун. Третьим — Щукин. Когда очередь, наконец, дошла до фотографа, верблюд вдруг заартачился, стал громко вздыхать и шевелить губами с явным намерением харкнуть.

— Ну ты, гад, а меня! — возмутился Сорокин.

Старик уже раз пять прохрипел свое приказание, а верблюд ни в какую, да еще как заревет диким голосом. Старик стал его ругать. Верблюд выслушал его внимательно, глубоко вздохнул и стал складываться. Когда сфотографировали



Сорокина, стали звать Карпеню, сидящего на броне и докуривающего сигарету, но он отказался:

— Ну их на хрен, товарищ старший лейтенант. Поедем лучше домой. Что хорошего на такой безобразной твари сниматься!

— Ну ладно,— сказал Митяшин. Осмотрев все вьюки на верблюдах и не найдя ничего предосудительного, старлей дал каравану путь и направился к БТРу. Старик поспешно потянул за уздцы первого, умученного фотосъемками верблюда, за ним поплелся весь караван. БТР поехал обратно к месту стоянки. Альберт был доволен. Скоро Сорокин сделает снимки, и он отправит их домой в Оренбург. Напишет так: «Это я на душманском верблюде еду к вам, встречайте». Интересно, что скажет отец?

БТР поехал мимо разбомбленного дувала. Митяшин посмотрел на ржавую раскоряченную железяку и вспомнил о флаге. В эту минуту мир вокруг него сильно встряхнулся, поехал набок и завертелся, а по голове словно с трех сторон — с двух боков и с темени — ударило плоской и тяжелой доской...



### 25.

Альберт увидел, что ноги его идут по земле, он осознал, что он, Альберт Митяшин, шагает по земле, он огляделся по сторонам и увидел, что все вокруг сильно переменилось. Свет вокруг него был розовый, будто на закате, хотя солнце все так же светилось высоко. Около БТРа зияла гигантская воронка, будто не один, а пять снарядов упали тут. Вокруг БТРа в различных позах лежали Исабаев, Сорокин и Щукин. Карпеня сидел на броне и расшнуровывал кроссовку.

— Карпеня. БТР. Поврежден? Колесо. Где? Оторвало? — сказал Альберт с длинными паузами между словами, потому что голова у него болела адски.

— Бэтра в порядке, товарищ старший лейтенант. А колеса ж не было с тех лор, как мы в аварию вчера попали,— сказал Карпеня, снял кроссовку, и из шерстяного носка у него закапали на броню капли крови, широкие, как жабы.

— Ранен?

— Да нет. То я еще в Кабуле в бане на стеклянку наступил, а тут, как жахнуло, так почему-то кровь потекла и болит.

— А что это вокруг происходит?

— Разве ж вы не видите, как все разбомбило кругом?

И впрямь. Воронки зияли где только можно, и дым стоял над землей, и пыль клубилась, уносимая ветром. Альберт пытался рассмотреть, как там на стоянке, но там пыль и дым очень сильно клубились, ничего не разглядишь.

С земли стал подниматься Щукин.

— Щука! Жив? Ранен? — крикнул ему Альберт. Собственный голос казался Альберту звучащим где-то в отдалении.

— Цел, кажется? — отвечал Щукин.— Только контузия есть.

— Ну еще бы тебе без контузии. Еще бы тебе без контузии,— забормотал Митяшин и пошел осматривать других бойцов. Перевернув на спину Сорокина, Альберт простонал, увидев сплошь залитое кровью лицо, но Сорокин тотчас зашевелился, открыл глаза, выпученно посмотрел на старлея и спросил:

— Вы живы, товарищ старлей?

— Я-то жив,— засмеялся, насколько это было возможно, Альберт,— А ты-то, чмошник, жив или нет?

— Неуставняк, товарищ старлей,— улыбнулся Сорокин.

Оказалось, что и у него ничего серьезного нет, только лоб и бровь сильно разбил обо что-то при падении — о камни или о броню. Пока старлей поднимал Сорокина, поднялся Петряков, у которого тоже, кроме контузии и царапин, ничего серьезного не было. Очухавшись, все подошли к Исабаеву. Он лежал на боку, далеко выбросив одну руку, а другую держа под подбородком, как роденовский мыслитель. Сразу было видно, что он мертв — два осколка прошили ему горло и правый глаз. Когда повернули его на спину, увидели еще один осколок, рвано пробивший правый бок прямо под лифчиком. Его подняли на руки, отнесли на броню. Собрав свои автоматы, сами залезли. Машину повел Петряков.

Когда подъехали к стоянке, увидели зрелище, от которого у всех внутри сжался холодный ком. Два БТРа лежали на боку, один и вовсе перекинулся кверху колесами. Земля вокруг была сплошь изрыта воронками, и от пыли до сих пор все казалось, как в тумане. Возле потушенного костра лежал труп Рябинина, весь осыпанный недожаренной картошкой. Неподалеку от него, прислонившись к поваленному набок БТРу сидел живой Божечко. Он обхватил двумя руками голову и причитал:

— Ой, що ж це зробилося! Ридна мамо, що ж зробилося!

Альберт растолкал его, привел в чувство, спросил, где Сергеенко и Гражданкин.

— Прямым попаданием его, Сергеенку. На куски его, ой мамо!

— А Гражданкин?

— Вин в бэтэре, который бэтэр кверх ногамы. Должно, вин тоже капут, ой що ж це такэ!

Гражданкина вытащили через боковой люк из перевернутого БТРа. Он оказался жив, только сильно ушибся, когда перевернуло машину. Ничего не соображал, где он, что он. Вдруг стал кричать от боли. Посмотрели — у него вся левая рука в крови. Разрезали рукав, а там — открытый перелом, кость белая вылезает. Старлей ему сразу сделал укол промедола, размотал с приклада своего автомата резиновый жгут, перетянул руку, чтоб кровища не хлестала. Кое-как вправили кость, тщательно забинтовали.

От Сергеенки нашли только руку по локоть и кусок верхней челюсти с четырьмя зубами. Больше ничего не могли сыскать.

Трупы Исабаева и Рябинина уложили в БТР, который единственный остался цел, да и то без одного колеса. Покуда бойцы осматривали другие бронемашины, Альберт поднялся на гору посмотреть, что там видно. Большая застава была попросту сметена с лица земли, раскатана по бревнышку и горела. Но еще хуже было то, что Альберт увидел внизу, в долине. Он не поверил своим глазам. Такого в Афгане не было никогда. Вдоль всей долины шли цепь за цепью в немыслимом количестве духи. Впереди них ехал танк, на башне которого развевалось огромное зеленое знамя ислама. И еще много ехало по долине танков, бронетранспортеров и боевых машин пехоты...

## 26.

Огромным усилием Альберт стряхнул с себя наваждение. В позвоночнике у него сильно заломило, он выпрямился. В глазах его плыли фиолетовые круги. С затылка за шиворот текла теплая струя. БТР стоял около разрушенного дувала, а по полю бежали Сорокин и Петряков, догоняя улепетывающего от них парнишку. Рядом сидел живой Исабаев и не знал, то ли ему смеяться, то ли беспокоиться об Альберте. Митяшин снял шлем и пощупал затылок. Там была приличная ранка, и кровь из нее так и лилась.

— Альберт, вон он, тот камень,— указал Исабаев на булыжник, валяющийся у обочины.

— Ничего себе,— засмеялся Альберт.— Как я жив только, не понимаю!

Сорокин и Петряков уже бежали назад:

— Хрен его догонишь, сучонка! Если только на бэтэре!

— Еще чего! — сказал Митяшин.— Поехали дальше. Карпеня! Спишь, что ли?

— Какой дальше,— отвечал Карпеня каким-то странным голосом.— Нас уже нет на свете, мы на мину наехали.

— Ты что, сдурел? Перегрелся?

— Карпеня, ты это, попробуй все-таки, может, тебе померещилось про мину? Давай, родимый, не дури.

— Ладно, попробую,— продолжал придуряться странным голосом Карпеня.— Только что касается меня, то я точно — труп.

— Давай, труп, не морочь нам голову, заводи БТР!

Карпеня завел мотор, и БТР поехал.

«Вот так, Арни, такими-то бакшишами награждает меня ридна Афгенщина в последние дни моего тут пребывания»,— с усмешкой подумал Альберт.



— До чего же подлый народ эти баччата! — все сокрушался, что не поймал озорника, Петряков.

БТР поднялся к месту стоянки. Что за чертовщина? — там, у костра, сидел Божечко, и никого больше не было — ни людей, ни бронемашин. Увидев подъезжающий БТР, Божечко вскочил с корточек и бросился навстречу, крича:

— Караван! Караван! Наши караван забилы! Уси на бэтэрах туда рванулысь! Ох и здоровущий же, кажуть, караван!

— А как же они? Почему ж мы их не видели? — удивился Альберт.

— Воны тут зъихалы, с горы. Дуже спишилы.

— Давай, садись на броню.

Никогда еще не было, чтоб на БТРах тут с горы спускались. И кого это надоумило? Небось, Сергеенку. Не Гражданкина же. Да и Рябинин бы не додумался до такого. Точно,— Сергеенко. Молодцует.

— Вот ведь тоже мне, рейнджер! — возмутился Митяшин. Однако ему тоже захотелось рискнуть и съехать с горы, а не тащиться в обход по нудным колеям. И он, чуть помешкав, приказал Карпене повторить подвиг Сергеенко, Рябинина и Гражданкина. Они взобрались на седло, соединяющее две горы — Мухамедку и Мухамеденыша, тут старлей приказал всем держаться покрепче, и БТР поехал вниз с горы на равнину под весьма рискованным наклоном. Но съехали благополучно, даже весело, как на лыжах. Пару раз пришлось делать всевозможные усилия, чтобы не свалиться с брони, а так — даже приятно прокатились.

— О'кей, Арни, с ветерком! — развеселился Альберт. Вся его давешняя тягость вмиг улетучилась, испарилась с души. Он был на вершине счастья, сердце билось в ликованьи. Караван! Караван! Караван! И старлей вполголоса запел:

> Мы парни бравые, бравые, бравые,
> Но чтоб запомнили нас духи окаянные,
> Мы перед выводом еще
> Их приласкаем горячо
> И трижды сплюнем через левое плечо.

Без ложной скромности, такую афганскую версию знаменитой песни Альберт придумал сам, буквально несколько дней назад. И как в масть пришлась эта песня в сию радостную секунду! БТР ласточкой летел уже по бетонке, и в Альберте все дышало, пело и светилось, как в раю. И мир вокруг несущегося вперед БТРа лучился молочно-белым сиянием, края окружных гор, очерченные золотой линией, звенели вдалеке чуть слышным приятным звоном, желтый ковер расстилающейся во всю ширь долины казался таким махрово-мягким, что легко было себе представить, как бежишь по нему босыми ногами и счастливо хохочешь.

Вот уже свернули с бетонки круто влево, метнулись в сторону остовы двух подбитых БТРов и исковерканный танк, уныло промаячил высохший труп собаки, подорвавшейся на мине,— Альберт лишь мельком успел подумать: откуда она тут взялась? — и БТР нырнул в русло чахлой речки. Колеса зашуршали по мелким камушкам. Все ближе и ближе была точка старшего сержанта Неулыбова, забитый караван и возможность встречи с дорогим сердцу врагом, вероятность того, что там ждет работа, именуемая боем.

Вдруг БТР резко снизил скорость, так что сидящих на броне дернуло вперед. В следующую секунду Альберт увидел вдалеке несколько застывших в ожидании фигур. Духи! Он быстро сообразил, что надо делать, и крикнул Карпене:

— На полной скорости — вперед! Вперед, черт тебя дери!

БТР взревел и рывком, как обозленный зверь, бросился на врага. Стрельба открылась с двух сторон одновременно. Внимательно паля в несущихся навстречу врагов, Альберт успел с удовольствием отметить, что его АКМС работал старательно, и двух духов отбросило навзничь, сраженных его дубовым калибром семьшестьдесят две еще издалека. А когда врезались в самую их гущу, тут родной Калашников сказал свое веское слово в рукопашной: так, так и так — троих уложил, один даже кубарем покатился по каменистому дну дохлой речонки. Что за секунда была эта, в которую они рубанулись по духовской засаде! Хор автоматов дружно рявкнул с обеих сторон, БТР, будто тигр сквозь огненный круг, проскочил через облаву, и тут же шурави развернулись назад и заработали огнем в уносящийся вдаль участок русла. Оттуда еще кто-то отстреливался, две пули бзынькнули по

броне, но никого не задели. Альберт мигом оглядел своих — все оставались там, где и сидели до встречи с душками, никого не задело. Видно, духи не ожидали, что БТР попрет напролом, а оттого растерялись и стали мазать. Ни царапинки ни на ком, вот диво! Знай спецназ!

— Ах ты, с-сука! — успел вскрикнуть Альберт, вскинув автомат и пустив три пули подряд в духа, выбежавшего на берег русла и севшего на корточки, целясь по БТРу сверху вдогонку из ручного противотанкового гранатомета, одна из пуль чпокнула ему в грудь, и, падая на спину, дух вскрикнул и нажал на курок. Дынька-граната взметнулась в небо перпендикулярно земле, и уже порядочно отъехал БТР от того места, прежде чем она громыхнула где-то сбоку, недалеко от уложенного Альбертом воина.

Когда вырвались из русла наверх и помчались по дороге, оглядевшись по сторонам, не увидели ни одной живой души. До точки Неулыбова оставалось километра полтора. Альберт хотел было связаться с ними, но тут обнаружил, что шлемофон его сильно поврежден пулей, назначавшейся Альберту в голову. Оставалось лишь выйти на связь со Шварценегером.

— Вот так мы и воюем, Арни,— сказал ему Митяшин.— Ты видел, как я шестерых уложил. Что трое из них отправились сразу к гуриям, могу поставить любой заклад.

Вдруг с горы заработал пулемет. Стаей металлических стрижей пули промчались над головами, и Альберт увидел, как Исабаев, не сказав ни слова, не издав ни звука, свалился с брони и остался лежать на дороге.

— Стой! — закричал Митяшин Карпене.— Исабаева зацепило!

Пулемет заговорил снова, и пули посыпались, как горох, давая лишь небольшой недолет. БТР остановился, все соскочили и залегли за ним. Пулеметчик затих, выжидая. Альберт подполз под переднее левое колесо, немного высунулся. Гора вновь ожила, пули со скрежетом зачирикали на броне. Альберт увидел духа. Он сидел без прикрытия, и старлей отработал по нему несколько пуль, которые легли совсем близко. Дух забеспокоился, Альберт быстро смекнул, что он намеревается перебежать вместе с пулематом к ближнему камню. Из-под соседнего колеса затарахтел АКС Щукина.

— Не стрелять! — шикнул на него Альберт.

Еще минуту пулеметчик колебался. Наконец, не выдержал, вскочил, побежал к камню. Щукин дал очередь. Альберт стрельнул одиночным и знал, что это его пуля сразила афганца наповал. Это была гора, очень похожая на ту, с которой их вчера обстреляли около большого кишлака. И Альберт заставил ее замолчать, наконец!

На всякий случай бросились к телу Исабаева не в открытую, перебежками. Но гора больше не огрызалась.

Исабаев был без сознания. Пуля пробила ему грудь с правой стороны. Сердце едва слышно билось. Подняв тело на руки, Митяшин, Петряков и Щукин отнесли его к БТРу и впихнули внутрь бронепещеры.

## 27.

Они уже Бог весть сколько времени ехали среди этих чертовых гор. Они заблудились. Кошмарный сон — БТР все ехал и ехал, а точек, на которых были оставлены засады Козлова и Неулыбова, все не было и не было. Они стали возвращаться, чтобы снова попробовать найти путь. Местность изменилась. Стала еще более неузнаваемой.

— Что за дьявол водит нас тут, Арни! — ворчал Митяшин.

Солнце уже стало медленно стекать к закату, но странно — что ни минута, жара все усиливалась, будто был не декабрь, а июнь, на худой конец — середина мая.

Карпеня остановил БТР. Заглянули, как там Исабаев.

— Ну что он? — спросил Альберт.

— Двести,— мрачно ответил Карпеня.

— Понял,— сказал старлей.



Все слезли с брони, молча оглядывались вокруг.

— Где мы? — спросил Петряков.

— Где-где, в Караганде,— отвечал Сорокин.

— Смотрите! Смотрите! — вскрикнул Щукин, указывая на отдаленную фигуру.

— Э, да это Фархат! — через минуту разглядев приближающегося человека Сорокин. И точно, как следует приглядевшись, Альберт тоже различил в фигура Мамеддиева. Он шел один, долго приближался, наконец, подошел.

— Мамеддиев! — сказал ему Альберт.

— Я, товарищ старший лейтенант,— отвечал Мамеддиев.

— Ты что? Где все?

— Все ушел в Кабуль, товарищ старший лейтенант. Много ребят раненый, не могли ждать, все уехаль в Кабуль.

— Понял. Всем на броню! Карпеня! Ты чего сидишь?

— Не могу я дальше ехать,— отвечал Карпеня.— У меня нога загноилась, опухла. Кроссовку не могу снять. Кроссовка леоновская, сорок третий размер, а нога опухла — не могу снять.

— Леоновская-наполеоновская! — зло сказал Митяшин.— Я говорил тебе перед выходом? А ты — ерунда, все нормально!

— Да бестолку все это, товарищ старший лейтенант. Все равно мы все на мине подорвались,— сказал Карпеня.

— Не знаю, как кто, а ты — точно подорвался,— пуще прежнего сердился Митяшин.— Крыша поехала, перегрелся, маленький! Лезь на броню! Щукин! Поведешь бэтэр!

## 28.

И снова они ехали и ехали, а солнце пекло и пекло, а дорога вся не кончалась и не кончалась, и не понятно было, где они и куда едут, где бетонка, где Мухамедка, где наши и где духи.

Митяшин, Карпеня, Петряков, Сорокин, Божечко и Мамеддиев — шестеро на броне и двое — Щукин и мертвый Исабаев — в броне.

Заблудившийся БТР ехал между гор по планете Афган.

## 29.

В сумерках подъехали к какому-то кишлаку. Старлей отправился с Мамеддиевым на разведку. Возле первого дувала их встретил старик в халате и чалме. Мамеддиев заговорил с ним и как-то в миг развеселился, стал оживленно болтать со стариком, радостно улыбаясь.

— Ну что тут? — не выдержал старлей.

— Ай, товарищ старший лейтенант! — счастливо воскликнул Мамеддиев.— Тут кишлак, товарищ старший лейтенант, тут люди живут, таджики живут. Это — родственник мой, моего деда жены племянника дед, панимаешь, товарищ старший лейтенант!

— Ишь ты! — усмехнулся Митяшин.— Восток — дело путаное. Ну что? Пустят нас сюда на ночлег? Не перережут ночью?

— Ай, ну зачем обижать, товарищ старший лейтенант!

В кишлаке оказалось два десятка стариков, старух, детей и женщин. Варился плов, женщины ходили в разноцветных красивых чадрах, дети с любопытством разглядывали шурави, а когда БТР остановился у входа в кишлак, стали залезать на него с веселыми визгами.

Вскоре все уже сидели на персидском ковре, ели плов из чечевицы, мясо к нему, вкусно обжаренное, подавали отдельно. Альберт открыл бойцам секрет своей фляжки — там была водка. Он разрешил выпить по пятьдесят граммов — сразу третий тост, за Исабаева. От выпитого все как-то быстро опьянели — нажарились, намаялись за день. Стали песни петь. Старик, родственник Мамеддиева, Альберту показал листовку Народного фронта Афганистана:

ЛИСТОВКА НАРОДНОГО ФРОНТА АФГАНИСТАНА

Мусульмане Афганистана! Бросайте оружие! Кровопролитная война, в которую втянули вас подлые шурави, противоречит Корану. Это война, в которой одни шурави воюют против других, и пусть они воюют сами с собой, пусть армяне убивают азеров, пусть грузины режут абхазов, молдаване и хохлы — русских, прибалты — русских и хохлов, узбеки — таджиков и туркмен, и так далее. Хватит нам лезть в их дела! Пусть они убивают друг друга в Кандагаре и Шинданде, Тбилиси и Баку, Фергане и Сумгаите! Пусть они сожрут друг друга, как голодные шакалы! Им завещал это их пророк Ленин Кровавый. Да разрушится его проклятый мавзолей в Москве! Да стоят в веках мавзолеи в Герате и Кабуле!

— Ох и ни ха-ха себе! — возмутился Митяшин.— Во дают братья-мусульмане! Оказывается, это нам вся их поганая война нужна! А они как бы и ни при чем.

Старики не на шутку перепугались, увидев такую реакцию Альберта, они стали что-то весело выкрикивать, хлопать в ладоши. В ответ на их призывы несколько девушек в голубых лоснящихся чадрах выбежали на середину ковра и стали весело отплясывать босыми ногами, аккуратно ступая среди блюд и виал. Они негромко пели, серебряные браслеты ласково брякали на их запястьях и щиколотках.

— Вот эта,— указал старлею Сорокин на одну из девушек.— Она самая.

— Какая еще «она самая»? — не понял Митяшин.

— Которая с прапорами-интендантами жила.

— Врешь!

Альберт стал присматриваться к ней и вдруг узнал ту самую, которая ночью отплясывала на бетонке, покуда ее дед или старый папаша таскал в свою хибарку свалившиеся с неба дрова. Вот чудеса! — подумал он. А бойцы не на шутку опьянели. И с чего? С пятидесяти граммов водки! Петряков вдруг стал требовать, чтобы девушки сняли чадры.

— Стриптиз! — кричал он.— Хочу стриптиз!

Бросился, стал пытаться сорвать с девушек одежды. Начался жуткий скандал, старики загорлопанили, загалдели, стали выкрикивать: «Аллах акбар!» Тогда Альберт попросил Мамеддиева, чтоб тот перевел, что, мол, шурави приносят свои извинения и, дабы загладить свою вину, командир исполнит цирковой номер с двухпудовой гирею.

Мамеддиев перевел, старики утихли, стали усаживаться обратно на персидский ковер, а Альберт шатающейся походкой направился за кишлак к БТРу. Выйдя из кишлака, он обнаружил, что БТР стоит не там, где был оставлен, а в некотором отдалении. Мало того, оставленный при нем Сорокин пасся шагах в сорока от вверенного ему бронетранспортера.

— Ты чего шляешься? — спросил Альберт.

— Это...— залепетал младший сержант,— не могу я там при Исабаеве. Он это... говорит что-то.

У Митяшина волосы зашевелились на голове, а головная боль даже утихла на несколько минут.

— Ну ты даешь, чмошник! — сказал он Сорокину со злостью.— Стыда у тебя нет. Уж придумал бы что-нибудь другое.

— Я не виноват, товарищ старший лейтенант, но мне чудится, будто он по-казахски что-то бормочет и бормочет.

Альберт осуждающе вздохнул, покачал головой и пошел к БТРу. Открыв боковой люк, он полез под сиденье, где лежала его гиря, но едва он выволок ее наружу, как изнутри БТРа до него донеслось:

— Ойдагыдай. Биз жакында жана пэтерге кёшемиз.

В животе у Митяшина защекотало. Он постоял еще минуту.

— Саган зор денсаулык, зор бакыт, мол табыс, узак эмир тилеймин,— донеслось из бронепещеры новое бормотание.

— Жылыкун! — позвал Митяшин Исабаева. Голос его от ужасе еле прорывался сквозь глотку. Исабаев не отозвался. Альберт зажег спичку, нырнул в БТР, осветил лицо Исабаева. Казах смотрел на Альберта, слегка улыбаясь.

— Менин еш жерим ауырмайды,— сказал он.

— Ты чего ругаешься? — пытаясь тоже улыбнуться, сказал трупу Митяшин.





— Я говорю: у меня уже ничего не... забыл, как по-русски. Не болит,— отчетливо произнес Исабаев.

— Вот и хорошо. А мы почему-то решили, что ты того, двухсотка.

— Нет, я живой,— улыбнулся шире прежнего Исабаев.— А вот ты еще неизвестно, живой или двухсотый.

— Шутишь, значит, точно, живой,— улыбнулся Альберт.— Пойдем плов есть. Там нас таким пловом угощают, гранатовым соком хоть залейся. Тут кишлак, таджики живут, Мамеддиев родственника встретил, а я за гирей пришел, хочу их позабавить.

— Нет, я лучше тут останусь, меня сон морит,— отказался Исабаев, помолчал и добавил снова по-казахски: — Арты жаксылык болсын!

— Ты завязывай по-казахски балакать. Я хоть и жил в детстве три года в Талды-Кургане, а ни хрена по-вашему не помню.

— Я говорю: пусть все будет хорошо,— сказал Исабаев и закрыл глаза. Спичка, которая и так долго горела, погасла. Альберт взял гирю и вернулся в кишлак.

## 30.

В кишлаке все больше разгоралось веселье. Старики курили кальяны с гашишем, Мамеддиев тоже было согласился, но Альберт ему строго запретил. Когда девушки окончили свой очередной танец, Митяшин вышел на середину ковра и объявил:

— Выступает заслуженный артист цирка, оренбургский Шварценегер, любимец всего Афганистана Альберт Митяшин!

И тут он дал волю своим мышцам, как никогда не давал, тренируясь. Гиря бабочкой порхала с плеча на грудь, с груди — на запястье, ракетой взвивалась вверх и зависала над головой, стремительно падала к земле, но, ловимая сильной рукой старлея, направлялась между ног, вкатывалась на спину, кубарем катилась по позвоночнику до шеи, вежливо стукалась о затылок, и отсюда Альберт подбрасывал ее затылком высоко в воздух, принимал на колено, с колена перебрасывал на подъем ступни и пинал ее, и была она легкая, будто мячик. Утомившись, он велел Петрякову и Божечке вдвоем отнести гирю обратно в БТР, и те, подыгрывая старлею, на смех старикам таджикам, на трясущихся ногах, якобы чуть не падая, потащили гирю вон. Когда они вернулись, Альберт спросил у них, как там Исабаев, молчит или по-казахски бормочет. Они удивились:

— Так он же мертвый! — сказал Петряков.

— Хрен вам! — весело сказал Альберт.— Живой он! Я с ним разговаривал. Он сказал, что все в порядке, только спать хочет. Но это естественно — после такого ранения-то.

— И я тоже живой,— вдруг услышал Альберт за спиной у себя детский голос. Он оглянулся и увидел Охломона. Весело улыбаясь, Охломон сидел рядом с Альбертом на персидском ковре и зачерпывал из блюда пригоршню плова. Внушительную такую пригоршню зачерпнул и, лукаво смеясь одними глазенками, отправил плов в рот. Жует, а глазами смеется.

— Ах ты, Охломон такой! — засмеялся и Митяшин.

— А ты как думал! — не дожевав, сказал Охломон.— Знаешь такой анекдот — мужик подходит к колодцу: «А!», оттуда ему в ответ: «Бэ!», он: «Вэ!», ему: «Гэ!», он: «Ни хрена себе!», а ему: «А ты как думал!»

— Ты где так по-русски научился шпарить? — вдруг спохватился Альберт.

— А че, трудно что ли, бляха-муха, ёкэлэмэнэ! — задиристо отвечал Охломон.

Так сидели они на персидском ковре и долго еще калякали.

## 31.

Среди ночи Альберт почувствовал усталость, прислонился к стене и в следующий миг осознал, что он уже спит, сидя на персидском ковре, и что ему снится сон.

Приснился ему сон короткий, легкий и быстрый, как редкий порыв осеннего афганского ветра.

Он увидел высоко над собой лазурное небо, по которому изредка проносились ветки деревьев. Он лежал навзничь на броне, а БТР с бешеной скоростью

мчался мимо гор и деревьев. Альберт хотел повернуть голову, но тотчас страшная боль в позвоночнике обожгла его, он успел увидать лишь сидящего рядом с ним Исабаева с оцарапанной щекой и в следующий миг от боли в спине проснулся.

32.

Оказалось, что, покуда Альберту снился этот мгновенный сон, прошла ночь. Светило солнце, перед Альбертом на корточках сидел Сорокин и тряс его за плечо:

— Товарищ старший лейтенант! Проснитесь! Исабаев и Петряков исчезли.

— Не понял. Как исчезли? — протирая глаза, Альберт поднялся на ноги, подхватил автомат, к которому прислонялся ночью позвоночником.— А ты где был? А остальные где были?

— Все в кишлаке ночевали. Под утро Петряков пришел меня сменить около БТРа, а через два часа Божечко пошел к нему, а ни его, ни старшего лейтенанта Исабаева нет.

Митяшин и Сорокин выбежали из кишлака вместе с Мамеддиевым и Щукиным. Карпеня и Божечко уже были на БТРе. Когда все забрались на броню, Карпеня полез на место водителя.

— Славка! — крикнул ему Альберт.— А нога?

— Нога? Чужая не вырастет, а своя не подведет,— туманно отвечал Карпеня, но старлей остался доволен и таким ответом, потому что в критический момент Карпеня — водитель незаменимый.

БТР завелся и поехал. Прибавил скорости и помчался, брыкаясь на ухабах. Митяшин на ходу надел лифчик, стал проверять рожки — все магазины были полные.

— Я ночью вам зарядил,— докрикнул сквозь шум езды Сорокин.

— Спасибо, чмошник! — ответил ему старлей.— Человеком становишься!

Вдруг из правого переднего люка выскочила кучерявая голова Охломона.

— А ты как тут сказался? — грозно прорычал Альберт.

— Я с вами, сахебмансаб! — отвечал Охломон.— Я знаю то, чего никто не знает. Остановите зерехпош.

— БТР что ли?

— Да, бэтар-мотар, зерехпош.

Альберт приказал Карпене остановиться.

— Ну, слушаю тебя,— сказал он Охломону, когда БТР встал.

— Я знаю все,— повторил Охломон.— Здесь орудуют люди Джагран-Йахуда. Они ищут волшебный кувшин. Кишлак Молали, в котором вы сегодня ночевали, до последнего времени хранил тайну этого кувшина, но с тех пор, как погибли Дауд-Ахмед и Али-Шер, только я один знаю тайну великого чудесного кувшина из Мекки. Это кувшин из самоцветной меди, и другого такого нет на всей земле. Я знаю имя этого кувшина, при произнесении которого открывается его великая тайна. Люди Джагран-Йахуда хотели похитить у вас чудесный кувшин, но мало владеть им, нужно знать его имя.

— У нас? Почему у нас?

— Потому что сахебмансаб Исабаев нашел его в разрушенном кишлаке и до вчерашнего вечера чудесный кувшин лежал в вашем зерехпоше. Но я знал, что Джагран-Йахуд придет за ним, и припрятал его в надежном месте. Теперь он снова тут, в зерехпоше, потому что там, где вы, сахебмансаб Альберт, там — самое надежное место во всем Афганистане. А теперь надо скорее подняться вон на ту гору. Это — Забан-Тапа, там, по поверью, человек не может скрыть тайну. Возможно, ваших людей отвезли туда.

— Понял,— ответил старлей и скомандовал: — Всем приготовиться к бою! Курс держим на ту высоту, это — Забан-Тапа, и Петряков с Исабаевым скорее всего там. Карпеня! Полный вперед!

БТР яростно заревел и бросился вперед. Щукин нырнул внутрь, чтобы занять место стрелка. Невысокая Забан-Тапа быстро приближалась, и Альберт невольно прошептал Шварценегеру:

— Если гора не идет к Альберту, Альберт идет к горе. Видишь, какие дела раскручиваем, Арни!





БТР, пуще прежнего ощерившись, стал подниматься на Забан-Тапу, и Альберт увидел вдалеке, на вершине широкой и плоской этой горы, копошащихся людей. Он утопил голову Охломона в люке, а сам до половины спустился в люк, вскинув автомат на изготовку. Еще минута, и уже можно было различить фигуры духов. Тут же с их сторон началась стрельба, но пули засвистели не так чтобы очень близко.

— Огонь! — скомандовал Альберт, и БТР громко заговорил огнем из автоматов и пулеметов. Духи на сей раз попались трусоватые — быстро дрогнули и побежали. Хорошо поработал Щукин — крупнокелиберными вдрызг раскрошил троих духов. Всего их на горе было человек пятнадцать. И они валились на землю, как милельки, а на БТРе ни человечка не поцарапало.

— Молодец, Щука! — орал Митяшин, садя из своего голубчика АКМСа четкими короткими очередями.

Тут только, подъехав совсем вплотную к тому месту, где копошились духи, Альберт увидел, что это за странный столб воздвигнут там, осознал чудовищный смысл этого столба.

БТР вкатился на плоскую вершину Забан-Тапы, и глазам шурави открылась страшная картина. На площадке радиусом в десять метров валялись раненые и убитые моджахеды, а посредине к высокому и толстому столбу был привязан Исабаев, у ног которого догорал костер. Ноги Жылыкуна были обуглены, вся нижняя часть туловища — черна, а живот, грудь и лицо сильно закоптились. Рядом лежал Петряков. Его не успели подвергнуть пытке и в спешке застрелили.

— Это старинный столб Забан-Дарахт,— сказал Охломон.— К нему издавна привязывали людей и пытали их, когда хотели что-то узнать. Считается, что тут человека пытает сам Аллах.

— Осмотри трупы,— сказал Альберт.— Здесь этот твой Джагран?

Охломон осмотрел тела моджахедов. Всего их оказалось тринадцать человек — десять убитых, двое тяжело раненных, один, вовсе не задетый, скрючившись сидел возле мертвого Петрякова и дрожащим голосом лепетал:

— Аллах вкбар! Мохаммед пайгамбар! Аллах-аллахи!

Сорокин ударил в лицо, он упал навзничь, схватился за лицо обеими руками и сквозь его тонкие загорелые пальцы брызнула струйка крови.

— Сорока! Умерь пыл! — крикнул Митяшин.— Ну что, Алладин, есть твой Джагран?

— Нет,— ответил Охломон.— Здесь нет Джагран-Йахуда.

— Тогда спроси у этого, где его атаман.

Охломон стал расспрашивать оставшегося в живых моджахеда, но тот, оторвав от лица ладони и увидев кровь, брызжущую из разбитой верхней губы, истерично расплакался. Пришлось ждать, пока он успокоится. Тем временем Божечко и Мамеддиев распутали проволоку, которой Исабаев был прикручен к столбу Забан-Дерахт, и положили мертвое, закопченное тело рядом с Петряковым. Альберт сорвал с головы одного из мертвых моджахедов длинную тряпку, служившую головным убором, и протянул ее оставшемуся в живых хнычущему духу:

— На, вытри кровь, падла!

Моджахед замахал руками, отказываясь.

— Он не возьмет,— сказал Охломон.— Вещи мертвых священны.

— Вот гниды! — ругнулся Сорокин.— Они наших так изуродовали, а мы с ними будем цацкаться!

— Успокойся! — повторил ему Альберт.— Хрена нам с ним цацкаться! Нам у него информацию получить надо. Давай, Алладин, спроси у него еще раз, где Джагран-Йахуд.

— Я не Алладин, у меня другое имя,— сказал Охломон.

— Какая хрен разница,— устало промолвил Митяшин.— Не Алладин, так будешь Алладин. Я так хочу!

— Нет,— заартачился Охломон.— Мое имя Али-Госала.

— Ну хорошо. Али,— вздохнул Митяшин.— Давай, спрашивай.

Али-Госала обменялся с пленным несколькими фразами, затем перевел:

— Он говорит, что сам Джагран-Йахуд находится недалеко отсюда, в селении Роз-э-Шанбе, и при нем более ста аскаров. У Джагран-Йахуда есть зерехпош, но

он сломан, а еще у него есть пушка, а к пушке десять снарядов. Здесь, в этом отряде, был племянник Джагран-Йахуда — Иса-Сулейман. Вон он лежит мертвый.

— Понятно,— сказал Альберт.— Спроси у него, что они смогли узнать у наших ребят.

Несколько минут Али-Госала разговаривал с пленным, наконец, перевел их разговор:

— Он говорит, что оба ваших шурави — настоящие мужчины, потому что сам Аллах не смог выпытать у них ничего, а на все вопросы они отвечали, что сегодня и завтра всем моджахедам в округе — смерть от шурави, которыми командует сахебмансаб Альберт.

— Спроси его, что же он тогда сам так выбалтывает?

Али-Госала задал пленному вопрос и получил ответ:

— Он послушен Аллаху, а здесь, на горе Забан-Тапа, сам Аллах задает вопросы, и мусульманин обязан на них отвечать.

— Ну, раз так, то спроси его теперь, пытал ли он наших ребят? Его это работа? — скрипнув зубами спросил Альберт, указывая на трупы Исабаева и Петрякова.

Али-Госала перевел пленному вопрос Митяшина. Пленный побледнел и долго не отвечал, потом приложил руки к груди и произнес несколько фраз, закончив их восклицанием:

— Аллах акбар! Аллах шахед!

— Не надо его убивать,— сказал Али-Госала.— Он говорит, что лишь клал ветки в костер, что пытками занимался сам Иса-Сулейман.

— Я бы убил его и за это,— сказал Альберт,— но если ты, Али, просишь за него, то я оставляю ему жизнь. А теперь скажи ему, чтобы он шел к Джагран-Йахуду и сказал, что в кишлаке Молали генерал Альберт и сто лучших шурави охраняют чудесный кувшин. Если Джагран-Йахуд настоящий мужчина, пусть он приходит со своими аскарами и отнимет у генерала Альберта его трофей.

Когда Али-Госала перевел пленному, что Альберт дарит ему жизнь и свободу, тот бросился к ногам старлея, но после того, как была переведена вторая половина, глаза пленого выпучились, рот раскрылся в удивлении, моджахед растерянно закивал, поднялся на ноги и стал пятиться назад.

— Давай! Вали! — махнул ему Альберт.

— Эх, жалко! — воскликнул в сердцах Сорокин.

— Пусть идет,— повторил Митяшин.

Моджахед прибавил шагу, потом и вовсе припустился бежать. Щукин стрельнул ему вслед из автомата.

— Хоть напугать гниду! — объяснил он свой выстрел.

Мертвых Исабаева и Петрякова отнесли в БТР. Не знали, что делать с ранеными моджахедами, но, осмотрев их еще раз, обнаружили, что оба они скончались. Наконец, собрав все оружие и боеприпасы, оставшиеся у мертвых духов, поехали в кишлак Молали. Когда сели на броню, Али-Госала сказал Альберту:

— Сахебмансаб Альберт. В твоих словах есть истина. Покуда ты охраняешь чудесный кувшин, ты имеешь право называться генералом Альбертом. Я буду звать тебя Джанрал-Альберт, если ты не возражаешь.

— Ладно, бачча, зови, как хочешь,— согласился Альберт.

— И еще,— добавил Али-Госала.— Я хочу открыть тебе первую половину имени волшебного кувшина. Тем самым ты будешь связан с ним, и он поможет тебе собраться с духом. Имя его начинается так: Коза-Мар-Меси. Запомни.

## 33.

Через полчаса быстрым ходом вернулись в Молали. Сразу бросились готовиться к встрече с Джагран-Йахудом. Состоящий из четырех дувалов кишлак стал превращаться в крепость. На подступах к кишлаку, на невысокой горке поставили засаду — там окопались Сорокин и Божечко. Щукин и Мамеддиев устроились на дувалах. БТР поставили в стороне от кишлака. На этой боевой позиции были Митяшин, Карпеня и Али-Госале, который ни в какую не соглашался спрятаться в кишлаке. Таким образом, в случае, если Джагран-Йахуд все-таки решит наведаться, его аскары рисковали попасть под перекрестный огонь с трех точек, расставленных по углам равностороннего треугольника.

Вечером, сидя около БТРа, Альберт разглядывал кувшин Коза-Мар-Меси. Это был ничем не примечательный медный сосуд. Вернее сказать, сам по себе он выглядел даже изысканно — длинное и тонкое, изящное горлышко, да и вся форма такая приятная, стройная, как фигура девушки, но поскольку Али-Госала утверждал, что это волшебный кувшин, то на волшебный он как-то не тянул. И все же Альберту было приятно держать в руках эту вещь.

— Подержи его на руках и произнеси первую часть его имени,— сказал Али-Госала.

— Коза-Мар-Меси,— произнес Альберт, и руки его почувствовали тепло, исходящее от тела сосуда, будто и впрямь, не кувшин был в руках у старлея, а девушка.

— А что будет, если промолвить вторую половину его имени? — спросил он Али-Гасалу.

— Если произнести лишь вторую половину его имени, то ничего не будет,— ответил Али-Госала.— Но если произнести вслух все имя, то случится нечто такое, что трудно себе вообразить.

— Хорошее или плохое?

— Произойдет нечто страшное и опасное.

— Что же?

— Я не могу тебе сказать. Но если ты убьешь Джагран-Йахуда, то я скажу тебе.

— Понял,— сказал Альберт.— Я постараюсь. Не гарантирую, но спецназ коечего стоит. Может, твой Йахуд и не припрется.

— Нет, он придет. Он придет,— твердо сказал Али-Госала.

## 34.

Настала ночь. Карпеня спал в БТРе на сиденьи, с которого не везде стерли кровь Петрякова. Тела Исабаева и Петрякова были отнесены в кишлак. Альберт сидел на броне, зорко вглядываясь в темноту, ловя каждое движение на небольшой равнине перед Молали. Он чувствовал перекрестные взгляды ребят из засады и из дувалов и все больше проникался мыслью, что духи явятся, и именно сегодня.

— Мы им покажем представленье, Арни,— тихонько разговаривал он со Шварценегером.

Али-Госала тоже не спал. Он сидел в кресле водителя и время от времени тихонько шептал молитвы.

Легкий призрак сна коснулся Альберта, и на миг ему привиделось, будто он лежит на спине возле кабульского медсанбата, над ним склоняются лица бойцов — вот Исабаев, вот Петряков, вот Сергеенко... Он как муху отогнал сон от лица рукой, тревожно вгляделся в темноту и увидел на равнине перед Молали движение. Да, они пришли! По равнине короткими перебежками двигались духи, и их было немало, человек двадцать-тридцать, а то и больше. Альберт нырнул головой в БТР и хрипло прокричал:

— Карпеня! На пулеметы! Бачча! Слазь отсюда и в угол, чтоб тебя не видно-не слышно!

Оба зашевелились, выполняя требования старлея. В это время Митяшин выстрелил из ракетницы. Ракета с шипящим шелестом, потрошась искрами, полетела в ночное небо, вспыхнула ярко и зависла, озаряя долину белым, ровным светом. Фигуры духов все оказались как на ладони. Да — человек тридцать-тридцать пять. И как только они озарились и испуганно, будто тараканы после внезапно вспыхнувшего на кухне света, зашевелились энергичнее, тут же проснулась засада на горе, а за нею — Мамеддиев и Щукин на дувалах, и уже после них загрохотала башня БТРа.

О, это было великолепно! Бойцы хорошо подготовились к ночному бою, зарядив в магазины через каждые два простых патрона по одному трассирующему. Горячие красные линии, словно спицы сквозь вязанье, воткнулись в бледно освещенную ракетой равнину, нанизывая на свои страстные концы тараканьи фигурки моджахедов, застигнутых врасплох.

— Смерть! Смерть! Это смерть, Арни! — лепетал Альберт, посылая горячие струи свинца из своего АКМС, и он нутром чуял, когда его пули протыкали человеческое тело, а когда пролетали вольно мимо. И те и другие были хороши — одни пугали своим свистом, другие убивали напуганных.

Духи дрогнули и побежали прочь от превращенной в ад равнины. Истратив один магазин, Альберт прыгнул в БТР на кресло водителя и пришпорил бронеконя. Ракета погасла, и духи могли опомниться, броситься в новую атаку. Предугадывая это, Альберт пустил машину в самый центр равнины. Расчет его оказался верным. Оскаленная морда БТРа врубилась в самую гущу бегущих в разные стороны духов, сбивая и давя их. Пули звенели и пели, дзынькая по броне. Здесь было самое пекло. Длилось это всего две-три секунды, но это был хороший бой. Духи рассыпались во все стороны и таяли, как волна, отбегающая с песчаного пляжа. БТР мчался вперед и не кончались фигуры моджахедов, бегущих и стреляющих, а Карпеня косил их из пулемета, здорово, четко косил!

— Молодцом, Славик! Аллах акбар, Джагран-Йахуд! — кричал в азарте Митяшин.— Это вам за Жылыкуна! Это вам за Мишку Петрякова! Это вам за все хорошее! Акбар! Акбар! Воистину Акбар!

БТР сильно дернуло в сторону, так что Альберт тюкнулся головой о стенку — это взорвалась граната.

— Понял,— отреагировал Митяшин.— Очухались душки.

Он резко, как мотоцикл, развернул БТР и, ныряя то вправо, то влево, помчал его назад к кишлаку. Еще два взрыва грохнули поблизости, но, к счастью, все пока сходило с рук.

— Давай, бэтэр! Давай, братишка, жми! — умолял машину старлей, чуя, что далеко углубился в гущу врагов и вот-вот кто-нибудь вздернет их из гранатомета. Но Бог миловал, и через две-три минуты БТР вернулся на исходный рубеж. Затормозив, Альберт мигом выпрыгнул наружу и осмотрел равнину. Там темнели тела убитых, но вдалеке явно двигалось второе наступление. Духи смекнули, что удар по ним был не слишком силен. Пожалуй, рейд БТРа был ошибочным. Духи увидели, что БТР один, и могли заподозрить, что других-то машин и нету.

Они явно наступали. Воцарилась зловещая тишина. Вдруг со стороны духов грохнули несколько выстрелов гранатометов. Две выпущенные ими гранаты взорвались в кишлаке, третья, брызжа искрами, будто слюной, скользнула по земле в пяти шагах от БТРа, отлетела дальше метров на десять и оглушительно взорвалась. Взрывной волной Альберта чуть не свалило с брони, но осколки пронеслись мимо.

— Ах ты, любимая! — сказал в запале старлей.— Так, минуточку, уважаемые телезрители...

Еще выстрел, и вторая граната пронеслась с ревом над головой, но взорвалась гораздо дальше предыдущей. Альберт пустил в небо вторую ракету. Снова равнина осветилась белым мерцающим светом. Духи шли в несколько цепей. В кишлаке и из засады заработали автоматы. Альберт увидел двух гранатометчиков, целящихся один по кишлаку, другой — прямо в него, в Альберта. Он схватил автомат, выдернул пустой рожок, вставил свежий, полный. Гранатометчики выстрелили почти одновременно. Граната, предназначенная БТРу, не долетела метров двадцать, но, взорвавшись, прогрохотала так, что уши будто оторвало с корнем, такая боль.

— Ну ты, мать, даешь! — прохрипел Альберт. Как только рассеялся дым от взрыва, он увидел, что гранатометчик заряжает новую гранату, вскинул АКМС, три раза стрельнул одиночными, и трассирующая пуля всадилась гранатометчику прямо в голову, тот нажал на курок, граната в клочья разорвала одного из стоящих поблизости моджахедов, отскочила в сторону и взорвалась прямо перед строем духов, идущих в первой цепи, разметав по сторонам человек шесть-семь.

Из правого переднего люка высунулась голова Али-Госалы.

— Что здесь происходит? — спросил бачча.

— Футбол,— сказал Митяшин.— Ты, небось, никогда на стадионе не был. Вон, гляди — чисто, как на стадионе. Мы на трибуне, а там — поле. Только что такой гол был!

— Я не понимаю,— сказал мальчишка.

— Не понимаешь, значит, лезь обратно. Кто тебя звал наружу? Тут такие мячики горячие летают, что мигом башку оторвут.





Карпеня заработал из крупнокалиберного. Видимо, до этого перезаряжал.

— Я кому сказал спрятаться! — крикнул старлей на Али-Госалу, а сам прыгнул за руль, дернул БТР и отвел его в сторонку, чтобы гранатометчики не успели пристреляться.

Вторая атака духов тоже стала захлебываться, покатилась назад. Когда Альберт фуганул в небо еще одну ракету, люди Джагран-Йахуда уже бросились назад. Красные спицы трассирующих пуль жалили их в спины.

Прошло минуты три, и наступило новое затишье. Молчанье ночи лишь обозначалось отсутствием выстрелов. Едва ли можно говорить о тишине после только что утихшего боя — ведь в ушах такой звон стоит, что какая уж тут тишь!

## 35.

Не терпелось посмотреть, сколько людей потерял Джагран-Йахуд в этих двух первых атаках. Прошло двадцать пять минут, а никакого движения на «стадионе» не наблюдалось. Приказав Карпене остаться начеку и в случае чего прикрыть, старлей перебежками спустился на равнину. Уже начинало светать, слой неба над горами побледнел, а лежащие на равнине трупы сделались темнее. Альберт знал, что уйти, оставив своих мертвых, духи не могут, что они где-то рядом, выжидают и что-то затевают. Поэтому, спустившись на равнину, он стал двигаться ползком от одного трупа к другому. У двух он обшарил лифчики и стащил три полных магазина, но вообще говоря, вооружены люди Джагран-Йахуда были не слишком богато. Это хорошо.

— Однако пошерстили мы их, Арни,— прошептал Альберт, совершив примерный подсчет лежащих на равнине трупов. Всех сосчитать было невозможно, тем более что многих духи успели оттащить. Но здесь ему удалось насчитать тринадцать человек, изрешеченных пулями, с искаженными, исковерканными лицами, бледно-синими в сумерках уходящей ночи.

Ему удалось вернуться на БТР незамеченным, на то он был Альберт Митяшин, командир в спецназе.

— Ну чё там? — нетерпеливо поинтересовался Карпеня.

— Если учесть, что они большую часть своих двухсотых оттащили, то человек тридцать они уже потеряли,— ответил старлей, закуривая и пряча огонек в кулаке.

— Познакомили их, значит, со спецназом,— удовлетворенно отметил Карпеня.

— Да, технику безопасности они прошли.

В эту минуту на горе хлопнули несколько выстрелов, и тут же загрохотал новый бой. Вскинув автомат, Альберт вгляделся в даль и увидел, что духи, обойдя гору, напали на засаду Божечко и Сорокина с другой стороны.

— Эх ты! — вырвалось у старлея.— А ведь не дураки!

Он понял, что бойцам там долго не продержаться, приказал Карпене сесть за руль, а сам занял место у прицела пулеметов. БТР бегом спустился на равнину, и отсюде Альберт повел прицельный огонь по духам, которые уже совсем близко к окопавшимся Сорокину и Божечке вели с ними бой. БТР пошел вверх, и в прицел пулеметов Митяшин видел, как несмотря на дождь пуль озверевшие моджахеды накрыли засаду — несколько их добежали до окопа и впрыгнули туда.

— Жми, Славка! Жми! — кричал старлей, но Карпеня и так выжимал полную, БТР скакал, как шлюпка на волнах, приближаясь к захваченному духами окопу. Ничего не видно было, что там в окопе творится. Ряд духов, бегущих в сторону окопа, не успел к нему — огонь с БТРа скосил трех из них, а остальных обратил в бегство. Наконец, БТР дал тормоз около окопа, Митяшин рывком откупорил боковой люк, выкатился из бронепещеры, прокувыркался по земле в бок и затем, низко нагибаясь, добежал до окопа. Там, в окопе, лежали мертвые. Сорокин додушивал последнего моджахеда. Божечко лежал в луже крови с открытыми глазами. Мертвый моджахед лежал на нем, положив Божечке голову на живот, будто слушая, какие там, в животе у бойца, звуки. Еще трое духов, обливаясь кровью, лежали на дне окопа. Сорокин прикончил последнего и обернулся к Митяшину:

— Припозднились, товарищ старший лейтенант. Мы с Витюхой уже управились.

— Ни хрена вы еще не управились. Хватай свой АКС и живо на броню! Нет! Внутрь, за пулеметы! И без дебатов!

— Есть!

Сорокин подчинился командиру и нырнул в БТР. Он был пьян от боя и долбанулся лбом о броню, когда прыгал в люк БТРа.

— От чмошник! — подосадовал на него старлей.— Карпеня! Давай за руль! У нас одна минута, чтобы перепрыгнуть через горочку и застать братьев-мусульман врасплох.

Сам он, Альберт, вскарабкался на броню, устроился, лежа на животе, за башней. Сумерки светлели, и видно было, как идет пар от кипящих стволов башенных пулеметов. БТР скакнул через окоп и понесся вправо на гору. Альберт чуял, что сейчас будет попадание в десятку, и точно — как только БТР перекатился через гору, в пятидесяти метрах от себя Альберт и сидящие в БТРе увидели духов, идущих в обход горы, духов, удобно повернутых спиной к своим врагам.

— Огонь! — закричал Альберт, но Сорокин из БТРа, опережая на сотую долю секунды крик своего командира, уже заработал из малого пулемета, и Альберту оставалось лишь последовать его примеру. Впрочем, пули Сорокина дали первой очередью сильный недолет, тогда как АКМС Митяшина бил без промаха, и, покуда Сорокин уточнял наводку, Альберт успел короткими очередями прижучить троих. Остальные, человек десять, залегли, отстреливаясь, но пули не долетали до БТРа, стрелять духам снизу было очень невыгодно. Сорокин поставил правильный прицел и солидной очередью из крупнокалиберного опрокинул навзничь двоих из лежащих и отстреливающихся моджахедов. Карпеня дал ходу, БТР ринулся вниз на врагов, духи не выдержали, вскочили, побежали прочь. Двое из них остановились с поднятыми руками, но Митяшин в пылу атаки срубил их из автомата. Остальные, бегущие прочь в панике, тоже все до единого были уложены шквальным огнем из двух крупнокалиберных стволов — пулемета и автомата. БТР остановился, Митяшин крикнул бачче, чтобы тот вылез наружу, а сам спрыгнул и стал перебегать от одного духа к другому, ища живых. Наконец, перевернув одного, он увидел открытые в ужасе глаза и трясущееся лицо.

— Али! Где ты? — крикнул Альберт.

Бачча подбежал.

— Спроси его, сколько у Йахуда осталось людей.

Али-Госала перевел перепуганному до смерти моджахеду вопрос Митяшина. Тот, заикаясь, пробормотал ответ.

— Он говорит, что за ночь они потеряли тридцать пять человек.

— Отлично,— сказал Митяшин и двумя быстрыми выстрелами прострелил духу обе руки. Дух заверещал от боли и стал кататься по земле.

— На бэтэр! Живо! — крикнул старлей, они с Али-Госалой бегом вернулись не БТР, Карпеня тронул и помчал машину вокруг горы, именно так, как шел отряд моджахедов, только что уничтоженный. Подъехав к окопу, из которого отстреливались Сорокин и Божечко, увидели с десяток трупов, рассыпанных на подступах к этому недавнему огневому рубежу. Остановились, собрали оружие и боеприпасы убитых духов, среди всего — РПГ с двумя гранатами, которые моджахед не успел использовать.

Божечко так и лежал в окопе с открытыми, только уже притухшими глазами, а дух все так же слушал, что у него в животе. Альберт закрыл Божечке глаза, поднял легкое и невеликое тело, аккуратно выудив его из-под трупа моджахеда, который даже и не заметил пропажи, приник ухом к земле и стал слушать, что там у земли в животе, какие звуки, какие слова раздаются в чреве планеты Афган.

### 36.

— Никак сам Джагран-Йахуд пожаловал. — Альберт, щурясь от ярких лучей восходящего солнца, смотрел в ту сторону, откуда оно поднималось, и разглядывал приближающегося противника. Очевидно, Джагран-Йахуд решился на отчаянный бой — впереди медленно тащился БТР (починили, значит), за ним — две «тойоты» в окружении нескольких десятков пеших аскаров.

Старлей и Али-Госала сидели в окопе, где погиб Божечко. Рядом стоял БТР, в нем находился Карпеня. В двухстах метрах окопались Щукин с Сорокиным. Мамеддиев держал оборону в кишлаке. Там, в доме старика Сеид-Шарифа, спали мертвым сном Исабаев, Петряков и Божечко.





— Я не вижу там Джагран-Иахуда,— сказал Али-Госала.— Он послал своих последних людей, а сам остался в Роз-э-Шанбе. Трусливый шакал!

С духовского БТРа раздался выстрел, граната взорвалась метрах в тридцати от окопа.

— Мы не виноваты,— сказал Митяшин.— Они первые начали, так и в милиции скажем.

Он взял трофейный РПГ, прицелился. Духовский БТР притормозил, и духи стали спрыгивать с брони.

— Не спешите,— сказал им старлей и нажал на спуск. Граната весело полетела в цель. Но зря веселилась — чиркнув по броне возле самой башни, она лишь сбила одного не успевшего спрыгнуть моджахеда, оторвала ему ногу и, отлетев еще метров на пятнадцать, взорвалась совершенно без пользы, не задев более никого, только оглушив и напугав.

— Вот дуреха! — ругнул ее Митяшин и принялся вставлять вторую гранату. Бой тем временем стал разгораться. Духи — человек сорок, не больше — быстро бежали в атаку по направлению к окопу Митяшина и БТРу. Некоторые из них уже начали стрелять, но пули пока не долетали. Тут заговорила огневая точка Сорокина и Щукина, и несколько духов рухнули, словно подкошенные, в одно мгновенье. Другие залегли и продолжали двигаться перебежками. Их БТР резко повернул вправо и устремился к окопу Сорокина и Щукина. Это был устаревший бэтэр, даже не семидесятка,— 60 ПБ. Альберту на мгновенье аж жалко сделалось:

— Что же так слабенько-то, Джагран-Йахуд? — сказал он, но жалость не помешала азарту, с каким он почувствовал, что сейчас уничтожит эту боевую единицу противника.

— Принеси-ка мне, Али, вон тот пенальчик,— попросил он баччу, отложив в сторону трофейный РПГ. Бачча подал ему «муху», в две секунды Альберт вскинул ее на плечо, откупорил переднюю и заднюю крышки, прицелился и, не раздумывая более, нажал на курок. Железный кулак выстрела ударил Альберту в ухо, оглушил, но радость вмиг затмила головную боль — «муха» четко впилась в бок БТРа, туда, где еще виднелся номер, советский номер машины — 443. БТР вздрогнул и лег на правый бок, показав Альберту брюхо.

— Зашибись! — весело воскликнул Альберт, поворачиваясь к Али-Госале. Бачча лежал на дне окопа, обхватив голову руками и катался по земле, стоная и скрежеща зубами:

— Шайтан! Чекадар дард, о шайтан!

— Ах ты! — с досадой сказал Альберт и кинулся к бачче.— Дурак же я! Прости, бачча, прости, маленький!

Выстрел «мухи» так оглушил несчастного Али-Госалу, что из левого уха у него цыкнули две-три капли крови. Стоило труда кое-как привести его в чувство. Наконец, Альберт снова занял свою позицию в окопе и увидел, что духи уже совсем близко. Карпеня обстреливал их из БТРа, но они, гады, все подбирались и подбирались. Еще он увидел, что огневой точки Сорокина и Щукина больше не существует, что духи уже там. Сердце у него сжалось от горя, наполнилось ненавистью и уверенностью, что теперь уж точно не будет духам пощады от него, старшего лейтенанта Митяшина. Он вскинул свой АКМС и взглянул на Али-Госалу. Тот уже сидел на дне окопа и улыбался.

— Аллех акбар, бачча! — подмигнул ему Митяшин.

— Воистину акбар, Джанрал-Альберт! — отвечал Али-Госала.

Альберт прицелился в одного духа, выстрелил — убил. Прицелился в другого, выстрелил — убил. Прицелился в третьего, выстрелил — убил. Прицелился в четвертого, выстрелил — убил.

— Не хреново,— сказал он, переводя дыхание. Карпеня заработал из крупнокалиберного. Из кишлака доносились очереди АКСа Мамеддиева. Жив, значит, Фархадушка!

И эта атака моджахедов задохнулась. Последние пули просвистели над окопом, чиркнули на броне БТРа, и вот — оставшиеся в живых двенадцать или четырнадцать духов стали отступать, осознав, что если они даже прорвутся к кишлаку, то в сам кишлак ни один из них живым не войдет. Одна из «тойот» догорала уже, разбитая вдрызг Карпеней из крупнокалиберного. Другая дерзостно выкатилась из-за пере-

вернутого набок БТРа, и добежавшие семь или восемь духов успели впрыгнуть в нее. «Тойота» развернулась и понеслась прочь.

— Врешь, не уйдешь, как говорил Василий Иванович! — сказал Альберт, поднимая РПГ.

— Бачча! В бэтэр! — крикнул он Али-Госале. Тот затряс головой и сильно прижал ладони к ушам, показывая Альберту — он останется с ним, что бы ни случилось.

— Ну смотри, после не шайтаны! — сказал Митяшин, вскинул РПГ и с первого же прицела выстрелил. Граната в одну секунду догнала «тойоту», нырнула ей в кузов, словно запоздавший пассажир, и в следующее мгновение выразила всю свою сущность в ярко вспыхнувшем, приплюснутым к земле взрывом, в щепки разнесшим и машину, и всех, кто в ней находился.

— Ну что ж,— сказал Альберт,— теперь в гости к Йахуду?

## 37.

Через десять минут, отвезя в кишлак к Сеид-Шарифу еще два груза 200 и захватив с собой Мамеддиева и еще какого-то паренька по имени Хусейн, отправились в селение Роз-э-Шанбе, в гости к Джагран-Йахуду. Мертвые лица Сорокина и Щукина, Божечки и Петрякова, Исабаева и многих других, погибших раньше и виденных Альбертом, смотрели на Митяшина с утреннего афганского неба спокойно и уверенно — он сделает свое дело.

— Мы сейчас поговорим с этим Йахудом, Арни,— говорил вполголоса Альберт, разговаривая со Шварценегером.— У нас есть несколько вопросов, которые стоит задать этому душку.

Голова сильно болела, но эта боль была уже как нечто данное, может быть, даже нужное что-то, раздражитель, не дающий расслабиться ни на минуту. Шлемофон снова работал, но как-то странно — это уже был вовсе не шлемофон, а магнитофончик-плейер, в наушники которого пел приятный голос:

Чем дольше расставанье,
Тем жарче будут встречи.
О том, что не вернусь и,
Не может быть и речи.
О том, что не вернусь и,
Не может быть и речи.

Выехали на бетонку. Вдалеке увидели колонну и решили подождать, пока она подъедет. Колонна оказалась очень большой — штук двадцать КамАЗов, десять БТРов, десять БМПешек и две БРДМки. Остановили головной БТР. С брони спрыгнул майор, Альберт подошел к нему, отдал честь и отрапортовал:

— Группа специального назначения выполняет боевое задание по уничтожению душманской банды Джагран-Йахуда. Командир группы — старший лейтенант Митяшин.

— Вольно,— сказал майор.— Ну как, командир, удалось пошерстить душков?

— Да пошерстили, товарищ майор. Малость познакомили со спецназом,— отвечал Альберт.

— Потери есть?

— Есть несколько двухсотых, товарищ майор. На то и война.

— Понятно. А что БТР у вас без колеса?

— В аварию попали. Едва из Кабульска выбрались, с БМПешкой поцеловались. Осмелюсь спросить, товарищ майор, куда колонна ваша двигается?

— Половина до Кандагара, другая половина дальше, до Ложкаревки [1].

— Опять, значит, туда.

— Не опять, а снова-здорово. Новую республику образуем,— ошарашил неслыханной новостью майор.— Джамахерия Шуравия будет называться. Понятно?

— Не совсем. В общих чертах пока что,— отвечал Митяшин.

— А что тут непонятного,— зло усмехнулся майор.— Союз Советских Социалистических Республик от нас отказался. Мы, говорят, вас в Афган не посылали, вот и сидите в своем Афгане вонючем, а нам вы на хрен не нужны.

[1] Так в своих разговорах шурави называли город Лашкаргах в провинции Гильменд (прим. автора).





— Не может быть! — вырвалось у Митяшина.— А как же вывод войск? Что же это?

— Вот тебе и вывод войск. Полезли на Саланг, а нас оттуда с вертолетов как пошли жучить.

— Кто?

— В кожаном пальто! Советская авиация. В Москве — новое правительство. Совсем вы тут со своим спецназом замшели. Социал-демократы к власти пришли и признали, что это не они ведут позорную войну в Афганистане.

— А кто же?

— А мы с тобой, старлейчик, вот кто! Так что никакого вывода войск не будет. Всякий находящийся в данный момент на территории Афгана лишен советского гражданства. Из Кабула нас тоже поперли. Наджибулла выделил нам на полгода небольшой кусок, а дальше, говорит, куда хотите, туда и утрёхивайтесь. Но ни хрена! Если мы там окопаемся, нас потом черта-с-два выпихнешь.

— И что же? — продолжал расспрашивать Митяшин. Совсем маленький кусок нам этот гад отрезал?

— Две провинции — Гильменд и Кандагар.

— А Шинданд?

— Шиндандский аэродром тоже временно за нами оставлен.

— Ну дела!

— Вот тебе и дела. Нам с тобой еще повезло, а рассказывают, будто там, в Союзе, всех, кто через Афган прошел, объявили преступниками, врагами афганского народа и наркоманами-убийцами, всех арестовывают и отдают под трибунал.

— Ничего себе! И что, прямо новую республику образовали?

— Говорю тебе! Столица, естественно, Кандагар. Президентом назначен генерал-полковник Бородинцев.

— Как?! Так сразу — генерал-полковник? Он же майором был!

— Его выбрали. Сразу и звание повысили. А премьер-министр — генерал-лейтенант Старовойт.

— А в Москве кто теперь генеральный?

— Какой-то Розенбаум.

— Не певец ли?

— Нет, кажется, родственник.

— Понятно.

— Ну ладно, старлей. Хватит нам тут перекур устраивать. Пристраивайся со своим бэтэром к нашей колонне.

— Не могу, товарищ майор, я должен задание выполнить, добить Джагран-Йахуда.

— Ясно. В помощь тебе дать кого-нибудь?

— Не нужно. Там духов-то осталось всего ничего.

— А двухсотые твои где?

— В бэтэре.

— Может, нам забрать их?

— Не нужно. Пусть при мне будут. Как в песне поется: «Наши мертвые нас не оставят в беде».

Распростившись с майором, Альберт вернулся на броню и ничего не сказал бойцам о том, что слышал. Колонна двинулась дальше по бетонке, а заблудившийся БТР поехал в перпендикулярном ей направлении. До Роз-э-Шанбе оставалось не более пяти километров.

## 38.

Минут через десять подъехали к большому кишлаку.

— Бачча! Это что ли твой Роз-э-Шанбе? — спросил Альберт.

— Да, это он. Это Роз-э-Шанбе. Место, где надо убить Джагран-Йахуда.

Они обстреляли кишлак по всем правилам. С той стороны никакого ответа не последовало.

— Затаились, гады,— сказал Альберт.

Взяв с собой Мамеддиева и Хусейна, Митяшин спрыгнул с брони возле самых ворот кишлака. Отворив ворота, бросил гранату, затем, услышав взрыв, вбежал

внутрь, кувыркнулся в сторону, стреляя на лету, лег, затаился. Мамеддиев последовал его примеру. Хусейн вбежал в кишлак третьим, нелепо метнулся вправо-влево, подвергая себя опасности. Наконец, тоже залег. Кишлак был пуст. Или, во всяком случае, так казалось.

Стали перебегать от дувала к дувалу, но никто и нигде им не встретился, не открыл по ним огонь.

— Эй, Джагран-Йахуд! — закричал наконец Альберт. — Ты что, сгинул? Эй, выходи на бой с Джанрал-Альбертом!

Они уже обежали все дувалы, но нигде не обнаружили людей, и теперь стояли в самом центре кишлака Роз-э-Шанбе, осматриваясь по сторонам.

И тут прозвучал выстрел. Хусейн, обливаясь кровью, хлещущей у него из-под уха, с предсмертным хрипом повалился на землю. Альберт обернулся на звук выстрела и успел увидеть мелькнувшую за стеной бородатую рожу. Он уже запомнил устройство кишлака и знал, куда нужно бежать, чтобы перехватить духа. Мамеддиев бежал рядом с ним.

— Ай, товарищ старш... э! — вдруг захрипел он сзади, и Альберт осознал, что теперь выстрел прозвучал за их спиной. Он, падая, развернулся на 180 градусов и дал короткую очередь. Он увидел, как тот же самый дух, который убил Хусейна, схватился за плечо, из плеча хлынула кровь, и дух спрятался за дувалом. Мамеддиев лежал на земле с открытыми глазами и оскаленным ртом. Альберт подполз к нему. Он был мертв.

Началась погоня за ускользающим врагом. Время от времени то справа, то слева, то сзади раздавались выстрелы. Одна пуля попала в грудь Альберту, но лежащие в лифчике автоматные рожки отразили ее. Лишь голова заболела сильнее прежнего.

— Ничего, Арни, сейчас мы его примем в комсомол,— в ответ на это сказал Альберт.

39.

Этот бой, томительный, изнуряющий, длился не меньше часа. И Джагран-Йахуд сдался. Он перестал стрелять, затаился где-то. Видимо, рана в плече кровоточила. Или патроны кончились. Перебираясь из дувала в дувал, Альберт уже не чувствовал, что на него наставлено дуло автомата. Но найти главаря моджахедов было необходимо.

Вдруг внимание Альберта привлек колодец. Он там! — подсказало чутье. Старлей подполз к колодцу, достал из лифчика последнюю фомку, выдернул запал и бросил лимонку в колодец. Некоторое время было тихо. Затем раздался взрыв, и из нутра колодца выбросило целый столб воды и в этом столбе — какую-то полосатую желто-красную тряпку, завязанную узлом. Когда тряпка приземлилась неподалеку от Альберта, он увидел, что это вовсе не тряпка, а окровавленная человеческая ступня. Заглянув в колодец, Альберт разглядел розовые кровавые струи, стекающие по глиняным стенам.

И Шварценегер тоже подошел к колодцу и заглянул в него, прижавшись своим крутым плечом к крутому плечу Альберта Митяшина.

— Арни! — воскликнул Альберт радостно.— Это ты! Как ты тут оказался?

— Я пришел помочь тебе,— ответил Шварценегер с сильным американским акцентом.— Мне показалось, будто би Джагран-Йахуд может тебья убить. Но я ошибилсэ. Ты настоящий командо, Альби!

И Али-Госала подошел к ним, неся с собой чудесный кувшин. Он взял оторванную человеческую ступню и, показывая на какой-то знак, нарисованный на пятке этой ступни, сказал:

— Да, это был Джагран-Йахуд. Нет никакого сомнения.

Альберт пытался различить, что там за знак, но в глазах у него все расплывалось от сильной головной боли. Не то обнявшиеся змеи, не то рукопожатье было изображено на знаке Джагран-Йахуда.

— Теперь мы можем произнести имя чудесного сосуда,— сказал Али-Госала.— Повторяйте за мной. Приготовились? Итак:

КОЗА МАР-МЕСИ КАБИР МО'АЛЛЕМ УА БАДАР ЭСРА'ИЛ.

— Коза Мар-Меси Кабир Мо'аллем уа Бадар Эсра'ил,— повторили Альберт и Арнольд слово в слово за Али-Госалой.





Вмиг исчезла головная боль. Затем Альберт почувствовал, как все тело его наливается необычайным блаженством. Легкостью и в то же время могучей силою. Мышцы его надулись, выросли в три раза и окаменели, налились тугим соком.

И он почувствовал в себе душу.

Душа его светилась глубоко в груди, теплый свет ее струился по всему телу.

И он почувствовал, что глаза его светятся.

И он увидел, как оживает волшебный кувшин, как он растет, как появляются руки и ноги, как он превращается в чудесную девушку невиданной красоты.

Она встала напротив них, восточная красавица. Медная, но живая.

— Вы звали меня? — спросила она таким голосом, каким спрашивают проснувшиеся капризные дети.

— Да, Мар-Меси, мы звали тебя,— отвечал Али-Госала.— Мы пришли, чтобы победить тебя. Перед тобою стоит Джанрал-Альберт Кауи-Шер-Руси. Трепещи же, Медный Змий!

Медная красавица расхохоталась. Голос ее был звонкий, но смех не веселый, а страшный, и в то же время манящий, сумасбродный, распутный. Мар-Меси приблизилась к Альберту, глаза ее горячо горели, дыхание коснулось лица Альберта и взволновало его.

— Берегись, Джанрал-Альберт! — закричал Али-Госала.— Если ты поддашься ее чарам, ты погиб!

— Не слушай его,— молвила Мар-Меси.— Я могу сделать тебя самым счастливым человеком на всей планете Афган. Редкий удостаивается моей любви. Ты нравишься мне, молодой русский лев, я подарю тебе свое чудесное тело.

Она обняла Альберта всей своей горячею медью, обвила его, и все внутри у него захолонуло, голова слегка закружилась от любовного томления... Но душа! Душа его светилась. Она затрепетала, забила тревогу. Он собрал все свои силы и оттолкнул от себя Мар-Меси.

— Прочь от меня, медная гиена! — крикнул он, храбрясь перед страшной и неведомой силой, ожившей и восставшей пред ним.

Мар-Меси оскалилась и зарычала, медь ее запылала, как раскаленная на огне, из волос сделались змеи, извивающиеся и цапающие вокруг себя воздух.

— Ах ты, неблагодарная тварь! — зашипела раскаленная медь.— Ах ты, глупая гора мышц! Ни крошки, ни капельки не останется от тебя на этом свете!

Лицо ее стало ужасным, черным, змеиным, похожим на оскал черепа, обнаженные груди заострились, языки пламени вспыхнули на сосцах, и кончики пальцев тоже вспыхнули адским огнем.

С яростным ревом бросилась Мар-Меси на Альберта, и еле-еле он успел прыгнуть в сторону, прокатиться кувырком по земле. Медное пламя лишь опалило ему волосы — будто мина, пролетела Мар-Меси рядом. Едва он вскочил на ноги, как она снова бросилась на него. Арнольд Шварценегер кинулся ей наперерез, она ударилась об него, повалилась вместе с ним на землю и в несколько секунд превратила прекрасное тело супермена в обугленную головешку.

В этот миг заблудившийся БТР ворвался в кишлак. Выжимая все свои 86,8 километров в час, он устремился на помощь своему командиру. Мертвые Щукин, Сорокин, Божечко, Петряков и Исабаев вели его, а Карпеня стоял на броне, размахивая гирей.

— Старлей, держи! — крикнул он и бросил гирю Альберту.

Альберт поймал ее. Медное чудовище завопило яростным криком, чуя свою близкую погибель, и бросилось скорее на Альберта. Он же, размахнувшись тяжелой своею гирею, успел швырнуть ее прямо в грудь Мар-Меси, туда, где билось ее адское сердце. Раздался оглушительный взрыв, от которого вмиг сразу заболела голова. Мар-Меси рассыпалась по небу тысячами горящих углей, будто салют в Москве на праздник Победы. Альберт потерял сознание.

40.

Альберт потерял сознание. Ему привиделось чудесное виденье, будто он лежит где-то на койке, а над ним склоняется лицо Исабаева и спрашивает что-то, только

Альберт не может понять, что. Исабаев! Жылыкун, миленький, живой! Альберт хочет спросить его, правда ли, что он живой, но не может, нет сил открыть рот и шевельнуть языком...

41.

Он очнулся. Он сидел на броне, а БТР стоял под Мухамедкой возле разрушенного дувала. Ржавая раскоряченная железяка будто злобный зверь смотрела на него. Флаг афганской революции заменял ей хвост.

— Это все, что осталось от Мар-Меси,— сказал Карпеня.

— Понял,— весело ответил Альберт.— А где Али?

— Он там ждет нас, на стоянке. Ну что, поедем, товарищ стерший лейтенант?

— А наша хромоножка на полном ходу?

— А что ей сделается? Бэтра, она и есть бэтра.

— Ну тогда заводи и поехали!

— Слушаюсь!

Карпеня прыгнул в люк водителя, заблудившийся БТР проснулся и поехал.

Они поехали вверх, в гору, объезжая Мухамедку, все больше приближаясь к месту заветной стоянки, где их ждал обед — блинцы из галет, шашлык из тушёнки и многое другое, такое же невероятно вкусное.

Долго они объезжали эту гору Мухамедку, чтобы радостные предчувствия копились в душе и копились, готовые разорвать грудную клетку. Хромоножка БТР ревел, давая 70, а то и 75 километров в час, но подножье горы так и не кончалось, медленно поворачиваясь.

Вдруг дорога свернула круто, БТР объехал высокую скалу, и взору Альберта открылось необычайное грандиозное зрелище — их стоянка на Мухамедке, между двух застав. Как она была великолепна! Огромное пространство ее занимал величественный дворец. Поначалу Альберту показалось, что он похож на дворец Амина. Но куда там дворцу Амина! Это был колосс о тысяче башен и куполов, зубчатые высокие стены окружали его, купола сверкали на солнце золотом и майоликой, а на каждой башне в честь возвращения заблудившегося БТРа были зажжены сигнальные дымы семых разных цветов — ослепительно-белые, будто белоснежные, ярко-желтые, лимонные, охряные, кроваво-красные, кирпичные, сапфировые, изумрудно-зеленые, оранжевые и кирпичные, даже золотистые. Все они аккуратно устремлялись в небо, не смешиваясь друг с другом, образуя в небе пышный полосатый ковер.

— Небось Щукин расстарался! Ну я ему задам! — возмутился Митяшин, но понарошку, без злобы.

По мере приближения к дворцу, все больше захватывало дух от грандиозности этого сооружения.

Наконец подъехали к воротам. У ворот висело знамя трех цветов — верхняя полоса бархатная черная, чернее ночи; средняя — золотая, солнцетканая; нижняя — серебряная, самая яркая, ослепительная. Под знаменем вывеска:

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ШУРАВИЙСКОЕ ЦАРСТВО!

Ворота открылись, БТР въехал внутрь.

— Сюда! Сюда! — выскочили с криками Божечко и Сорокин. И многие другие тут стали подбегать, указывая дорогу, по которой следовало ехать БТРу. И эта дорога вела на постамент. Высоченный такой постамент. Заблудившийся БТР въехал на него, звехал на самый верх постамента и остановился там, будто Т-тридцатьчетверка в городах Советского Союза.

— Кажись, приехали, Карпеня, вылезай!

— Вы уж вылезайте, товарищ старший лейтенант, а я тут останусь. Устал я дюже, хочу поспать часика три хотя бы,— отвечал Карпеня.

— Ну, как хочешь, а я пошел отдыхать в нормальные условия.

Старлей Митяшин спрыгнул с брони заблудившегося БТРа и по боковой лесенке спустился вниз с постамента, на котором попутно он разглядел надпись:

ПЕРЕВАЛ САЛАНГ
НА ЕГО ВЕРШИНЕ НАВЕКИ ЗАСТЫЛ ГРОЗНЫЙ БТР
СТАРШЕГО ЛЕЙТЕНАНТА АЛЬБЕРТА МИТЯШИНА, № 854





— Ишь ты! — заскромничал Альберт.— Будто наш бэтэр один такой на всю Афганию.

Он спустился вниз, где его встречали Божечко, Сорокин, Исабаев, Петряков и многие другие. Подняли на руки, три раза покачали, высоко подбрасывая в небо.

— Ну что, Альбертино,— сказал Исабаев.— Пойдем теперь в баню.

И они пошли в баню, и парились там до умопомрачения, пиво пили холодное. Там, в бане, повстречали Сафармамедова. Альберт его спросил:

— Ты что это, Магома, так и не доехал до Союза?

— Какой тебе Союз,— отвечал Сафармамедов, смеясь.— Это тут теперь Союз, хорошо, мир, благодать Божья. А там знаешь, чего творится? Э! Шайтан не разберет, что там теперь творится! Друг друга стреляет, брат брата стреляет, отец сына стреляет, сын отца и то стреляет! Шайтан радуется. Коммунистов бьют, русских бьют, верующих бьют, неверующих тоже бьют. Все горит, все города горят, даже реки и те горят. В Москве теперь два Кремля сделалось и друг по другу стреляют эрэсками. Скоро еще третий Кремль там будет. Мавзолей штурмовали, а чучело, то есть мумия Ленина, исчезло неизвестно где. Ищут по всей Москве — нету, ищут по всему Советскому Союзу — нету. А его, оказывается, американцы за двести тысяч долларов уже перекупили.

— Маловато что-то,— усомнился Альберт.

— Больше не давали.

— А кто там теперь генеральный?

— Какой-то Розеншамб.

— Розенбаум?

— Нет, говорю же: Розеншамб. Такая фамилия его.

После баньки пошли обедать в самый главный ресторан Шуравийского Царства. Подходят, Альберт смотрит — мать честная! Ведь это же его любимая чебуречная, которая в Оренбурге! Ну класс! Входят туда внутрь, а там — кого только нет! И все рожи родные, знакомые, приятные.

Сажают за стол. Пожалуйста — любые блюда Афганистана: хотите блинов из галет со сгущенкой? хотите шашлык из тушёнки? хотите картофель «Мухамед-Дага»? хотите спирта чистого и «Сиси» для запивки? а не хотите спирта,— можем предложить вам оренбургскую матрадуру. Вон, кстати, ваш папаша сидит и в шахматы дуется.

— Где папаша? — вскакивает Альберт, бежит мимо столиков, его стыдят: «Мы тут Третий пьем, а ты разбегался!» Он извиняется, пьет вместе со всеми Третий тост — за тех, кто никогда не вернется и не приедет погостить. Закусывают зеленым луком, сочным, хрустящим. Горьким, как этот Третий тост.

Наконец он видит своего отца, Ивана Митяшина, который сидит за шахматами и играет с кем бы вы думали — с обезьяной! Обезьяна старая, лысая, на ней фрак надет, галстук-бабочка. Она делает ход и ковыряет в носу. Отец всклокочен, он проигрывает, ему грозит мат, он вскакивает и кричит:

— Ничья! Ничья!

Обезьяна возмущена, пытается доказать, что никакая не ничья, а чистый мат, но тут отец видит Альберта и хватается за него, как за спасительную соломинку:

— Да шут с тобой, образина чертова! Вон сын мой вернулся с войны! Альбертушка! Живой! Невредимый!

Он бросается к Альберту, тормошит его, тискает, щекочет. Альберту неловко, что он так щекотки боится, он пытается отбиваться от отца, хочет как-то сбить отца с толку и вспоминает про фотографии. Достает целую стопку их, показывает отцу:

— Вот я с друзьями в Кандагаре. Это — Витька Румянцев, хороший был парень, погиб в восемьдесят седьмом под Ложкаревкой. Это — Славка Карпеня, он сейчас в бэтэре остался спать, устал очень. У нас тут в последние дни такие, пап, заварухи были, что не приведи Господь!

— Ой, ой-ой! Тоже мне бравый солдат Швейк выискался! — морщится отец — ему завидно, что сын был на войне, а он ни разу.

— Ты че, пап, не веришь, что ли? А вот я на ишаке. А тут еще не верблюде есть где-то... Вот! Вот она! Видишь, это я на душманском верблюде, пап, еду. А это, пап, невеста моя, она в Газнях в столовой работала. Правильнее, конечно, не «в Газнях», а «в Газни», но ребята так говорят обычно — «в Газнях». Я когда

в Газни летал из Кандагара, с ней там познакомился. Только что-то не помню, чтобы мы с ней фотографировались.

— Это не она ли? — спрашивает отец, указывая на красивую девушку, которая поднимается на сцену, где музыкальные инструменты и колонки усилителей.

— Нет, не она,— отвечает Альберт, рассмотрев девушку.— Хотя очень похожа. Погоди-ка, может, и впрямь — она?

— Да нет же! — говорит оказавшийся в эту минуту рядом Петряков.— Это Ира моя, повариха. Помните, товарищ старший лейтенант?

— Как Ира! Не может быть! Та же была стра...

Альберт осекается, узнавая в красивой девушке повариху Иру, только какую-то необыкновенным образом прекрасную, обновленную.

— Прошу внимания! — объявляет Ира.— Сейчас состоится концерт оренбургского казачьего хора.

— Тоже неплохо,— радуется Митяшин.— Он хоть и не «битлз», а послушать приятно.

Вдруг появляется майор Баталов, пьяный, развратный.

— Эй ты! — кричит он поварихе Ире.— Баба Яга! Ты чего это на сцену залезла! Не положено!

— Для вас я, может быть, и баба Яга,— спокойно отвечает повариха Ира,— а для всех шурави я — Василиса Прекрасная.

— Ну чисто как в том анекдоте! — смеется Альберт.

На сцену поднимается оренбурский казачий хор. Все одеты с иголочки — в новеньких «песочках», на головах фуражки с противопыльными очками, на ногах — кроссовки «адидас», подарок комсомола. Они начинают петь любимую отцову песню:

Пчелочка златая,
что же ты журжишь?
Пчелочка златая,
что же ты журжишь журжишь?
Жаль-жаль, жалко мне —
Что же ты журжишь?

В это время появляется Али-Госала. На него никто не обращает внимания. Он проходит мимо столиков, приближается к Альберту. Подходит:

— Джанрал-Альберт,— говорит бачча,— тебе не стыдно тут прохлаждаться?

— А в чем дело,— пожимает плечами Митяшин.— Война-то вроде бы кончилась.

— Не ожидал я от тебя такого,— говорит Али-Госала, и в это мгновение Альберта обжигает страшная и невыносимая мысль о том, что ничего не кончилось, что все ещё только начинается...

## 42.

Альберт зашевелился и снова открыл глаза. На сей раз во взгляде его появилось что-то осмысленное. Он тревожно вглядывался в лицо Жылыкуна Исабаева и ждал, что ему скажут.

— Альберт! Альберт, ты слышишь меня? — обратился к нему Жылыкун.

Митяшин пошевелил губами, беззвучно говоря: «Слышу», и тут же повторил, но уже со звуком:

— Слышу.

— Ты узнаешь меня?

— Да, Жылыкун. Ты жив? — отвечал Альберт вялыми губами.

— Я-то жив, а вот ты — жив? — чуть не пустив слезу, улыбнулся Исабаев.

— Жив,— всерьез ответил Митяшин.— Где мы?

— Ты ничего не помнишь? Мы в Кабуле.

— В Кабуле?

— Да, в госпитале. Ты не помнишь, что случилось?

Альберт стал мучительно, сквозь страшную головную боль вспоминать все, что ему недавно виделось, но ничего не мог вспомнить и сказал:

— Нет.





— Мы на итальянку напоролись. Помнишь разрушенный дувал под Мухамедкой? Там еще железяка такая ржавая была.

— Железяка?

— Ну да. Как мы на верблюдах фотографировались, помнишь?

Альберт напрягал живую память, но не мог вспомнить, как фотографировались на верблюдах. Однако, чтобы не мучиться и не мучить Жылыкуна, сказал:

— Помню.

— Так вот, когда на Мухамедку возвращались, тут на итальянку как раз и напоролись.

— Погибли? — спросил Альберт. Исабаев некоторое время молчал, затем вымолвил:

— Карпеня. Остальные живы остались, всех контузило, я вот руку сломал, ногу вывихнул, Сорока башку об камень разбил, но не очень сильно. А с тобой что — до сих пор не знали, выживешь ты или нет. Но врачи говорят — выживешь. У тебя контузия сильная и позвоночник сломан, но врачи сказали, что ты — лев, ты выживешь и еще повоюешь. Во всяком случае, скоро в Союзе с оренбургскими душманами воевать будешь. Слышишь, чего говорю?

— Слышу,— ответил Альберт, и тут его сознание осветилось несколькими вспышками: стоянка у Мухамедки, ржавая железяка, выцветший флаг афганской революции, тошнотворно поплывший на сторону гористый горизонт...— Значит, после того, как мы на верблюдах, мы — того? На мину наехали?

— Ну я ж тебе про что толкую,— ответил Жылыкун.

— Понял,— прошептал Альберт. Его мысль наконец достигла осознания того, что не было ни каравана, ни боев, ни живого Али-Госалы, ни Джагран-Йахуда, ни Роз-э-Шамбе, ни Медного Змия Мар-Меси, ни Шуравийского Царства. Он с мучительной болью в голове осознал, что весь этот кусок его жизни — всего лишь бред, что без всякого боя в этот последний выход они просто подорвались на мине и навсегда потеряли Карпеню. На большее сил его уже не хватило, и Альберт снова поплыл в забытьи.

Исабаев, радуясь, что Митяшин ожил, без умолку говорил:

— Ты не шевелись только. Ты сейчас в гипсе весь, не пугайся. Главное, что ты жив. Ты должен жить. И Карпеня должен был жить, да вот, понимаешь ты. И как он не почуял, ведь у него же чутье было на мины. Да еще вот что — Шишов-то! Ну этот, который все стишки переписывал в тетрадочку. На фомке подорвался. Они на стрельбы пошли, а у Леонова бинт на руке, он фомку бросил, а она за бинт зацепилась и на два метра только отлетела. Прямо под ноги этому Шишову. Ты его на войну не взял, а его война на стрельбах поймала. Все кишки выворотило наизнанку. Леонова только царапнуло, а этому весь живот раскурочило. Тут же лежит, неподалеку, в трех палатах отсюда. Неизвестно, выживет или нет. Так-то все, вроде бы, зашили, а будет жить или нет, неизвестно. А Карпеню уже в Союз отправили. Где еще такого водителя найдешь? Да вообще он мировой парень был, Славка Карпеня. А Старовойт нам тут с Сорокой шахматы принес. Сорока спит сейчас. Мы с ним в шахматы часа три резались. Ему только на пользу пошло, что он башкой об камень дербанулся — в шахматы стал играть, как зверь. Мы с ним пять партий сыграли, и я ничего не мог сделать, одну партию только вничью свел, а остальные продул. А ведь у меня второй разряд был.

## 43.

Жылыкун Исабаев продолжал что-то рассказывать, но Альберт Митяшин уже не слышал его. Он снова сидел на броне БТРа, Карпеня гнал чуть ли не под 80 по бетонке, ветер бил в лицо, веселый, радостный ветер. Рядом на броне сидел Охломон, черноглазый, живехонький. Мимо неслись афганские горы, вставало утреннее, пока еще нежное солнце. Вдоль бетонки бежала рыжая лиса, и Альберт, смеясь, разглядывал ее. Ему незачем было стрелять в нее. Он с удовольствием сидел на броне БТРа и ехал брать караван.

*Май—июнь, 1990,*



# ПОЭЗИЯ

## *Армия и Отечество в поэзии русских классиков*

*Статья Юрия Селезнева, отрывки из которой публикуются ниже, была впервые напечатана в нашем журнале 11 лет назад (1980, № 3). Тогда же редколлегия отметила ее годовой премией, а в следующем, 1981 году Юрий Иванович стал первым заместителем главного редактора журнала «Наш современник». Начался самый интенсивный, плодотворный и самый короткий период его жизни.*

*Он стремился собрать под знамена журнала, ставшего знаменитым благодаря «деревенской прозе», лучших критиков и публицистов. Была намечена обширная программа работы, конкретные темы обсуждались с В. Кожиновым, М. Лобановым, Ю. Лощицем, А. Ланщиковым, П. Палиевским. Нельзя терять ни минуты, торопил он, каждый, кто способен постоять за державу, должен быть мобилизован. Селезнев убеждал: третья мировая война началась в идеологической сфере, и первой ее жертвой может стать Россия.*

*Он сам был похож на воина, на витязя Древней Руси. Высокий, подтянутый, со слегка откинутой назад головой, обрамленной густой кудрявой волной волос и аккуратной острой бородкой. А главное — глаза! Удивительно ясные, чуть прикрытые (как от степного солнца — Селезнев был родом с юга), устремленные вдаль. Ни дать ни взять витязь в дозоре, озирающий рубежи родной земли.*

*Кого-то пугала эта зоркость, духовная прозорливость, эта подвижническая подбористость, всегдашняя готовность встать на пути враждебных сил. Литераторы строчили доносы, с идеологических верхов с подозрением следили за деятельностью лидера поднимавшего голову «русского национализма». В конце концов ему поставили в вину общий курс журнала и три конкретных имени — В. Крупин, В. Кожинов, А. Ланщиков. Участь Юрия Селезнева была решена. Витязь не может жить без битвы. Селезнев не смог прожить без журнала, напряжение всех душевных сил требовало выхода, практической деятельности. Сердце не выдержало, разорвалось.*

*Опубликованная в «Нашем современнике» статья Юрия Селезнева заканчивается знаменательными словами, нашедшими отклик в его собственной судьбе: «...Коли окажется Родина в беде, вновь «пойдем туда, — как сказано в напутственном слове Дмитрия Донского накануне Куликовской битвы, — прославим жизнь свою миру на диво, чтобы старые рассказывали, а молодые помнили!»*

### ЮРИЙ СЕЛЕЗНЕВ

## «Чтобы старые рассказывали, а молодые помнили!»

* * *

«И я детям и внукам наказываю, — предупреждает древняя легенда устами одного из завоевателей, — не ходите войной на великую Русь, она век стоит не шатается и века простоит не шелохнется» («О князе Романе и двух королевичах»).

Древнейшие наши легенды, летописи, песни, былины сохранили память о тех, кто словом и делом утвердил в сознании народа непреходящую мудрость-завет: «С родной земли умри — не сходи». «Тем ведь путем шли деды и отцы наши, — писал в своем «Поучении» Владимир Мономах, князь-полководец, выдающийся писатель и мыслитель XI века. — Разве удивительно, что муж пал на войне? Умирали так лучшие из предков наших».

Не только мужество, отвагу, воинский долг завещали отцы детям. Тот же Владимир Мономах поучал: «Лжи остерегайся, и пьянства, и блуда, от того ведь душа погибает и тело. Куда бы вы ни держали путь... не давайте отрокам причинять вред ни своим, ни чужим, ни селам, ни посевам... Куда же пойдете и где остановитесь, напойте и накормите нищего, более же всего чтите гостя, откуда бы к вам ни пришел, простолюдин ли или знатный...»

* * *

Не рыцарей силы и меча, но труженика-воина, ратая-ратника формировало общее дело — защита Родины. О многом говорит это родственное созвучие таких, казалось бы, несовместимых для иной традиции понятий, как ратай-пахарь и ратник-воин, отсюда соратник — друг по борьбе, русское же воинство называлось дружиной — боевым содружеством. В борьбе за независимость Родины выковывалось и общенародное самосознание, запечатленное в понятиях своего времени: «Не в силе Бог, а в правде!» (Ипатьевская летопись).

Эта мудрость питала силу народного духа на протяжении многих веков — от древнего призыва, ставшего пословицей: «За правое дело стой смело» до чеканных слов на медали в память Победы над гитлеровским фашизмом: «Наше дело правое — мы победили».

* * *

Не однажды приходил русский воин как освободитель к другим народам в смертельно опасные для них годины. Вот что писала, например, в «Комсомольской правде» армянская поэтесса Сильва Капутикян в дни празднования 160-летия со дня избавления Армении от турецкого ига:

«Это было время, когда Армения, потеряв государственность, задыхалась и стонала под игом арабской, османской и персидской тирании, когда народ, истерзанный и обескровленный, стоял на грани гибели». Великий армянский писатель-патриот Хачатур Абовян сказал тогда: «Да будет благословен тот час, когда русские вступили на нашу светлую землю... Сколькими и какими невиданными и неслыханными геройствами и доблестью русские послужили величайшим примером для мира и тем самым прославили себя... перед всем миром...»

«Сойдемся, братья и друзья, сыновья русские, сложим слово к слову, возвеселим Русскую землю, отбросим печаль...» — обращается к современникам и потомкам Софоний Рязанец, автор «Задонщины», в своем слове о воинах, что, «заслужив честь и славу мира сего, головы свои положили за землю за Русскую...».

Слово о воинской доблести предков в отечественной литературе всегда было словом о воинах-защитниках, воинах-освободителях. Русская поэзия — от древнейших исторических песен, былин, сказаний до наших времен — не знает ни темы завоевания, захвата, расправы, ни похвальбы и угроз. И это не литературный этикет, это традиция, то есть отражение в художественном слове реального исторического и нравственного опыта народа, его мироотношения. «Нет, не завоевателями и грабителями выступают в истории политической русские, а спасителями...», — писал Чернышевский.

Не о войне, о мире мечты и чаяния народа-ратая-ратника. Но если

Исчезли мира дни счастливы,
Пылает зарево войны:
Простите, веси, паствы, нивы!
К оружью, дети тишины!

Ф. Глинка.

Любые ценности мирной жизни обесцениваются перед угрозой потери свободы Отечеством.

Жить для Отечества, вот бытие одно;
Нам счастье от небес в нем истинно дано,
Мечтатель говорит: «Я гражданин вселенной»,
А русский: «Край родной — вселенная моя...»

Эти стихи Сергея Глинки (брата Ф. Глинки) написаны в 1808 году. Через четыре года — в Отечественной войне 1812 года — народ делом подтвердил правоту поэта. Зарубежные, да и некоторые наши отечественные историки удивлялись: крепостной, подневольный люд — и вдруг всенародная война... И не находили иных объяснений: русский народ-де испокон веков воспитывался в смирении и послушании...

Можно приказать взять оружие, но на Отечественную войну приказом народ не поднять.

Отгадыватели «загадки русского характера» не могли или не хотели уразуметь, что для человека, любящего родную землю, во все века не было, нет и не будет ничего дороже Отечества, на защиту которого он всегда выходит, движимый именно свободой совести. «Лучше на родной земле костьми лечь, чем на чужбине в почете быть», — сказано еще в летописях.

«Народ этот, — писал Герцен о русских, — убежден, что у себя дома он непобедим; эта мысль лежит в глубине сознания каждого крестьянина, это — его политическая религия. Когда он увидел иностранца на своей земле в качестве неприятеля, он бросил плуг и схватился за ружье». И может быть, именно это народное убеждение стало и главенствующим идейно-художественным истоком патриотизма русской поэзии.

Не случайно народный идеал защитника Родины не рыцарь-профессионал, а Илья — крестьянский сын из города «из Мурома, из села из Карачарова». Не случаен и традиционный для всей русской воинской поэзии образ битвы-жатвы:

На Немиге снопы стелют из голов,
молотят цепами булатными,
на току жизнь кладут,
веют душу от тела,
Немиги кровавые берега
не добром засеяны,
засеяны костьми русских сынов.

(«Слово о полку Игореве»)

Говоря о России, ее поэты имели в виду не одну только русскую Россию, но и все Отечество, которое складывалось как Отечество многих народов, исторически связавших свои судьбы в едином государстве. Вспомним хотя бы стихи Константина Батюшкова:

От струй полуденных, от Каспия валов,
От волн Улеи и Байкала,
От Волги, Дона и Днепра,
От града нашего Петра,
С вершин Кавказа и Урала!..
Стеклись, нагрянули за честь своих
граждан...

Не за рыцарский кодекс чести, но за честь граждан, за честь Родины, за ее свободу.

Подготавливая общественное мнение Европы к войне против России в середине 40-х годов прошлого века, западная печать не погнушалась прибегнуть в своей пропаганде к низкой клевете на русского солдата. Находясь в это время в Европе на дипломатической службе, Федор Иванович Тютчев выступил с ответной статьей, в которой, в частности, напоминал о том, что русский солдат всего около тридцати лет назад проливал кровь ради освобождения Европы, кровь, «которая слилась с кровью ваших отцов и ваших братьев, смыла позор Германии и завоевала ей независимость...». Тютчев предлагал вспомнить и о другом: «... если вы встретите ветерана наполеоновской армии... спросите, кто из противников, с которыми он воевал на полях Европы, был наиболее достоин уважения... — можно поставить десять против одного, что наполеоновский ветеран назовет вам русского солдата. Пройдитесь по департаментам Франции... и спросите жителей... какой солдат из войск противника постоянно проявлял величайшую человечность, отрожайшую дисциплину, наименьшую враждебность к мирным жителям... — можно поставить сто против одного, что вам назовут русского солдата».

Да, история показывает, что великодушие нередко вызывает вместо благодарности чувства зависти и даже ненависти.

«За что ж? ответствуйте», — обращался к «клеветникам России» Пушкин и сам же объяснял: «...за то ли, что на развалинах пылающей Москвы мы не признали наглой воли того, под кем дрожали вы?.. И нашей кровью искупили Европы вольность, честь и мир?»

В широкий обиход вошло понятие о «беззаветной» любви к Родине. Неужто опыт героической истории нашего народа не оставил нам завет любить Родину? Нет, это один из самых святых заветов нам и нашим потомкам.

«Быть человеком — значит быть патриотом» — так ставили вопрос все лучшие люди России в прошлом и в настоящем.

О, родина святая,
Какое сердце не дрожит,
Тебя благословляя?..

*В. Жуковский.*

Пушкин оставил клятву-завет: если придет беда — вновь «встанет русская земля», вновь «в каждом ратнике узришь богатыря» и «в стане русских воинов», как прежде:

...стройный глас героям в честь прольется,
И струны гордые посыплют огнь в сердца,
И ратник молодой вскипит и содрогнется
При звуках бранного певца.

Да, поистине неоценима роль нашей литературы в общенародном, государственно-историческом воспитании, в формировании патриотического сознания.

Трудно найти во всей многовековой истории отечественной литературы хотя бы одного из ее истинно талантливых представителей, который бы не способствовал формированию такого сознания.

Есть какая-то прямая, но таинственно-всесильная связь между двумя этими, казалось бы, относящимися к разным сферам жизнедеятельности явлениями: талантом и патриотизмом, гражданственностью. Корни их питаются родниками народности, традиций, заветов, потому-то, может быть, и наиболее значительные плоды творчества всегда были результатом их естественного слияния.

Бывало, мерный звук твоих могучих слов
Воспламенял бойца для битвы;
Он нужен был толпе, как чаша для пиров,
Как фимиам в часы молитвы.
Твой стих, как божий дух, носился
над толпой,
И отзыв мыслей благородных
Звучал, как колокол на башне вечевой,
Во дни торжеств и бед народных.

Такой поэт-певец нужен и в дни «священной войны», и в «мира дни благословенны», ибо, как точно и прозорливо выразился Аполлон Майков:

Враг могуч и хитер! по местам, по местам!
И насторожи око и ухо:
Бой повсюду пойдет, по земле, по морям,
И в невидимой области духа.

Мы должны быть готовыми к тому, чтобы приумножить и передать будущим поколениям завещанное нам на вечные времена духовное наследие воинских патриотических традиций и неразрывных с ними традиций миролюбия, добрососедства. Но, коли окажется Родина в беде, вновь «пойдем туда, — как сказано в напутственном слове Дмитрия Донского накануне Куликовской битвы, — прославим жизнь свою миру на диво, чтобы старые рассказывали, а молодые помнили!

...Не рождены мы на обиду ни соколу, ни ястребу, ни кречету, ни черному ворону...».

✦✦✦



## Н. М. КАРАМЗИН
(1766—1826)

### *К Отечеству*

Цвети, Отечество святое,
Сынам любезное, драгое!
Мы все боготворим тебя,
И в жертву принести себя
Для пользы твоея готовы.
Ах! смерть ничто, когда оковы
И стыд грозят твоим сынам!
Как древле Кодры умирали,
Как Леониды погибали

В пример героям и друзьям.
Союз родства и узы крови
Не так священны для сердец
Как свят закон твоей любови.
Оставит милых чад отец,
И сын родителя забудет,
Спеша отечеству служить;
Умрет он, но потомство будет
Героя полубогом чтить!

*1793*

## С. Н. ГЛИНКА
(1775—1847)

### *Другу русских*

Жить для Отечества, вот бытие одно;
Нам счастье от небес в нем истинно дано.
Мечтатель говорит: «Я гражданин вселенной»,
А русский: «Край родной — вселенная моя».
Мила своя страна душе благорожденной;
Ей мысли, ей душа посвящена твоя.

*22 января 1808*

## А. И. ТУРГЕНЕВ
(1781—1803)

### *К Отечеству*

Сыны Отечества клянутся!
И небо слышит клятву их!
О, как сердца в них сильно бьются!
Не кровь течет, но пламя в них.
Тебя, Отечество святое,
Тебя любить, тебе служить —
Вот наше звание прямое!
Мы жизнию своей купить
Твое готовы благоденство.
Погибель за тебя — блаженство,

И смерть — бессмертие для нас!
Не содрогнемся в страшный час
Среди мечей на ратном поле,
Тебя, как бога, призовем,
И враг не узрит солнца боле
Иль мы, сраженные, падем —
И наша смерть благословится!
Сон вечности покроет нас;
Когда вздохнем в последний раз,
Сей вздох тебе же посвятится!..

*1802*

## Д. В. ДАВЫДОВ
(1784—1839)

### *Современная песня*

Был век бурный, дивный век,
Громкий, величавый;
Был огромный человек,
Расточитель славы.

То был век богатырей!
Но смешались шашки,
И полезли из щелей,
Мошки да букашки.

Всякий маменькин сынок,
Всякий обирапа,
Модных бредней дурачок,
Корчит либерала.

Деспотизма сопостат,
Равенства оратор,—
Вздулся, слеп и бородат,
Гордый регистратор.

Томы Тьера и Рабб
Он на память знает
И, как ярый Мирабо,
Вольность прославляет.

А глядишь: наш Мирабо
Старого Гаврило
За измятое жабо
Хлещет в ус да в рыло.

А глядишь: наш Лафает,
Брут или Фабриций
Мужиков под пресс кладет
Вместе с свекловицей.

Фраз журнальных лексикон,
Прапорщик в отставке,—
Для него Наполеон —
Вроде бородавки.

Для него славнее бой
Карбонаров бледных,
Чем когда наш шар земной
От громов победных

Колыхался и дрожал
И народ, в смятенье,
Ниц упавши, ожидал
Мира разрушенье.

Что ж? — Быть может, наш герой
Утомил свой гений
И заботой боевой,
И огнем сражений?

Нет, он в битвах не бывал —
Шаркал по гостиным
И по плацу выступал
Шагом журавлиным.

Что ж? — Быть может, он богат
Счастьем семьянине,
Заменя блистанье лат
Тогой гражданина?..

Нет, нахально подбочась,
Он по дачам рыщет
И в театрах, развалясь,
Все шипит да свищет.

Что ж? — Быть может, старины
Он бежал приманск?

Звезды, ленты и чины
Презрел спозаранок?

Нет, мудрец не разрывал
С честолюбьем дружбы
И теперь бы крестик взял...
Только чтоб без службы...

Вот гостиная в лучах:
Свечи да кенкеты,
На столе и на софах
Кипами газеты;

И превыспренний конгресс
Двух графинь оглохших
И двух жалких баронесс,
Чопорных и тощих;

Все исчадие греха,
Страстное новинкой;
Заговорщица-блоха
С мухой-якобинкой;

И козявка-егоза —
Девка пожилая,
И рябая стрекозе —
Сплетня записная;

И в очках сухой паук —
Длинный лазарони,
И в очках плюгавый жук —
Разноситель вони;

И комар, студент хромой,
В кучерской прическе,
И сверчок, крикун ночной,
Друг Крылова Моськи;

И мурашка-филантроп,
И червяк голодный,
И Филипп Филиппыч — клоп,
Муж... женоподобный,—

Все вокруг стола — и скок
В кипеть совещанья
Утопист, идеолог,
Президент собранья.

Старых барынь духовник,
Маленький аббатик,
Что в гостиных бить привык
В маленький набатик.

Все кричат ему привет
С аханьем и писком,
А он важно им е ответ:
Dominus vobiscum!

И раздолье языкам!
И уж тут не шутка!
И народам и царям —
Всем приходит жутко!



Все, что есть,— все в пыль и прах!
Все, что процветает —
С корнем вон! — Ареопаг
Так определяет.

И жужжит он, полн грозой,
Царства низвергая...
А России,— Боже мой! —
Таска... да какая!

И весь размежеван свет
Без войны и драки!
И России уже нет,
И в Москве поляки!

Но назло врагам она
Все живет и дышит,
И могуча, и грозна,
И здоровьем пышет.

Насекомых болтовни
Внятием не тешит,
Да и место, где они,
Даже не почешет;

А когда во время сна
Моль иль таракашка
Заползет ей в нос,— она
Чхнет — и вон букашка!

*1836*

## А. С. ПУШКИН
(1799—1837)

### *Клеветникам России*

О чем шумите вы, народные витии?
Зачем анафемой грозите вы России?
Что возмутило вас? волнения Литвы?
Оставьте: это спор славян между собою,
Домашний, старый спор, уж взвешенный судьбою,
Вопрос, которого не разрешите вы.

Уже давно между собою
Враждуют эти племена;
Не раз клонилась под грозою
То их, то наша сторона.
Кто устоит в неравном споре:
Кичливый лях иль верный росс?
Славянские ль ручьи сольются е русском море?
Оно ль иссякнет? вот вопрос.

Оставьте нас: вы не читали
Сии кровавые скрижали;
Вам непонятна, вам чужда
Сия семейная вражда;
Для вас безмолвны Кремль и Прага;
Бессмысленно прельщает вас
Борьбы отчаянной отвага —
И ненавидите вы нас...

За что ж? ответствуйте: за то ли,
Что на развалинах пылающей Москвы
Мы не признали наглой воли
Того, под кем дрожали вы?
За то ль, что в бездну повалили.
Мы тяготеющий над царствами кумир
И нашей кровью искупили
Европы вольность, честь и мир?

Вы грозны на словах — попробуйте на деле!
Иль старый богатырь, покойный на постели,

Не в силах завинтить свой измаильский штык?
Иль русского царя уже бессильно слово?
Иль нам с Европой спорить ново?
Иль русский от побед отвык?

Иль мало нас? Или от Перми до Тавриды,
От финских хладных скал до пламенной Колхиды,
От потрясенного Кремля
До стен недвижного Китая,

Стальной щетиною сверкая,
Не встанет русская земля?
Так высылайте ж нам, витии,
Своих озлобленных сынов:
Есть место им в полях России,
Среди нечуждых им гробов.

*1831*

## Ф. И. ТЮТЧЕВ
(1803—1873)

### *Славянам*

Они кричат, они грозятся:
«Вот к стенке мы славян прижмем!»
Ну, как бы им не оборваться
В задорном натиске своем!..

Да, стенка есть — стена большая,—
И вас не трудно к ней прижать.
Да польза-то от них какая?
Вот, вот что трудно угадать.

Ужасно та стена упруга,
Хоть и гранитная скала,—
Шестую часть земного круга
Она давно уж обошла...

Ее не раз и штурмовали —
Кой-где сорвали камня три,
Но напоследок отступали
С разбитым лбом богатыри...

Стоит она, как и стояла,
Твердыней смотрит боевой:
Она не то чтоб угрожала,
Но.. каждый камень в ней живой.

Так пусть же бешеным напором
Теснят вас немцы и прижмут
К ее бойницам и затворам,—
Посмотрим, что они возьмут!

Как ни бесись, вражда слепая,
Как ни грози вам буйство их,—
Не выдаст вас стена родная,
Не оттолкнет она своих.

Она расступится пред вами
И, как живой для вас оплот,
Меж вами станет и врагами
И к ним поближе подойдет.

*11—15 мая 1867*

* * *

Ужасный сон отяготел над нами,
Ужасный, безобразный сон:
В крови до пят, мы бьемся с мертвецами,
Воскресшими для новых похорон.

Осьмой уж месяц длятся эти битвы,
Геройский пыл, предательство и ложь,
Притон разбойничий в дому молитвы;
В одной руке распятие и нож.

И целый мир, как опьяненный ложью,
Все виды зла, все ухищренья зла!..
Нет, никогда так дерзко правду Божью
Людская кривда к бою не звала!..

И этот клич сочувствия слепого,
Всемирный клич к неистовой борьбе,
Разврат умов и искаженье слова —
Все поднялось и все грозит тебе.

О край родной! — такого ополченья
Мир не видал с первоначальных дней...
Велико, знать, о Русь, твое значенье!
Мужайся, стой, крепись и одолей!

*Август 1863*



## М. Ю. ЛЕРМОНТОВ
(1814—1841)

### *Два великана*

В шапке золота литого
Старый русский великан
Поджидал к себе другого
Из далеких чуждых стран.

За горами, за долами
Уж гремел об нем рассказ,
И помериться главами
Захотелось им хоть раз.

И пришел с грозой военной
Трехнедельный удалец,—
И рукою дерзновенной
Хвать за вражеский венец.

Но улыбкой роковою
Русский витязь отвечал,
Посмотрел — тряхнул главою...
Ахнул дерзкий — и упал!

Но упал он в дальнем море
На неведомый гранит,
Там, где буря на просторе
Над пучиною шумит.

*1832*

## А. Н. МАЙКОВ
(1821—1897)

### *Перед войной*

«По местам! по местам!» — грозный оклик идет...
Поднялся старый наш воевода,
Поднялся и над Русью летит и зовет;
И все чуют — идет, знать, невзгода!

«По местам! по местам!» — воевода зовет:
«Всяк радей государеву делу —
Веру твердую держи, совесть чисту и белу,
Ибо час настает, настает!..

Враг могуч и хитер! по местам, по местам!
И настороже око и ухо:
Бой повсюду пойдет, по земле, по морям,
И в невидимой области духа».

*1870*

## Н. А. НЕКРАСОВ
(1821—1877)

* * *

Внимая ужасам войны,
При каждой новой жертве боя
Мне жаль не друга, не жены,
Мне жаль не самого героя...
Увы, утешится жена,
И друга лучший друг забудет;
Но где-то есть душа одна —
Она до гроба помнить будет!
Средь лицемерных наших дел
И всякой пошлости и прозы
Одни я в мире подсмотрел
Святые, искренние слезы,—
То слезы бедных матерей!
Им не забыть своих детей,
Погибших на кровавой ниве,
Как не поднять плакучей иве
Своих поникнувших ветвей...

*1855*

## А. Н. ОСТРОВСКИЙ
(1823—1886)

### Из стихотворной драмы

### «Козьма Захарьич Минин-Сухорук»

(МОНОЛОГ МИНИНА)

. . . . . . . . . . . . . . . .
Кто на Руси за правду ополчится?
Кто чист пред Богом?
Только чистый может
Святое дело честно совершить.
Народ страдает, кровь отмщенья просит,
На небо вопиет. А кто подымет,
Кто поведет народ? Он без вождя,
Как стадо робкое, рассеян розно.
. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Да и не счесть всех дьявольских
насилий,
И мук непереносных не исчислить!
И все безропотно и терпеливо
Народ несет, как будто ждет чего.
Возможно ли, чтоб попустил погибнуть
Такому царству Праведный Господь!
. . . . . . . . . . . . . . . .
Друзья и братья! Русь святая гибнет!
Друзья и братья! Православной вере,
В которой мы родились и крестились,
Конечная погибель предстоит.
Святители, молитвенники наши,
О помощи взывают, молят слезно.
Вы слышали их слезное прощенье!
Поможем, братья, родине святой!
Что ж! Разве в нас сердца окаменели?
Не все ль мы дети матери одной?
Не все ль мы братья от одной купели?

*1862*

## Я. Н. РЕПНИНСКИЙ
(конец XIX—начало XX века)

### «Варяг»

(НАРОДНЫЙ ВАРИАНТ)

«Наверх вы, товарищи, все по местам!
Последний парад наступает...
Врагу не сдается наш гордый «Варяг»,
Пощады никто не желает!

Все вымпелы вьются, и цепи гремят,
Наверх якоря поднимают,
Готовьтеся к бою! Орудия в ряд
На солнце зловеще сверкают.

Шипит, и гремит, и грохочет кругом,
Гром пушек, шипенье снарядов,
И стал наш бесстрашный и гордый «Варяг»
Подобен кромешному аду.

В предсмертных мученьях трепещут
тела,
Гром пушек, и дым, и стенанья,
И судно охвачено морем огня,
Настала минута прощенья:
«Прощайте, товарищи, с Богом, ура!
Кипящее море под нами!
Не думали мы еще с вами вчера,
Что нынче умрем под волнами.
Не скажет ни камень, ни крест,
где лежим
В защиту мы русского флага,
Лишь волны морские прославят одни
Геройскую гибель «Варяга».

*1904*

## А. Н. АПУХТИН
(1840—1893)

### Солдатская песня о Севастополе

Не веселую, братцы, вам песню спою,
Не могучую песню победы,
Что певали отцы в Бородинском бою,
Что певали в Очакове деды.



Я спою вам о том, как от южных полей
Поднималося облако пыли,
Как сходили враги без числа с кораблей
И пришли к нам, и нас победили.

А и так победили, что долго потом
Не совались к нам с дерзким вопросом,
А и так победили, что с кислым лицом
И с разбитым отчалили носом.

Я спою, как, покинув и дом и семью,
Шел в дружину помещик богатый,
Как мужик, обнимая бабенку свою,
Выходил ополченцем из хаты.

Я спою, как росла богатырская рать,
Шли бойцы из железа и стали,
И как знали они, что идут умирать,
И как свято они умирали!

Как красавицы наши сиделками шли
К безотрадному их изголовью,
Как за каждый клочок нашей русской земли
Нам платили враги своей кровью;

Как под грохот гранат, как сквозь пламя и дым,
Под немолчные, тяжкие стоны
Выходили редуты один за другим,
Грозной тенью росли бастионы;

И одиннадцать месяцев длилась резня,
И одиннадцать месяцев целых
Чудотворная крепость, Россию храня,
Хоронила сынов ее смелых...

Пусть не радостна песня, что вам я пою,
Да не хуже той песни победы,
Что певали отцы в Бородинском бою,
Что певали в Очакове деды.

*1869*

## А. А. БЛОК
(1880—1921)

* * *

Я не предал белое знамя,
Оглушенный криком врагов,
Ты прошла ночными путями,
Мы с тобой — одни у валов.

Да, ночные пути, роковые,
Развели нас и вновь свели,
И опять мы к тебе, Россия,
Добрели из чужой земли.

Крест и насыпь могилы братской,
Вот где ты теперь, тишина!
Лишь щемящей песни солдатской
Издали несется волна.

А вблизи — все пусто и немо,
В смертном сне — враги и друзья.
И горит звезда Вифлеема
Так светло, как любовь моя.

*1914*

# ПРОЗА

## ВЛАДИСЛАВ ОТРОШЕНКО



# ПРОЩАНИЕ С АРХИВАРИУСОМ

## (КРАТКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗДАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУТЕЙНИКОВА)

### 1.

Оно существовало всего три месяца, это призрачное книгоиздательство С. Е. Кутейникова «Донской арсенал» на Атаманской улице. В мае оно выпустило две брошюрки, в июле — тощую книжицу с помпезным шмуцтитулом и бесследно исчезло. В доме № 14, где оно размещалось, занимая весь первый этаж, пристройку и обширный подвал, в августе, как явствует из рекламного объявления в «Донских областных ведомостях», уже обосновалась французская фотография, оснащенная новейшими аппаратами из Парижа и предметами красочной амуниции средневековых армий Европы. («Жак Мишель де Ларсон увековечит Вашу наружность в романтической обстановке».) В сентябре владелец фотографии поместил в той же газете гневное уведомление, в котором говорилось, что он не имеет ни малейшего понятия об издательстве «Донской арсенал» и что он просит г.г. агентов книжной торговли оставить в покое его заведение и впредь не обращаться к нему с расспросами, где им разыскивать некоего г-на Кутейникова, которого, может статься, вообще не существует в действительности. «Что же касается почтеннейшей публики,— добавлял де Ларсон аккуратным петитом,— то заведение Жака Мишеля на Атаманской, 14, открыто для нее во все дни недели, за исключением вторника. Для желающих преобразить свою внешность имеются накладные усы и бороды из театральных мастерских Амстердама».

ОТРОШЕНКО Владислав Олегович родился в 1959 году в Новочеркасске. Окончил факультет журналистики МГУ. Работал корреспондентом Московского радио, преподавателем в вузе. Печататься начал с 1987 года. Автор рассказов, повестей, книги о русском драматурге Сухово-Кобылине «Веди меня, Слепец», выпускаемой в нынешнем году издательством «Столица». Участник IX Всесоюзного совещания молодых писателей, по итогам которого награжден стипендией Литфонда СССР и рекомендован в члены Союза писателей СССР. Живет в Москве.



Книгоиздатель С. Е. Кутейников откликнулся на это уведомление оригинальным способом. Рождественский номер «Коммерческого вестника» Общества торговых казаков вышел с его портретом. «Месье Жак,— гласила витиеватая подпись,— дабы рассеять Ваши сомнения относительно моего натурального пребывания в этом исполненном всяческой жизни, блистательно-сказочном мире и доказать Вам со всей очевидностью, что я не плод воображения г.г. агентов книжной торговли, я помещаю здесь свою фотографию, сработанную не Атаманской, 14. Ваш настырный ассистент уговорил-таки меня, как видите, вооружиться датским мечом и даже наклеить за гривенник Ваши поганые усы из Амстердама. Однако же я надеюсь, что это маленькое фиглярство, на которое я решился благодаря озорной минуте и веселому повороту мысли, не помешает моим компаньонам и многим почтенным торговцам узнать меня на портрете и не судить строго

книгоиздателя С. Е. Кутейникова, честь имеющего поздравить всех коммерсантов Области войска Донского с Рождеством Христовым!»

В феврале 1912 года С. Е. Кутейников вновь дал о себе знать. «Озорная минута», выхваченная им из будничного потока времени перед Рождеством, продлилась до Сретения, а «веселый поворот мысли» завел его, вероятно, так далеко, что он уже не мог остановиться на полпути. Словом, он решил продолжить газетную баталию с Жаком Мишелем.

После того, как последний напечатал в газете «Юг»[1] грозный ультиматум, в котором он потребовал, чтобы г-н Кутейников, независимо от того, существует он или нет, публично извинился за свою рождественскую выходку, ущемляющую коммерческие интересы его заведения,— «в противном случае,— писал уязвленный француз,— я принужден буду обратиться в окружной суд, с тем чтобы он взыскал нанесенный мне ущерб либо с таинственного издателя, либо с «Коммерческого вестника», потакающего небезобидному ерничеству этого фантастического субъекта,— Кутейников поместил во всех новочеркасских газетах, за исключением «Донских епархиальных ведомостей» и «Вестника казачьей артиллерии», объявление довольно странного, если не сказать немыслимого, содержания:

«Книгоиздатель С. Е. Кутейников сообщает, что в силу неведомых нарушений в извечном миропорядке поколебалась привычная однозначность земного пространства, занятого домом № 14 по Атаманской улице, где обретается и будет обретаться вплоть до 1915 года издательство «Донской арсенал». Каким-то непостижимым способом сюда внедрился фотографический мастер Жак Мишель де Ларсон, чье назойливое заведение в этом месте и в это время[2], на взгляд издательства, не более чем фантазия и пыль. Удивительно, что то же самое утверждает и г-н Ларсон относительно издательства «Донской арсенал», которое готовит в настоящее время дополнительный тираж «Исторических разысканий Евлампия Харитонова о походе казаков на Индию». То обстоятельство, что при нынешнем обороте действительности заведение г-на Ларсона обладает, по всей вероятности, в большей степени счастливым качеством зримости, никоим образом не отразится на превосходной внешности наших книг, для которых уже закуплена отличная и вполне ощутимая бумага фабрики «Токгеузен и К°» в Екатеринодаре».

Какое впечатление произвело на француза это объявление, неизвестно. Известно только, что войсковой атаман Павел Иванович Мищенко на своем экземпляре «Гражданских новостей» (он получал их в 7.30 утра) прямо на объявлении Кутей-

[1] С ноября 1911 по январь 1912-го две газеты Области в. Д. носили название «Юг». Одна — в Ростове-на-Дону, издававшаяся Минасом Ильичом Балабановым, другая — в Новочеркасске, учрежденная Ассоциацией немецких аптекарей (издатели Роллер и Фреттиг). Известно, что Балабанов неоднократно просил аптекарей, чтобы они изменили название своей газеты, но те всякий раз отвечали отказом, предлагая ему решить спор на юридическом основании. Балабанов, без сомнения, выиграл бы судебный процесс, так как его газета — бывш. «Донская пчела» — имела название «Юг» с 1893 года. Однако же он предпочел официальным решениям частное лихачество. Он выкупил у аптекарей право издания, выпустил, не меняя названия, три номера (в одном из них напечатал свое объявление Жак Мишель) и закрыл газету. И все это, очевидно, Балабанов проделал лишь для того, чтобы затем заявить в своем «Юге» на первой полосе, что «случайно возникший из склянки и во всем подобный эфиру аптекарский «Юг» в Н.-черкасске улетучился к дьяволу!».
(Здесь и далее — прим. автора).

[2] Слова «в этом месте и в это время» набраны во всех газетах цицеро. «Буквы сего шрифта, — как замечает преисполненный совершенно неуместной поэтичности «Карманный словарь наборщика» (Новочеркасск, 1904 г.), выглядят на фоне петита или бисерной нонпарели громоздкими жуками, угодившими в муравьиный плен».

никова написал огромными буквами, синим карандашом «Тю!!!» и послал на Атаманскую, 14, дежурного вахмистра с конным отрядом.

Разумеется, никакого издательства ни в доме № 14, ни в соседних домах вахмистр не нашел. В рапорте атаману он, однако же, доложил, что ему «удалось обнаружить некоторую неразумительность в ехидной фигуре француза Ж. М. де Ларсона, которая производит на Атаманской, 14, фотографические портреты лиц всех сословий, сама же на себе никакого устойчивого лица не имеет и может представиться в натуральном виде не токмо что французским фузилёром, но даже хорошенькой маркитанткой. А так как означенный дом совершенно дьявольским образом погрузился в обманчивость сгинувшей жизни и невозможных времен, то и фигура упомянутой маркитантки (...)». Впрочем, нет нужды цитировать далее этот нелепый рапорт: вахмистр, согласно донесению караульного сотника, сочинял его «уже сильно нетрезвый», на гауптвахте, в бакенбардах а-ля Франс Иосиф, в которых он сфотографировался у Жака Мишеля и в которых ездил все утро по городу, разыскивая, как он всем говорил не без гордости, «демоническое издательство инфернального свойства», пока наконец не взят был под стражу в ресторации Фридриха Брутца на углу Скородумовской и Московской. Заслуживают большего внимания вполне достоверные, хотя и растворенные в бравурной риторике сведения[3], что заведение Жака Мишеля посетил в тот же день (то есть 2 февраля по старому стилю) и сам войсковой атаман; нагрянув поздно вечером на штабном автомобиле в сопровождении двух адъютантов по гражданской части, окружного квартирмейстера и целой свиты верховых офицеров, весело гарцевавших с оголенными шашками по обе стороны невозмутимого «Руссо-Балта», всполошившего певучим клаксоном всю улицу, он тщательно осмотрел сначала снаружи (обойдя его дважды), а затем изнутри таинственный дом (принадлежавший, впрочем, Обществу взаимных кредитов), спустился в подвал, заглянув во флигель, похвалил Жака Мишеля за прилежное содержание арендованных помещений и уехал, купив у него фламандскую гвизарму для своей оружейной коллекции.

Наутро чиновник особых поручений атаманской канцелярии доставил Жаку Мишелю пакет, в котором находились бакенбарды, снятые с вахмистра в «освежительной камере», и предписание начальника интендантского отдела войскового штаба, обязывающее всех содержателей фотографических салонов, действующих на территории Области войска Донского, выполнять следующие требования:

«1. Фотографировать рядовых и приказных казаков, унтер- и обер-офицеров, а равно и штаб-офицеров казачьих войск только с имеющимся у них уставным оружием и в принадлежащих их званию мундирах.

2. Исключить из процедуры фотографирования наклеивание усов, бровей и проч. лицевой растительности, дабы всякий военный чин, действительный или отставной, а также свободный от военной службы казак имел на портрете свой собственный, Богоданный вид.

3. Изъять из употребления в фотографических целях бутафорские либо подлинные вещи, относящиеся к военному быту иноземных армий любых времен.

4. Не изображать посетителей — как военных, так и гражданских — в виду полотен и ширм, рисующих вымышленные баталии и походы, а также любые исторические военные действия, к коим Российская армия не имела касательства.

Всякий фотографический мастер, нарушающий эти требования, будет оштрафован первоначально на сумму в 200 руб. ассигн. в пользу войсковой казны, а при повторном нарушении выдворен за пределы Области войска Донского».

Можно представить, в какое отчаяние повергло это неожиданное предписание изобретательного француза, сумевшего поставить свое дело так, что в городе закрылась, не выдержав с ним конкуренции, старейшая фотография Кикиани и Маслова. (Гигантский бердыш, который они повесили в витрине, и обещание фотографировать в стрелецких кафтанах не прельстили своенравную публику.) Отчаяние побудило Жака Мишеля немедленно рассчитаться с ненавистным ему издателем,

[3] См.: «Хроника всех торжественных, ординарных и приватных выездов 23-го наказного атамана Всевеликого войска Донского Павла Ивановича Мищенко на четырехцилиндровом автомобиле Руссо-Балтийского завода, подаренном войсковому штабу Великим князем Николаем Николаевичем в ознаменование 5-й годовщины героического кавалерийского рейда казаков на Индию»,— «Донская дельта». 1913, № 86. Подпись — «Механик». — С. М. Краснов (?).





беззаботно кружившим неуязвимым газетно-бумажным призраком над Атаманской, 14. Решив исполнить свое намерение, о котором он заявил в аптекарском «Юге», он уже нанял адвокатов, сочинил с ними иск против Кутейникова и изготовился к бою, как вдруг получил записку от есаула гвардии, адъютанта по гражданской части, князя Степана Андреевича Черкесова. Написанная орешковыми чернилами[4], какие тогда уже не водились в канцеляриях, и вложенная в обычный, без войскового герба, конверт, записка была, без сомнения, приватной и даже в некоторых местах шутливой, но вместе с тем она не могла не остудить сутяжнический пыл Жака Мишеля.

Адъютант сообщал ему, что войсковое начальство не оставило без внимания возникшее между ним и Кутейниковым недоразумение. «Мне поручено разобраться в этом деле,— писал Черкесов,— однако же без того, чтобы притеснять кого-либо из Вас. Речь идет о личном интересе атамана к Вашим таинственным контрам с Кутейниковым. Павел Иванович полагает, что за ними кроется нечто чрезвычайное. Скажу Вам более, он вполне допускает возможность, что Кутейников вовсе не шутит в своих последних объявлениях. Надеюсь, Вы не станете расценивать это мое сообщение Вам как требование не предпринимать никаких шагов против Кутейникова. Упаси Вас Бог так истолковать мои слова! Я хочу лишь дать Вам сугубо житейский и вполне дружеский совет — не раздувать скандала и по возможности относиться терпимо ко всяким причудам г-на издателя, батюшка которого, Ефрем Афанасьевич, служивший у нас каптенармусом, а при Самсонове ведавший еж войсковым арсеналом! был тоже небезызвестный шутник и фанфарон. Представьте себе, запугал однажды лейб-трубачей государя, ехавших на Кавказ, какими-то невообразимыми разбойниками, которые будто бы не боятся пуль, а только трепещут в мистическом ужасе перед всякими топорами, кои имеют форму священного для них полумесяца; потом вооружил их, шельма, с самым серьезным видом — с расписками и наставлениями — бомбардирскими алебардами, валявшимися в кордегардии Бог знает с каких времен, да еще отписал атаману в отчете: «Сие ободряющее оружие выдано доблестным музыкантам Его Величества как наилучшее, по их разумению, для устрашения злонамеренных горцев»,— говорят, что Самсонов смеялся до слез, хоть и отдал прохвоста под трибунал... Надеюсь также, м-е Ларсон, что Вы не усомнитесь в полезности моего совета. Разумеется, Вы вольны пренебречь им и руководствоваться собственными соображениями, в том числе и соображениями коммерческой выгоды. Но если уж речь здесь зашла о выгоде, то я хотел бы заметить Вам, что Вы обязаны в некотором роде нынешним процветанием Вашей фотографии именно г-ну Кутейникову. Шутит он или нет, но он привлек всеобщее внимание к Атаманской, 14, а стало быть, и к Вашему заведению. Публика, и в особенности гражданская, падкая до всякой загадочности, атакует Вас с утра до вечера, и Вы, как я слышал, уже едва справляетесь с заказами. Не думаю, чтобы Вас при таком обороте дела серьезно смущало то обстоятельство, что в обиходе Вашу фотографию стали называть «кутейниковскою», тем более что Вы и сами приложили к тому немало усилий. Я недавно проезжал по Атаманской и видел у Вас в витрине — я не мог ошибиться! — огромный портрет Кутейникова в усах и с моноклем. Более того, у меня есть сведения, что Вы скупили в магазине Сущенкова все книги, выпущенные «Донским арсеналом», и, пользуясь случаем, продаете их своим посетителям по довольно высокой цене,— те экземпляры «Исторических розысканий Евлампия Харитонова о походе казаков на Индию», на которых Ваш ассистент умело подделал дату и которые выдаются за тот самый мифический «дополнительный тираж», якобы уже выпущенный Кутейниковым,— где-то Бог знает где, в чудодейной незримости,— идут по 15 руб., не так ли? Впрочем, меня это не касается. Как должностное лицо я могу указать Вам только на то, что Вы уже целый месяц нарушаете 4-й пункт предписания начальника интендантского отдела войскового штаба. Имейте в виду, он человек проворный и не-

[4] При свете солнца и низкой влажности они выцветают быстрее, чем ализариновые; иногда оставляют исследователям лишь золотистые искорки — нетленную, но, увы, уже молчаливую душу слов. Зато в сырости, как утверждают специалисты, эти чернила на отваре цецидий приобретают удивительную стойкость! Один лукавый старик..., впрочем, опытный архивариус, помогавший мне советом и делом, сказал как-то раз в беседе за чаем: «Если бы не сырой подвал, — он указал мельхиоровой ложечкой в сторону Атаманской (ныне Советской), где была обнаружена в 1969 г. во время строительных работ записка Черкасова, — то вам, сударь, вероятно, пришлось бы выдумывать сей документ».

умолимый. Даже интерес атамана к Вашей персоне не помешает ему выдворить Вас, к примеру, в Воронежскую губернию, где порядки мягче, но климат суровее да и коммерция не столь оживленная, как в нашей благословенной столице!

Марта 6-го с. г. Атамана войска Донского адъютант по гражданской части кн. Черкесов».

## 2.

Строго говоря, фотограф де Ларсон вовсе не нарушал 4-го пункта предписания начальника интендантского отдела войскового штаба, как на то указывал ему адъютант Черкесов. Полотна и ширмы, «рисующие вымышленные баталии и походы, а также любые исторические военные действия, к коим Российская армия не имела касательства», он незамедлительно убрал. И заменил их другими. Они являли собою, как пишет журнал «Фотографический курень», «нечто вроде постраничных иллюстраций к нелепейшим «Историческим розысканиям Евлампия Харитонова о походе казаков на Индию», кои выпустил в прошлом году в своем скандально известном, хотя и лопнувшем как мыльный пузырь «Донском арсенале» г-н Кутейников». Именно эти ширмы и имел в виду адъютант, запугивая француза колючими январями и знойными комариными июлями Воронежской губернии, скучающей в глубине континента. Однако же дело обстояло так, что использование этих ширм, которые приносили де Ларсону фантастический доход («Шутка ли сказать,— писал язвительный корреспондент «Фотографического куреня»,— обыватели выстраиваются в очередь и платят, не задумываясь, по десяти рублей только за то, чтобы просунуть свои физиономии в овальные прорези и стать таким образом воображаемыми участниками каких-то невозможных в истории и по виду довольно разнузданных сцен, вроде переправы казаков через Инд и прочей глупости! Куда же смотрит наше войсковое начальство, которое якобы так печется о пуритенстве в фотографическом деле, издавая при этом, к слову сказать, уморительные указы!»), не противоречило 4-му пункту предписания. О походе казаков на Индию нельзя было сказать, что он является вымышленным, так же, как нельзя было отрицать, что в нем принимало участие сорок донских полков — двадцать три тысячи присягнувших на верность российскому престолу казаков и казачьих офицеров. Поход, предпринятый по приказу императора Павла Петровича, которым вдруг овладеле е неистребимой сырости Михайловского замка, окутанного петербургскими вьюгами, пылкая, согревающая его мечта завоевать колонию Англии, щедро осыпанную лучами солнца, огнепалимую Индию, начался 27 февраля 1801 года. В два часа пополудни, после того, как в войсковом Воскресенском соборе Старого Черкасска была отслужена торжественная литургия, а затем прочитан на Ратной площади у церкви Преображения напутственный молебен, авангард из тринадцати полков, возглавляемый генералом от кавалерии, походным атаманом Матвеем Платовым, двинулся на восток. За ним, выдержав первоначальную дистанцию в десять верст, вышли артиллерийские полки, потянулись обозы, нагруженные провиантом, свинцом, фуражом, порохом, ядрами, стругами, и, наконец, уже в сумерках город покинул конный арьергард...

Жак Мишель де Ларсон, как иностранец, да к тому же еще человек гражданский, вовсе не обязан был знать, что поход казаков на Индию завершился утром 24 марта того же года в каком-то Богом забытом хуторе на юго-востоке Оренбургской губернии. В качестве оправдательного документа, подтверждающего историческую достоверность сцен, изображенных на его ширмах, он мог выставить (да и выставлял в буквальном смысле — прямо в витрине) книгу, выпущенную Кутейниковым, который отважился заявить в предисловии, что он «несет полную ответственность за это издание, так как автор, отставной подъесаул Евлампий Макарович Харитонов[5], скончался в станице Покровской, не успев подписать формального согласия на публикацию своих розысканий».

Француз не обязан был знать и того, что источники, которые цитировались в этом сочинении, были (на взгляд любого — даже не очень-то разборчивого —

[5] В списках отставных обер-офицеров войска Донского, получавших пенсион в 1900—1911 гг., Е. М. Харитонова нет. Никаких сведений о нем не удалось обнаружить и в других источниках, так же, как и об авторах майских брошюр «Донского арсенала»: «Великие тамбурмажоры Степана Харузина» и «Тайны жалонёрского искусства Павла Туркина».





профессора) в высшей степени сомнительными: какие-то «бутанские рукописи» начала XIX столетия, якобы переведенные автором с языка бхотия (тибето-бирманская группа), всевозможные «записки» разноязыких путешественников, колесивших в 1801 году по Азии и видевших казачьи дружины кто в Персии, кто на склонах Каракорума, «походные дневники старшин» и прочие «свидетельства», неизвестно как и где добытые любознательным подъесаулом. Жаку Мишелю достаточно было того, что в «Розысканиях», которые были написаны, как уверял издатель, «на основании новых и весьма достоверных сведений», утверждалось, будто «донской Бонепарт» — так называл Харитонов генерала Матвея Платова — довел казачьи полки до заснеженных Гималеев, а не до оренбургских степей, «как то считалось ранее». «Весь поход,— говорилось на 29-й странице,— завершился блестяще — в полном соответствии с замыслом императора Павла, который вовсе не думал завоевывать Индию, а только хотел казачьими шашками пригрозить с Гималайских вершин зазнавшейся Англии». (На ширме Жака Мишеля — как видно из иллюстрации в «Фотографическом курене» — это изображалось так: казаки, сбившись в кучку на острие горного пика, окутанного облаками, браво размахивают шашками, палят из фузей и штуцеров, а на них с ужасом взирает, высунувшись по пояс из окошка Букингемского дворца, Георг III.) Далее, на страницах 44—53, Евлампий Макарович подробно рассказывает о том, как какой-то «седой старшина в епанче» уговорил атамана Платова не поворачивать полки назад по повелению нового императора Александра Павловича, а выполнять приказ предыдущего, скоропостижно скончавшегося в ночь с 11 на 12 марта Павла Петровича. «Потому что смерть приказавшего,— сказал седой старшина,— не отменяет его приказа. И в этом, ваше высокопревосходительство, весь смысл воинской доблести». Спустя две страницы отставной подъесаул, видимо, спохватившись, сообразив, что этого седого старшину за таковые глаголы генерал Платов, скорее всего, одел бы в кандалы, выдвигает на всякий случай и другую версию. Авангард (теперь уже только авангард) из тринадцати полков продолжил поход на Индию потому, что гонец от генерала Орлова, командовавшего арьергардом и получившего пакет из Петербурга, не доскакал до генерала Платова, «уже зело углубившегося в восточные владения России»,— погиб в степи. И доблестный генерал Платов так и не узнал, что юный Александр, «жалуя казаков отчими домами», повелевает прекратить поход на лучезарную Индию, затеянный его родителем...

Словом, весь смысл книги сводился к тому, что поход,— по мнению немногочисленных его тогдашних исследователей, самый бесславный в истории войска Донского,— был блестящим и славным. Конечно же, ничего дурного не было в этом стремлении отставного подъесаула — представить поход вопреки всему в лучшем виде. Быть может, Евлампий Макарович, если он действительно жил на свете, если его не выдумал г-н Кутейников, сам участвовал в этом походе (Кутейников пишет в предисловии, что он умер в возрасте 132 лет), и он, быть может, всю свою долгую жизнь таил обиду и на императора Павла, пославшего его в этот (впоследствии всеми забытый) экспедицион, и на императора Александра, не давшего ему помахать шашкой на Гималайских вершинах. И от обиды выдумал книгу— написал ее перед смертью, сидя с пером, в очечках и бурках, под крышей какого-нибудь древнего куренька. Так обстояло дело или иначе, ясно одно: сочинение подъесаула скорее всего осталось бы незамеченным. В отчетах Общества распространения полезных книг в Области войска Донского за 1911 год оно отнесено к разряду «частных исторических экскурсов отставных военных чинов, кои на сегодняшний день не пользуются спросом». Однако недоразумение, возникшее между издателем и фотографом, или, как выражались газетчики, «дело о раздвоении Атаманской, 14» (о том, что оно негласно расследуется гражданским адъютантом, знал, разумеется, весь город), вывело «Исторические розыскания Евлампия Харитонова...» спустя несколько месяцев и на целых три года в разряд «книг наиболее читаемых, хотя и малополезных».

## 3.

В июле 1912 года новочеркасский корреспондент балабановского «Юга», ссылаясь на «весьма осведомленное лицо из войсковой канцелярии», сообщил, что адъютант Черкесов, якобы имеющий на руках сенсационные факты, связанные с

Атаманской, 14, готовит специальный рапорт атаману по этому делу. «Не исключено,— говорилось в заметке,— что вскоре мы получим от того же лица кое-какие сведения о содержании рапорта и узнаем таким образом, каково живется г-ну Кутейникову в том запредельном мире, откуда он нам посылает свои шутовские весточки и баснословные тиражи».

Это было последнее печатное упоминание о донском книгоиздателе С. Е. Кутейникове.

Никакого специального рапорта атаману адъютант Черкесов, судя по всему, не писал — во всяком случае, обнаружить этот рапорт или хотя бы найти сообщения о нем более достоверные, нежели в балабановском «Юге», не удалось,— и потому последним рукописным источником, содержащим сведения о Кутейникове, можно считать датированное 20 августа 1912 года письмо Черкесова к дочери, жившей тогда в Петербурге в гостином доме Главного управления казачьих войск на Караванной [6]. За исключением половины первой и двух последних страниц, оно посвящено издателю, но так как на пяти страницах князь сообщает уже известные факты, целесообразно будет процитировать его со средины шестой:

«(...) Что до меня, Анюта, то я не нахожу здесь ничего, кроме философических шалостей г-на Кутейникова, который, как мне стало известно, проповедует повсюду и в разном виде, добравшись даже до газет, довольно странные воззрения на феномен времени. Он полагает, что времени как такового не существует вовсе. Пытался в этом убедить и меня (я разговаривал с ним еще весною по телефону: сам телефонировал мне в штаб). То есть, Анюта, он не то чтобы отрицает время, а говорит, что не существует прошлого и будущего, а есть только одно неделимое и вечное Настоящее, или, как он излагает, Настоящее настоящего, Настоящее прошлого и Настоящее будущего. Между ними, по его разумению, не существует решительно никакой разницы, в силу чего не только все вещи, но и люди, события, действия обладают божественным свойством неисчезновенности. Все есть, как есть, и все есть всегда: никогда не начинало быть, пребывало вечно и не пройдет во веки веков. Когда он пытался внушить эту мысль редактору «Епархиальных ведомостей» (он и там пытался поместить свое нашумевшее объявление, которое я тебе посылаю), ему указали на Книгу Бытия, а потом на дверь... Да вот и я думаю, Анюта, разве не было Начала, разве не было Сотворения Мира и разве не будет Конца?.. Но послушай, что говорит далее этот г-н Кутейников: несовершенный человеческий разум, уязвленный бессмысленным страхом смерти и охваченный беспрерывной текучестью чувств, возомнил, что он движется в океане этого неизбывного Настоящего, да еще в некотором направлении — от прошлого к будущему. Наподобие тусклого светильника он, т. е. разум, высвечивает ничтожное пятнышко света на поверхности необозримого океана Времени и не видит весь к р у г своего бытия, составленный из мириадов этих светящихся пятнышек, слитых воедино. Мрак неведения скрывает от человека восхитительную полноту его бесконечной и безначальной жизни, и оттого он полагает, что жалкое пятнышко света — драгоценное здесь-и-теперь — и есть его печально-желанный удел, что только в нем, лучезарном и зыбком, исчезающем постоянно, он существует весь целиком. Эта безумная вера в мимолетность настоящего мгновения и есть, по словам Кутейникова, наказание Господа за грехопадение прародителей. Но Господь милосерден, Он наделяет некоторых Своих детей первоначальным зрением. И вот, Анюта, представь себе, Кутейников утверждает, что он не только исполнился божественного видения мира, развернутого в вечном Настоящем, но и обрел упоительную способность находиться по собственному разумению и с ясным сознанием как во всем к р у г е своего бытия, так и в любой его отдельно взятой точке. Он уверял меня, что он разговаривает со мною по телефону из 1915 года и что только теперь, или тогда? или как тут еще сказать, Анюта? словом, там, в 1915 году, он закрывает свое издательство,

---

[6] Пользуясь случаем, выражаю глубокую признательность и желаю всяческих благ и поныне здравствующей княгине Анне Степановне Черкесовой, приславшей мне из Люксембурга (где она содержит крохотный и трогательный музей стеклянных бомбилеток!) фотокопию этого письма. А также искренне благодарю ее бывш. гувернантку Екатерину Павловну Мандрыкину, которая сочла возможным поручиться за меня в письме к княгине, сообщив ей, что я в своем «частном и несколько мечтательном изыскании о каком-то старинном издателе» вовсе не преследую «побочной цели как-нибудь очернить или представить превратно деятельность Степана Андреевича на посту гражданского адъютанта».





освобождая француза Атаманскую, 14. Когда же я ему сказал, что здесь, у нас, в 1912 году француз собирается с ним судиться, он ответил равнодушно:

— Если Вы ему помешаете, князь, Вы сделаете богоугодное дело. Этого суда не должно быть в извечном миропорядке. Так же, как и французского заведения на Атаманской, 14, не должно быть до 1915 года. А то, что оно у вас там существует, — это досадное недоразумение. Когда-нибудь, князь, всё станет на свои места.

Он говорил мне, Анюта, что он переживает в своей жизни одновременно все — и тяжелое ранение под ключицу на какой-то великой войне, за ради которой он теперь там бросает свое издательство, и первые младенческие шаги по лоснящемуся паркету в доме своего батюшки на Кадетской, и предсмертные судороги в Люксембурге, где он будет, или, выражаясь его невозможным языком, е с т ь похоронен в 1927 году. Да еще — ты только подумай — рядом со мною! Говорит, будто мы будем жить с тобой в Люксембурге и будто бы там я умру, и даже не умру своей смертью, а эдак вычурно застрелюсь на публике, в ухо, от тоски по нашим донским раздольям. И что же это мы будем искать там, в Великом Герцогстве? А? Воевать его будем? Или выйдет какое-нибудь назначение? Что же, Анюта, поедем. А затоскуем, напишем рапорт атаману — так, мол, и так, возвращай нас на Дон... Что, нагнал я не тебя грусти, петербургская стрекоза? Да ты не слушай меня, шучу я. Потому как скучаю. Лето уже на исходе. Скоро ли ты приедешь (...)»

## 4.

Из окон дома архивариуса на бывшей Кавказской улице хорошо видна Александровская церковь. В те дни, когда старик забывает ходить на работу, а такое с ним происходит часто, ибо с некоторых пор он перестал ощущать, как он сам выражается, «изменчивость пейзажей по берегам временного потока», то есть может доплыть нечувствительно, с каким-нибудь майским деньком в голове до средины июля, он сидит у окна, смотрит на Александровскую церковь, мечтает: не отвяжет ли какой-нибудь хлопотливый ангел воздушного змея, зацепившегося за крест; не упорхнет ли вслед за летучими облаками сиреневый куст, выпроставшийся из-под купола. Хорошо, если исследователь свел знакомство с архивариусом именно в такие, слитые для него воедино, неощутимые дни. Память Кузьмы Ильича благодаря неизменному впечатлению (ангелы праздны, а куст неподвижен) оживляется до чрезвычайности. Он может вспомнить неожиданно какой-нибудь редкий источник, исполненный сведений о предмете, который казался тебе столь зыбким, столь безнадежно забытым, а иногда и просто эфемерным, что ты готов был уже отказаться от притязаний на сладкое право быть его первым исследователем; может указать безошибочно номер архивной описи, включающей некую единицу хранения — вожделенный документ, без которого шатки и крайне сомнительны все твои построения и который являлся тебе лишь в осторожных фантазиях. Плата за эти поистине неоценимые услуги Кузьмы Ильича невелика — упомянуть его в примечаниях, поблагодарить в скобках, сослаться на него в комментариях. Многие исследователи обещают ему это с большой горячностью. Но потом, как правило, бессовестно обманывают старика. Ни в статьях, ни в обширных докладах (иногда целиком построенных на драгоценных сведениях, извлеченных в тягучие сонные дни из его ободрившейся памяти) не уделяют ему ни единого слова. Кузьма Ильич, конечно же, не знает об этом. А если бы и узнал, то, скорее всего, не обиделся бы на забывчивых щелкоперов. Во всяком случае, он не стал бы скандалить с ними так увлеченно и пылко, как он скандалит с гонцами из архива, которых к нему посылают время от времени, чтобы как-нибудь — часто обманом — залучить его на работу.

— Да Вы, сударь, в своем ли уме! — кричит он солидному усачу в ядовито-оранжевой строительной каске, представившемуся прорабом.— Вы что же это, за дурака меня держите, а?! Бумаги... он раскопал бумаги! Да я Вас сразу узнал. Вы из отдела копирования. Ваша фамилия Петряков!

— Не Петряков, Петрянов.— Усач смущенно снимает каску.— Надо бы не ребо-

ту, Кузьма Ильич. Работать. Ра-бо-тать,— выговаривает он отчетливо, как будто бы изъясняется с иностранцем.

— Вот то-то и наработали,— отзывается архивариус.— Небось бульдозером воротили?!

— Это как же... то есть... Кузьма Ильич?..

— Молчать! Молчать! Ваш брат всегда норовит — бульдозером. А бумага вещь нежная, прихотливая... Что, если архив генерала Богаевского! а? Он, кажется, жил одно время на Свердлова, то бишь, дьявол вас разорви! на Горбатой... Какой вы там дом ломали?.. Нумер! Нумер скажите! — восклицает он возбужденно. И уже невозможно понять — то ли Кузьма Ильич доигрывает (в отместку? из баловства?) прерванный им же спектакль, то ли действительно каким-то странным образом принимает все ж таки за прораба уже опознанного было гонца.

Гонец, предмет его постоянной бдительности и веселой ненависти, чудится ему во всяком, кто появляется в доме без предупреждения. Помнится, при первой нашей встрече он как-то чересчур уж бодро соскочил со стула, подбежал ко мне и, нацелив оба указательных пальца в мою бороду, радостно закричал:

— Приклеили! Приклеили! А я Вас сразу узнал. Вы Соколов! Вентиляторщик! Как Вам не стыдно...

Спустя две недели, когда наша работа с Кузьмой Ильичом была уже в самом разгаре, когда он, пребывая неотлучно у излюбленного им окна (с хрустальным изломанным лучиком трещины в наружном стекле), уже цитировал с ходу необходимые мне материалы из дорежимных газет, припоминая даже, каким кеглем они были набраны, вентиляторщик,— то есть, конечно, не вентиляторщик, а инженер технической службы архива,— по фамилии Соколенко действительно заявился. Его отчаянный вид и намеренно путанное сообщение о какой-то ужасной аварии (то ли случился обвал? то ли прорвало трубы?), якобы погубившей ценные документы, не произвели на Кузьму Ильича ни малейшего впечатления. Архивариус был далеко. Так далеко, что здесь, в настоящем, где еще оставалась способная видеть и слышать часть его существа, его могло потревожить лишь резкое изменение в той неподвижной, привычной, взятой в двойную рамку арочного окна картине, которую он созерцал беспрерывно. Но там, слава Богу, все выглядело так же, как в 1912 году. Или, по крайней мере, все оставалось на своих местах — и каменные, выстроенные еще платовскими старшинами угрюмые домики с плоскими крышами, поднимающиеся ступенями от Кавказской вдоль ухабистой Красной Горки, беспорядочно вымощенной булыжником; и венчающая эту Горку южная арка Атаманского сада, выложенная из ракушечника, потемневшая и осевшая вровень с оградой; и исполненная величия, хотя и обросшая травами, облепленная кустарником церковь Александра Невского, возвышающаяся над ротондами, смотровыми курганами, павильонами,— и над всеми строениями Атаманского сада, где, должно быть, гуляли в весенние сумерки, под звуки уланской мазурки, среди лип и каштанов, озаряемых вспышками пестрых салютов, книгоиздатель С. Е. Кутейников и фотограф Ж. М. де Ларсон...

— Нет-нет,— замечает рассеянно архивариус,— кто-то один из них. Второго положительно не существовало. Господина Кутейникова выдумал Жак Мишель для коммерческих целей... или господин Кутейников — Жака Мишеля. А впрочем, не знаю. Похоже, что не было ни того, ни другого. Напишите-ка еще разок в Люксембург княгине Черкесовой, да не забудьте спросить: не ее ли батюшка давал объявления в газетах? И не она ли разыгрывала француза на Атаманской, 14?.. Как там писал вахмистр... хорошенькая маркитантка? Все может быть. Все изменчиво. Никакого извечного миропорядка нет. Лжет Кутейников...

Помню, при этих словах Кузьма Ильич поднялся со стула, отшатнулся от окна и, взглянув на меня тем злобно-веселым, торжествующим взглядом, каким он смотрел на злосчастных гонцов, прокричал:

— Торопитесь! Торопитесь! Княгине, должно быть, за девяносто! Смотрите, как бы не опередил Вас проворный гонец от ангела Азраила! А ко мне он... вон он, вон он! — уже спешит! Спускается по Красной Горке...

---



ПРОЗА

БОРИС ШИРЯЕВ

# НЕУГАСИМАЯ ЛАМПАДА

РОМАН

## Часть вторая
## НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА

### Глава 5
### И МЫ — ЛЮДИ

В одной из первых партий 1923 года на Соловки прибыл провинциальный актер Сергей Арманов.

Кремль того времени по своему внешнему виду был далек от того кипящего своей особой, каторжной жизнью муравейника, в который он превратился в 1925 году. В центре его мрачно чернели обгорелые купола громады Преображенского собора, дворы были завалены мусором и обломками... Сорванные двери, разбитые окна... Пожарище...

Первый революционный захватчик мощного, богатого и образцово благоустроенного монастыря — Кемский земельный отдел Архангельского совдепа — прежде всего занялся грабежом богатств, накопленных трудолюбивыми монахами за 400 лет, но не успел вывезти и половины, как пришел приказ Москвы передать острова ГПУ.

Новый хозяин шутить не любил и упускать свое «наследство» тоже не собирался. Грабители прибегли к старому испытанному способу — подожгли монастырь, чтобы замести след. Сильно пострадал замечательный пятиярусный иконостас работы суздальских мастеров XVII века, погибла в огне большая часть архива с грамотами московских царей и новгородских посадников, многие ценности ризницы, но толстые, навек сложенные стены жилых корпусов устояли. Они спасли от огня и палаты архимандрита, его малую домовую церковь и сводчатую, темную трапезную братии. В эту трапезную и попали прибывшие.

Если бы сценический талант Сергея Арманова был равен хотя половине его великой, пламенной любви к театру, то он, Арманов, несомненно, превзошел бы в славе своей и Тальма, и Гаррика, и Мочалова. Вся вселенная представлялась ему лишь огромной сценой, на которой Великий Режиссер разыгрывает нескончаемую трагедию. Даже сидя под следствием в Бутырках, он ухитрился и там в набитой до отказа общей камере составить нечто вроде труппы-варьете с танцорами, певцами, декламаторами и китайским фокусником.

---

Продолжение. Начало в № 4 за 1991 год.

Новоприбывшие наскоро сбивали нары из обгорелых досок, а в воображении актера Арманова уже горели огни рампы в глубине трапезной, где еще стоял крепко въевшийся за двести лет в стены запах неизменной монастырской ухи из трески.

Наутро, когда дежурный конвоец заорал во всё горло: «На поверку становись! Живо!» — перед ним вынырнула из темноты тощая длинная фигура.

— К врачу, что ли? Потом заявишь! Становись!

— К начальнику лагеря.

— А ты кто будешь растакой-сякой?

— Известный артист Арманов! — прозвучал гордый ответ.

— Знаем... Здесь все артисты... Становись!

— Театр устрою!

Это было сказано так уверенно и внушительно, что произвело впечатление. В полдень Арманов уже излагал свой план начальнику отделения Евринову, а вечером шнырял по темным коридорам, спотыкался о валявшиеся там бревна и доски, падал, чертыхался, наступал на чьи-то руки и ноги, но неутомимо, упорно искал желавших играть на сцене без освобождения от работы, после 10—12 часов тяжелого труда на морозе.

И нашел.

* * *

Репетировали, вернувшись с работ и наскоро похлебав баланды из голов соленой трески. Собирались на репетиции туго, порою с руганью, но, начав повторять за суфлером, режиссером и главным актером Армановым слова роли, просыпались, оживали; распрямлялись спины, загорались глаза.

Электростанция еще ремонтировалась, света не было. В келье горел единственный, добытый тем же Армановым огарок. Культурно-просветительная часть административного аппарата тоже не была еще организована. Она создалась позже, после первого спектакля, как надстройка над уже начатой «снизу» культурной работой.

Часть актеров выбыла после первых же репетиций: одни сами бросили, другие оказались никуда не годными. Арманов нашел им замену, и через две недели на замшелой кремлевской стене, около главных ворот, красовалась первая на Соловках, тщательно, с соблюдением всех тонкостей театральных традиций, выписанная разведенным химическим карандашом афиша.

Единственный раз в жизни Сергея Арманова осуществилась его заветная мечта: его фамилия красовалась на афише, написанная крупнейшими буквами. Потом лагерное начальство запретило выделять кого-либо из артистов.

Но в тот знаменательный день Арманов, несомненно, заслуживал лаврового венка. Им было сделано всё: сцена из опрокинутых шкафов, в которых хранилась прежде посуда трапезной, декорации из побеленных известкой мешков, из них же занавес, грим из клюквы и сажи, пудра из отсеянной муки... Даже текст «Медведя», который он записал по памяти, с некоторыми, правда, дополнениями... но, думается, простит их ему никого не осудивший при жизни автор!

Вторая пьеса была взята из случайно нашедшегося у кого-то номера журнала «Синяя блуза». Героем ее был «фашист» Детердинг.

Нужна ли была эта афиша в концлагере, где каждый случайно пущенный слух разносится мгновенно по арестантской «радио-параше»?

Нужна. Перед ней беспрерывно толпились, читали, перечитывали, уходили и снова к ней возвращались, находя в ее чтении какое-то непонятное наслаждение.

Нигде так не любят, не ценят своего театра, как на каторге. Нигде так не гордятся им и актеры и зрители.

Это видел еще Достоевский на представлениях «Кедрила-обжоры». Видел и понял. Но не сказал: почему.

Театр на каторге — экзамен на право считать себя человеком. Восстановление в этом отнятом праве. Афиша — диплом на это звание и для актера и для зрителей. Вот почему перед нею толпились.



**СОЛОВЕЦКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ И КОМЕДИИ**

**1. МЕДВЕДЬ**

Миниатюра А. П. Чехова

Участвуют: АРМАНОВ, Овчинников, Рахман

**2. СТАКАН НЕФТИ**

Злободневный политический гротеск Н. Б.

Участвуют: АРМАНОВ, Климов, Красавцев, Чекмазов

**3. Грандиозный разнообразный дивертисмент**

Кавказские танцы. Хор сибирских бродяг.

Цыганские романсы. Куплетист Иван Панин в своем репертуаре.

Соло на балалайке — виртуоз Лепеша.

Участвует вся труппа

Вход по билетам

Худ. рук. С. АРМАНОВ — Режиссер С. АРМАНОВ

Дирекция С. АРМАНОВ

Начало в 7 часов вечера

— И мы — люди. Всё-таки, как-никак, а — люди. Несмотря ни на что — люди!

Позже, когда спектакли стали регулярными и сам театр превратился в профессиональный, яркость этого ощущения утратилась, но тогда, на пожарище, каждый из читавших афишу, не сознавая, чувствовал это, ради этого ощущения перечитывал ее и, отойдя, возвращался к ней вновь.

Создатель первого соловецкого каторжного театра, третьеразрядный провинциальный актер Сергей Арманов, имел полное право начертать аршинными буквами свое имя!

Когда выяснилось, что больше половины мест в зрительном зале получат солдаты Соловецкого особого полка, охрана и начальство, спектакль чуть не сорвался.

— Не для них после работ репетировали!.. — негодовали актеры, и только обещание повторения спектакля удержало их от отказа играть, хотя знали, что это будет сочтено саботажем и репрессии неизбежны.

Билеты распределялись через ротных командиров, и для получения их нажимались все пружины всемогущего блата. Не обошлось и без барышничества, и цена за билет доходила до десяти хлебных пайков — стоимости крепких ботинок на каторжанском рынке.

Сказать трафаретно «спектакль прошел с шумным успехом» значило бы обокрасть Арманова в день зенита его славы. Хлопали до онемения ладоней, стучали ногами, завывали воплями вызовов... Было забыто всё: каторга, непосильный, изнурительный труд, безмерное унижение, голод, поджидавшая многих смерть...

Огни рампы, вспыхнувшие в монашеской трапезной, творили свое чудо преоб-

ражения. На сцене из поваленных шкафов их свет превращал заурядного актера Арманова только в могущественного миллиардера Детердинга, но на скамьях зрителей он претворял в людей, отчаявшихся ими быть...

* * *

На следующий день в приказе по УСЛОН было отдано распоряжение об организации воспитательно-просветительной части, начальником которой был назначен Неверов, чекист-хозяйственник из сельских учителей, бесцветный, но мягкий по характеру человек, вероятно, большой неудачник в жизни, чем лишь и можно объяснить то, что на Соловках он был чуть ли не единственным, прибывшим туда добровольно. В помощники ему для фактического руководства работой дали бывшего начальника ЧК Закавказья Д. Я. Когана, сосланного на предельный срок (тогда 10 лет). До революции Коган считался крупным подпольщиком и теоретиком марксизма, конкурентом Кирова и Орджоникидзе, что, кажется, и загнало его на Соловки.

Вскоре из Бутырок было получено несколько тысяч книг, начала работать библиотека[1].

Театр стал постоянным, но его актеры освобождены от работ не были. Однако само помещение театра в бывшей монастырской трапезной было хорошо оборудовано. Сцена, зрительный зал, освещение, декорации — всё было сделано под руководством бескорыстного слуги Мельпомены Арманова, и, выполнив предназначенное ему судьбой дело, он отошел на задний план, уступив место вновь прибывшему старому провинциальному комику М. С. Борину, широко известному на юге России.

Макар Семенович Борин был тертым калачом. Три десятка лет работы в провинциальных антрепризах дали ему не только глубокое знание сцены, но, может быть, еще более глубокое знание человеческой души.

Через несколько дней после высадки на острове он вполне ориентировался в сложной и запутанной системе внутренних соотношений каторжного муравейника, понял, что Неверов — нуль, хоть и числится начальником ВПЧ, вся же сила в руках Васькова, грубого полузверя, но вместе с тем и очень глупого человека, которым, в свою очередь, управлял умный и деловитый Коган, а Когану нужно показать товар лицом. Он-то знает толк и разберется в качествах актера. Поэтому для своего соловецкого дебюта Борин выбрал «Лес» и выступил в сотни раз игранной им, испытанной и проверенной роли Аркашки. Несчастливцева играл Арманов.

Опытным, наметанным глазом старого лицедея Борин нащупал среди энтузиастов-любителей сносных и даже хороших исполнителей других ролей и «показал класс».

Разница между ним и Армановым была ясна, и Борин стал первым освобожденным от других работ руководителем соловецкого театра.

Действуя и дальше «тихой сапой», он клал на свою стройку кирпич за кирпичом: выпросил сначала освобождение от работ для нескольких ведущих актеров, потом еще для десятка, «прикрепил» к театру технический персонал: портного, парикмахера, бутафора, плотников...

Через год в новом, изящно отделанном по эскизам ссыльного художника Н. Качалина и прекрасно оборудованном театре на 1500 мест М. С. Борин давал перед приехавшей на Соловки, во главе с «самим» Боким, заместителем Менжинского, комиссией действительно блестящий парадный спектакль — «Борисе Годунове» А. С. Пушкина, в собственных, выполненных художниками-каторжанами декорациях и роскошных костюмах, сшитых из нераскраденных, в силу невозможности сбыть, запасов парчи монастырской ризницы.

## Глава 6
## ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МОГИКАН

Это был длившийся 2—3 года период максимального напряжения культурной жизни Соловецкой каторги. Старая интеллигенция составляла около половины ее населения и беспрерывно пополнялась новыми ее представителями всех видов и всех

[1] До революции заключенные в Бутырской тюрьме твердо держались традиции оставлять в ней при выходе или переводе присланные им в тюрьму книги. Это вместе с большими покупками за счет казны создало в Бутырках крупный книжный фонд. ГПУ многое изъяло, но Бутырская библиотека и теперь насчитывает несколько десятков тысяч томов.





профессий. Традиции русской культуры, надломленные революционной бурей, были еще живы и действенны. Приспособленчество в те годы еще не растерло личность в порошок. «Последние могикане» русской интеллигенции тогда не только помнили, но и ощущали и несли в себе ушедшее «вчера». Духовенство высоко держало крест, офицерство хранило устои долга и чести, юристы — их было много на Соловках того времени — стройное представление о праве и законности, артисты и художники — стремление к свободе творчества и бескорыстному служению искусству.

Всё это находило свои формы выражения даже в условиях каторги — вернее, открытой могильной ямы, в которую упоенный победою всероссийский Шигалев сбрасывал огулом действительных и возможных врагов грядущего коммунистического рабства.

Соловецкий театр первых лет своего существования выражал эти, еще жившие тогда традиции ярко и полноценно. Он мог сделать это, так как в нем нуждались сами тюремщики, как в яркой вывеске, кричавшей о культуре, и в силу этого предоставляли соловецкой сцене относительную свободу, — как это ни странно, но значительно большую, чем та, которую имел театр тех лет на материке.

В репертуаре соловецкого театра 1923—27 гг. агитка почти отсутствовала и шли даже запрещенные в РСФСР пьесы, как, например, «Псиша», «Старый закал», «Каширская старина», «Сатана» (Гордина).

— Попов и генералов всё равно не сагитируешь, а гнилую шпану и агитировать не стоит! — изрек, разрешая их, зам. нач. управления лагерями Эйхманс.

Думается, что этой фразой он не только прикрывал свое личное желание видеть полноценные, интересные спектакли (театр он любил), но и выражал взгляды коллегии ОГПУ, смотревшей тогда на этот первый концлагерь только как на свалку недобитых буржуев, последышей...

Тенденция эксплуатации труда заключенных зародилась позже — в 1926—27 гг. Тогда же, до 1926 г., значительно большая, по сравнению с материком, свобода предоставлялась и выходившему несколько позже «толстому» ежемесячнику «Соловецкие острова», в котором шли далеко не «созвучные эпохе» воспоминания последнего царского резидента в Хиве генерала Зайцева, очерки сменовеховца Н. К. Литвина, бывшего ростовского журналиста, рассказы и повести Б. Глубоковского, автора этих строк и др.

* * *

М. С. Борин, как опытный старый актер, строил репертуар прежде всего на самом себе. Аркашка Счастливцев, Расплюев, Шмага, Фердыщенко из запрещенной тогда на материке сценической переработки «Идиота»... Все классические образы русского комического жанра прошли в его исполнении перед глазами соловецких зрителей. Репертуар он строил на наиболее ходких пьесах предреволюционной русской драматургии. Шли «Дети Ванюшина», «На дне», из иностранных «Потоп», «Коварство и любовь», «Сверчок на печи»... Очень жидкую «революционную» часть репертуара составляли «Поджигатели» Луначарского, «Рабочая слободка» Е. Карпова, шумевший тогда в театре Мейерхольда «Мандат».

О грубой агитке, заполнявшей уже сцену РСФСР, на Соловках не было и помина.

Сценическая культура и техника соловецкого театра того времени стояла на такой ступени, что несколько позже, когда актеры были освобождены от общих работ, он мог ставить по две премьеры в месяц. Раз даже была поставлена оперетта «Тайны гарема» с оркестром, хором и балетом, причем «танец негритят» исполняли дети комсостава Соловецкого особого полка, обученные артистом балета — каторжником Шелковниковым.

Странные, полные контрастов отношения были между тюремщиками и каторжниками в спутанные, неустоявшиеся годы взвихренной Руси. Конвой охраны вечером с жаром, до самозабвения аплодировал тем, кого наутро мог пристрелить или заморозить в лесной глуши.

Автор этих строк играл в скетче своего сочинения, являясь на спектакль и репетиции непосредственно из строгого карцера, куда он попал за неумеренный протест против несправедливостей надсмотрщиков, штат которых был сформирован из грузин-меньшевиков, участников восстания 1923 года.

Кто же играл на соловецкой сцене?

Те, кто ее любил. Те, для кого она была не средством переключиться на более легкую работу, но возможностью развернуть свою, порою неосознанную потребность творчества.

Почти целый год актеры репетировали и выступали после выполнения ими тяжелого урока в лесу. Более того, в день спектакля они старались возможно раньше выполнить норму, чтобы успеть до начала его привести себя в порядок, побриться (это было нелегко, иметь бритвы при себе не разрешалось), выпросить у приятелей недостающие принадлежности костюма, повторить роль или немного отдохнуть...

Эта тяжесть работы на сцене создала естественный отбор, который определил ядро труппы. Оно было очень пестро и по социальному составу, и по уровню общей культуры. Вместе с изящным сенатским чиновником, питомцем лицея и учеником Варламова Кондратьевым выступал полуграмотный казак-бандит Алексей Чекмазв, рядом с древней рыцарской фамилией правоведа барона фон Фицтума стояла блатная кличка Семки Пчелки, вора-рецидивиста, который и сам после многих перемен в своей бурной жизни, вероятно, позабыл свое подлинное имя. Актеры-профессионалы: Глубоковский из Камерного, Красовский из 2-го МХАТа и др. не выделялись, но сливались с остальными.

Среди актрис профессиональных совсем не было, но и здесь наблюдалась такая же пестрота: кавалерственная дама, смолянка, вдова командира одного из гвардейских полков Гольдгоер выступала вместе с портовой притонодержательницей Кораблихой, волею судеб попавшей на Соловки вместе с мятежными кронштадтскими матросами. На Соловках в ней обнаружился яркий талант амплуа комических старух.

Параллельно со сценой развивалась и концертная эстрада. Не говоря о многих певцах, скрипачах и пианистах, к 1926 г. были созданы приличный духовой и симфонический оркестры. Девять десятых программы занимала серьезная музыка. Здесь, как и на сцене, можно было слышать то, что не допускалось за пределами лагеря: запрещенного «белобандита» Рахманинова, «Чуют правду» в исполнении дантиста-шпиона Ганса Милованова, обладавшего сверхмощным, но абсолютно не обработанным басом, повергавшим шпану в мистический ужас.

Театр был первым зерном культуры на Соловецкой каторге. Он вызвал своеобразные и единственно возможные там проявления общественности.

## Глава 7

## ЗАРНИЦЫ С ЗАПАДА

Из взбаламученного моря отвергшей свое имя России на Соловки летели брызги каждой вздымавшейся там волны. Случайно спасшиеся от расстрела на фронте пленные деникинцы и колчаковцы, участники офицерских заговоров и восстаний, кронштадтские матросы, крестьяне-повстанцы средней России, повстанцы-грузины; ферганские и туркменские басмачи... Потом — причастные на самом деле или припутанные, «пришитые», как говорили на Соловках, к громким «показательным» процессам: церковники-тихоновцы, федоровцы, баптисты и даже несколько масонов, а вместе с ними и хлопья пены уже вошедшего в полную силу нэпа: валютчики черной биржи, растратчики, преимущественно из коммунистов (беспартийные шли в суд), первые «хозяйственники» — незадачливые дельцы советской торговли, а вместе с ними захваченные в облавах проститутки и торговцы кокаином. Пестры были толпы сходивших на соловецкий берег с парохода «Глеб Бокий».

Далекий, но не замкнутый еще тогда «железным занавесом» свободный зарубежный Запад тоже бросал свои блики на эти серые волны прибывающих на каторжный остров «пополнений». На Соловках эти отблески европейской жизни преломлялись гротескно, порою уродливо: в аспекте тех сумбурных, бродивших, как сусло, лет.

Наиболее ярким из этих отблесков были, пожалуй, «русские фашисты» и «фокстротисты», а самой выпуклой, блесткой фигурой первой из этих групп был характерный представитель московской предреволюционной богемы артист Камерного





театра, журналист, и несомненно талантливый, хотя так и не успевший развернуться беллетрист Борис Александрович Глубоковский[2].

Искристая и разнообразная талантливость так и сверкала во всем, за что он только ни брался. Блестяще окончив Московский университет, Глубоковский имел полную возможность быть оставленным при нем и обеспечить себе научную карьеру; он мог также, избрав адвокатуру, стать помощником видного присяжного поверенного, кажется, Ладницкого (позже первого посланника Польши в СССР). Речью он владел превосходно, а темперамент и глубокий, раскатистый «львиный» голос делали его не только увлекательным, но огненным, умевшим захватить слушателей оратором. Но Глубоковский метнулся к театру. Таиров охотно принял его в свой стоявший тогда в зените славы Камерный театр и начал выдвигать, давая столь значительные роли, как, например, Тигиллин в «Саломее» Уайльда. Удачно шла и журналистика, которая тоже влекла Глубоковского. Позже некоторые его рассказы проникли даже в зарубежное «Накануне».

Но Глубоковский был столь же беспутен, сколь и талантлив. Беспутен почти в буквальном значении этого слова: поехав, например, с Камерным театром в турне по Европе в начале двадцатых годов, он ухитрился «потерять» его в Берлине, а сам очутился в Мадриде, откуда его доставил к месту службы советский полпред. Это путешествие по Европе косвенно послужило ему путевкой на Соловки.

В то время, в первые годы нэпа, в Москве имел большой успех ночной артистический кабачок «Бродячая собака», открытый широко известным в богемных кругах ловким предпринимателем Борисом Прониным[3].

В этом подвале на Кисловке после двух часов ночи можно было видеть многих известных артистов и литераторов, там шумел Есенин, всегда сопутствуемый более чем сомнительной компанией, порою маячила одутловатая маска только что вернувшегося из эмиграции и еще нащупывавшего почву А. Н. Толстого. Забредал туда и Луначарский в окружении своих «цыпочек» с Н. И. Сац в роли дуэньи. Артисты мешались с коммунистами и нэпачами, не обходилось, конечно, и без агентов ОГПУ, получавших в «Бродячей собаке» широкие возможности подслушать вольные спьяну разговоры.

Скрипки оркестра надрывно тянули:

Все то, что было,
Все то, что ныло,
Все давным-давно уплыло...

В уборной открыто торговали кокаином, на полу валялись окурки толстых «посольских» папирос, густо измазанные кармином губной помады; приехавший из Парижа поэтик Борис Парнок танцевал тогдашнюю новинку монмартрских кабачков — фокстрот и формировал в театре Мейерхольда первый в Москве джаз...

В этой-то болезненно-удушливой атмосфере и родился характерный для тех безвременных, сумбурных лет «Союз русских фашистов».

Назвать этот «союз» в какой-либо мере политической партией или хотя бы заговором было бы только смешно. Период офицерских подпольных организаций к тому времени уже закончился, утопив себя в крови, пролитой в подвалах ГПУ. Крестьянское сопротивление коммунизму было парализовано иллюзиями нэпа, но порывы к борьбе продолжали вспыхивать, порою в самых неожиданных и даже нелепых формах. Одною из таких был «русский фашизм», зародившийся из отзвуков на скудные сообщения советской прессы о победе Муссолини над коммунизмом.

Идеологии итальянского фашизма никто из «русских фашистов» не знал даже в общих чертах, однако организации того же типа возникали и в Москве, и в Киеве, и в Харькове, и в Одессе. Их брызги долетали до Соловков.

Психологической основой этих организаций был протест первых ощутивших разочарование в революции и неосознанная еще ими тоска по разрушенной и поверженной русской культуре, звучавшая даже в поднятых тогда не щит, а позже запрещенных новеллах Бабеля. Думается, что именно он и некоторые замолкшие теперь поэты были выразителями настроений этих разочаровавшихся бунтарей.

---

[2] Все имена и фамилии, приведенные в этой главе, точны. Я не боюсь этого делать, так как подавляющее большинство этих лиц уже мертвы. Повредить им я не могу. — Б. Ш.

[3] Подробнее о колоритной для того времени фигуре Бориса Пронина, оказавшегося агентом ЧК, читатель может узнать из очерка о нем, данного Г. Ивановым в его интересной книге «Петербургские зимы», изд. им. Чехова. — Б. Ш.

Несколько молодых поэтов из числа многих, заполнявших тогда эстрады «Домино» и «Стойла Пегаса»[4], столь же молодых журналистов и актеров, полных не перебродившей еще революционной романтики, распаленных вином и кокаином, вошли в эту группу. Число ее членов не превышало 20—30 человек. Какой-либо оформленной программы не было. Конспирация была детски-наивной. Собрания «Союза русских фашистов» происходили главным образом в подвале «Бродячей собаки», и на одном из них после обильных возлияний стали «распределять портфели будущего фашистского правительства». Кандидата, достойного занять пост министра иностранных дел, не нашлось, и портфель был предложен сидевшему за соседним столиком, уже много выпившему Глубоковскому, как только что вернувшемуся из-за границы и «осведомленному в вопросах международной политики».

Вся эта история была бы только глупым и смешным анекдотом, если бы не окончилась расстрелом одиннадцати и ссылкой нескольких десятков человек. Все они были молоды и многие из них — талантливы.

Глубоковский получил 10 лет концлагеря. Остальные «члены правительства» погибли. Он же, отбыв срок, вернулся в Москву для того, чтобы там умереть, отравившись морфием. Случайно или намеренно — я не знаю.

Попав на Соловки, Глубоковский быстро выделился из общей массы. Уже окрепший к этому времени театр испытывал острую нужду в актере именно его жанра, в «герое». После первого же дебюта в роли Рогожина (сценическая переработка «Идиота» Достоевского) Глубоковский был освобожден от общих работ и закреплен за ВПЧ в качестве актера и лектора.

Лектором он был интересным, даже захватывающим, но своеобразным: его мозг прекрасно работал в аналитическом и критическом направлениях, но был абсолютно бессилен при синтезе и еще более — в области конструктивной, созидательной работы мысли. «Разделать под орех» было его специальностью и «разделывал» он смело, ярко и забористо кого угодно и что угодно.

Носил ли он в себе какой-либо идейный костяк или хотя бы определенные непоколебимые идейные устремления? Я знал его близко и смело говорю — нет. Никаких. Он был только кислотой, быть может, даже ржавчиной, разъедающей всё, чего он касался. Эта характерная для него черта была созвучна первым симптомам спадания волны революционного пафоса, разочарования в революции, вылившаяся позже в горькую ходкую формулу:

— За что боролись?

Еще меньше идейного содержания несла в себе вторая группа соловецких «западников», прозванная «фокстротистами». Ее составляли молодые люди, в большинстве из средней московской интеллигенции, виновные лишь в том, что хотели, по праву своего возраста, веселиться. В Москве они собирались на уцелевших еще кое у кого больших квартирах, чаще всего у расстрелянного позже и по другому делу крупного железнодорожного деятеля фон Мекк и танцевали только что входивший в моду фокстрот. Их «дансинги» были сочтены заговором, хотя «фокстротисты», по крайней мере подавляющее большинство их, были до смешного безграмотны в политике и абсолютно чужды ей.

Но среди них были прекрасные пианисты Б. Фроловский и Н. Радко, ученик Игумнова, был недурной эстрадный танцор Н. Рубинштейн, умерший на Соловках от туберкулеза, акробатический танцор школы Форренгера Н. Корнилов, поэт Б. Емельянов, блестящий версификатор, выступавший в московских кабаках с мгновенными экспромтами на заданные публикой темы, талантливый младший режиссер 2-го МХАТа Н. Красовский. К ним примыкал также осужденный по другому делу и иной по своему внутреннему укладу, серьезный и глубокий поэт Н. Бернер, один из немногих уцелевших с тех времен и вырвавшихся в волне второй эмиграции, ныне здравствующий и печатающийся в газетах зарубежья под псевдонимом Божидар. Это была талантливая молодежь.

«Фокстротисты» были тоже богемой, но иного типа, чем та, из среды которой вышел Глубоковский. До революции они были благовоспитанными мальчиками «из хороших семей». Ее шквал разметал уюты их быта. Отцы лавировали между подвалами ГПУ и местом спеца при каком-нибудь наркомате, матери продавали на Сухаревке ставший ненужным балластом фарфор и хрусталь из распиленных на дрова буфетов, а сами они, полностью чуждые революции, слепо тянулись к маячившим где-то «огням Бродвея» и жадно ловили долетавшие оттуда обрывки шумов свободной жизни, без очередей, уплотнений, обысков, полуголода...

---

[4] Два московских «кафе поэтов» того времени, в которых собирались и читали свои произведения представители многочисленных тогда поэтических течений: имажинистов, акмеистов, [illegible]истов, ничевоков и пр. Тоже характерное для тех лет явление. — Б. Ш.





Подушки смятые, подушки алые,
Духи Коти, коньяк Мартель,
Твои глаза всегда усталые
И губы пьяные, как хмель...

Так звучал их гимн. Мало ли было таких тогда?

Изредка в сходившей с парохода толпе «пополнений» мелькали сменовеховцы, больно ушибшиеся о Запад и оттолкнувшиеся от него. Таким был Н. К. Литвин, журналист, до революции сотрудник крупных либеральных ростовских газет, потом эмигрант с Графской пристани, прошедший через Галлиполи и блуждания по Балканам с какой-то импровизированной эстрадной труппой. Оттуда — в Берлин. Волна послевоенного шиберства не захлестнула, не вовлекла в себя нежную лирическую душу Н. К. Литвина, он стал чужим и одиноким даже в среде эмиграции, подобно многим, сходным с ним натурам, например, Огнивцеву. Молчаливо, застенчиво улыбаясь, садился он в уголке той кельи, где собиралась по вечерам шумная компания «неунывающих соловчан», и слушал ее споры, не вступая в них сам, смотрел со стороны на мелькавшую перед его глазами сутолоку, не врастая, не вживаясь в нее. Таким он ушел с Соловков в Сибирь, куда ему дали дополнительный срок. Много позже, увидев мою подпись в какой-то газете, он прислал мне письмо с Енисея, где работал поваром артели рыболовов, и там также был чужим, также смотрел со стороны, не вливаясь в течение жизни, пока смерть не унесла его из нее.

Но и шиберство Запада брызнуло на Соловки несколькими своими каплями. Одной из них был Миша Егоров, по кличке Парижанин.

Я увидел его впервые в общей камере Бутырской тюрьмы, куда Миша был доставлен... непосредственно из Парижа.

Хлопнула дверь, и, как всегда, все воззрились на «новенького».

Было на что посмотреть!

Перед нами стоял великолепно одетый молодой человек, державший в одной руке залепленный яркими рекламами отелей желтый заграничный кофр, а в другой — огромную голубую бомбоньерку. За ту же руку была элегантно зацеплена трость, а с плеча ниспадало шикарное, длинное по тогдашней моде, полосатое шелковое кашне.

Пораженная этим необычайным для Бутырок явлением, камера смолкла.

Прибывший несколько удивленно обвел нас глазами, протянул: «Н-да-а-а...» — и вдруг широко улыбнулся:

— Бонжур, честная компания!

Через час мы все уже знали трагикомическую эпопею Миши. Его отец был довольно известным московским средней руки купцом, что не помешало сыну стать уже в 17-м году коммунистом. После Октября он, как знакомый с коммерцией, был направлен в Париж в торгпредство. Там...

— Пожил, ребятки! И хорошо, чёрт возьми, пожил! — мечтательно улыбаясь, рассказывал Миша. — Париж — это, знаете ли... не Хамовники!

Парижская жизнь Миши была оборвана срочным вызовом в Москву. Миша поехал, полный, как всегда, самого радужного оптимизма, прихватив даже огромную коробку дорогих конфет для дамы своего сердца. Так, вместе с этой коробкой и желтыми кофрами, полными модных новинок, он и угодил в Бутырки, будучи арестованным при выходе из вагона экспресса Париж — Москва.

Что именно послужило причиной краха карьеры Миши — знакомство ли с парижскими эмигрантами, с которыми он весело покучивал в монмартрских кабачках, или слишком свободное обращение с подотчетными суммами торгпредства — установить не удалось, но приобретенный в Париже шарм не покидал его даже на Соловках. Там Миша быстро устроился на какую-то легкую работу и разгуливал по монастырским дворам с тою же тростью, в том же шелковом кашне и надетой набекрень фетровой шляпе...

Эти, казалось бы, столь различные люди (что общего могло быть между бе-

жавшим от шиберства тихим лириком Литвиным и нашедшим в том же шиберстве свою стихию Мишей?) слились на Соловках в тесный, дружный кружок.

Что их сближало и роднило?

Теперь, вглядываясь в минувшее, я улавливаю стимулы этого сближения. Один из них можно назвать бездомностью, неумением найти свое место в новых, еще не выкристаллизировавшихся формах изломанной жизни. Другой — поиск этого места, неразрывная с молодостью жажда самопроявления и самоутверждения. Первый рождался из необорванных связей с ушедшим. Второй — из стремления влиться в современное, в будущее из того, чего не было у старшего поколения, целиком отмежевывавшегося и от настоящего и от будущего перетряхнутой сверху донизу России. Сочетание этих двух противоречивых друг другу начал сближало их носителей между собой и одновременно отталкивало их от целиком ушедших в свое прошлое и полностью отвергавших настоящее, заброшенных на Соловки «бывших людей».

Этим группам соловецкой интеллигентной молодежи предстояло вовлечь сюда и другие, сходные с ними по психике элементы и оформиться в том, что носило на Соловках имя «ХЛАМ».

## Глава 8
## «ХЛАМ»

Дело происходило зимним вечером 1924 года в «Индийской гробнице» — камере чистокровного индуса Набу-Корейши, где он иногда угощал нас после спектакля настоящим черным кофе с сахаром и печеньем — редкостным лакомством на Соловках. Корейша, сидевший на Соловках «за шпионеж», был представителем большой индийской фирмы, торговавшей джутом, и получал от нее крупные суммы в иностранной валюте. На руки ему этих денег не давали, но он мог закупать на них что ему угодно и сколько ему угодно в закрытом кооперативе НКВД. Это богатство давало ему не только освобождение от работ, но даже отдельную теплую и светлую келью. В ней-то, носившей у нас имя боевика экрана того времени — «Индийской гробницы», мы и обсуждали в тот вечер только что оконченный спектакль.

— Все это рутина, старье, заваль, — ораторствовал Миша Егоров, — нужно искать новых форм.

— Борин, что ли, на седьмом десятке лет жизни будет тебе их искать? — пренебрежительно бросил Глубоковский. — Таиров с Мейерхольдом пока еще не нашли и к нам сюда не доставили.

— Можно и без Таирова обойтись... самим... — изрек Миша.

— Кому это самим? Ты, что ли, поведешь к новым формам?

— Почему обязательно я? Сколько вас здесь: поэты, литераторы, артисты, музыканты... Создадим коллектив, организацию и начнем!

— А кто это разрешит тебе организацию?

— Разрешат, — уверенно заявил Миша. — Коган, безусловно, поддержит, Неверов под его дудку пляшет, а Васьков балда, что ему Коган подскажет по культурной части, то и будет. Берусь устроить! — заорал он.

Его практическая купеческая сметка не терпела отвлеченности и тотчас же отыскивала для идеи реальные формы.

— Все хлопоты на себя беру! Ручаюсь! Сделаю!

Темперамент Миши хлестал из него бурным фонтаном и захватывал нас.

— А почему бы нет? Театр малых форм, но не по текстам «Синей блузы», а наш, соловецкий? — поддержал Егорова Акарский, деникинский офицер, в прошлом тоже близкий к московской богеме. — Литвин, Глубоковский, Ширяев подработают тексты, Глубоковский и Красовский — режиссура, а исполнителей всех видов — актеров, певцов, танцоров и музыкантов — на Соловках хватит! Будет успех — новые к нам потянутся, да и «пополнения» с каждым пароходом прибывают... Дерзнем!

— А как окрестим это дело? Название очень важно: попадем в тон начальству — разрешат, промахнемся — могила и черный гроб.

— Организация пролетарских...

— К чёрту пролетарских!

— Цех...





— К дьяволам все цехи! Ты еще скажи худ-раб-сила! Идиот!

— ХЛАМ! — неожиданно выпалил нескладный, длинный, как жердь, и вечно попадающий в нелепые положения поэт Борис Емельянов, восхищавший шпану своим черным плащом-крылаткой, в котором он разгуливал по Соловкам и летом и зимой. — ХЛАМ, — уныло, но твердо повторил он.

— Ты что, окончательно сдурел? — уставился на него Мишка Егоров. — Мочевой пузырь в голову переместился?

— Ты дурак, а не я, — спокойно и так же уныло отозвался Емельянов, — художники, литераторы, актеры, музыканты; начальные буквы х, л, а, м. То есть ХЛАМ.

Все застыли, как в финале «Ревизора».

— В точку! — завопил первым Мишка. — Что надо! Под таким названием не артистическую, а контрреволюционную организацию можно у Васькова провести! Ее двусмысленность всем понравится! Кончено — ХЛАМ — и никаких гаек!

Так в «Индийской гробнице» Набу-Корейши, коммерческого представителя Бомбейской фирмы, присужденного к Соловкам «за шпионаж», родился если не самый яркий, то во всяком случае самый искренний и откровенный сценический выразитель настроений тех сумбурных лет, когда обрывки ушедшего сплетались с неясными, тонкими нитями, ведущими к туманному, неясному будущему русской культуры. Он родился на Соловецкой каторге, потому что именно там, в те годы было больше внутренней свободы, чем на материке, потому что там еще светилась бледным пламенем Неугасимая Лампада Духа. Только там в охватившей Россию тьме безвременных лет.

* * *

Добиться разрешения на спектакль под маркой «свободного «ХЛАМа», а не воспитательно-просветительной части было довольно трудно, но удалось, как и рассчитывал Миша Егоров, при помощи сочувствовавшего всем новым начинаниям партийца-интеллигента Когана. Все работали дружно, дополняя один другого. Никаких «целей» не ставили и «программ» не составляли. Каждый участник ХЛАМа действовал свободно, задумывая, разрабатывая и осуществляя задуманное.

Когда программа первого вечера определилась достаточно ясно и литературные тексты были готовы, выяснилось, что удельный вес злободневной соловецкой тематики значительно превышал остальные разделы программы вечера и некоторые фразы звучали слишком смело. Кое-кто приуныл.

— Прихлопнет Васьков наш ХЛАМ еще до его рождения. Перехватили ребята. Надо потише, поосторожнее... — слышались голоса робких.

Но неробкие упорствовали.

— В этом-то и сила! Увидите, что как раз это и понравится. Ведь им самим надоела агитационная жвачка. Только бы цензуру Васькова проскочить. Он по глупости может зарезать.

Начальник адмчасти Васьков был действительно редкостным болваном и тупицей, но, к счастью для него самого вообще, а для ХЛАМа в тот момент, он сам отчасти сознавал свое тупоумие и маскировал его, чутьем подбирая себе дельных помощников и перекладывая на них работу. По идеологической и пропагандной части он слепо вверялся умному, широко и глубоко эрудированному Когану и поэтому, не читая, подписал представленную им программу ХЛАМа.

Миша Егоров угадал и то, что соловчане разом, еще до появления ХЛАМа на сцене театра, отнесутся к нему сочувственно именно потому, что он был «свободным», формировался по инициативе и силами самих каторжан, а не воспитательно-просветительной части и был подчинен ей лишь формально, вследствие мягкотелости нач. ВПЧ, с одной стороны, и крепкой поддержки Д. Я. Когана — с другой.

К ХЛАМу потянулись уже выявившие себя сценические силы и новые, проявлявшиеся порой там, где их совсем нельзя было ожидать, например, уже в пожилой кавалерственной даме, жене командира одного из блестящих гвардейских полков, не имевшей ничего общего с ядром ХЛАМа — московской богемой. Эта генеральша Гольдгойер на шестом десятке лет обнаружила в себе яркие и своеобразные сценические способности. Вместе с нею вступили в ХЛАМ прекрасно танцевав-

шая столбовая дворянка-помещица Хомутова-Гамильтон, «леди», как звали ее на Соловках, и именитая московская купчиха, «чайница» Высоцкая. Они вполне ужились в атмосфере ХЛАМа и с молодежью, и с типичными профессиональными актерами, каким был, например, эстрадный куплетист еврей Жорж Леон.

Вся эта пестрая, разноликая, разнохарактерная толпа была спаяна и крепко связана общим цементом — тоской по отнятым у жизни красочности и звучности, стремлением к личному, свободному, поскольку это возможно, творчеству, и странно, что эту максимальную из возможных по тому времени свобод мы находили именно на каторжном острове, на свалке, казалось, разбитой вдребезги русской культуры. Но на всей остальной площади Советского Союза это было уже невозможно. Там рожденное революцией «сегодня» уже заполнило пустоту, образовавшуюся на месте отброшенного, попранного «вчера».

* * *

Наконец вечер первого спектакля ХЛАМа настал.

Первым номером шла инсценировка популярного тогда романса «Шумит ночной Марсель». Ее героем был апаш, а действие развертывалось под надрывные звуки танго, в портовой таверне, «где негр-слуга смывает с пола кровь»...

Дешевая романтика темы была легко воспринята залом, и шпана дружно зааплодировала своему «героическому» западному собрату при первом его появлении.

Героя-апаша играл изящный белогвардеец Евреинов, артистически танцевавший танго — стержень действия пьесы, — а его партнершей, загадочной «в перчатках черных дамой» — обученная им этому танцу... свояченица командира охранявшего нас Соловецкого особого полка!

Трудно верится теперь таким воспоминаниям. Но эта очень красивая и, как оказалось, талантливая девушка стала потом ярой «хламисткой», засиживавшейся на репетициях до поздней ночи и разделявшей все горести и радости «хламистов»-каторжан, хотя сама она была свободной. Сам командир полка Петров не протестовал против ее общения с заключенными. Наоборот, он даже поощрял посещение ею ХЛАМа, где она воспринимала манеры и шарм от каторжанок-аристократок.

Другим появившимся вместе с ней на сцене ХЛАМа монстром был пожилой морской офицер, капитан 1-го ранга князь О-ский. Он, к сожалению, был абсолютно бесталанен, и лишь снисходя к его упорным, чуть не слезным мольбам, ему дали статическую роль того негра, который, по словам романса, «по утрам стирает с пола кровь» в портовом притоне. Князь вполне удовлетворился ею, густо вымазал сажей свое лицо и досаждал всем одним и тем же вопросом:

— Типичный готтентот, не правда ли? Характерное негритянское лицо! Я видел точь-в-точь таких же на Мадагаскаре... А?

Но вот занавес поднят. Ведущий певец под аккомпанемент гитар и мандолин струит в зал сладостно-тягучие строфы:

Шумит ночной Марсель.
В притоне «Трех бродяг»,
Там пьют матросы эль
И женщины жуют табак...

Недоступное, недостижимое даже для мечты встает явью перед глазами, становится реальным, ощутимым... Огни рампы творят свое дивное таинство...

В перчатках черных дама
Вошла в притон и смело
Там негру приказала
Подать вина...

Нет, это входит уже не свояченица командира СОП и не изображающий блистательного «незнакомца» Мишка Егоров в извлеченном из чемодана умопомрачительном, яростно-клетчатом жакете. Не вымазанный сажей князь О-ский ставит перед ними оплетенную соломой фиаску. Это...

Что это?

— Романтика папиросных реклам, — пренебрежительно процедил о постановке «Марселя» Глубоковский, и тогда я не возражал ему. Но теперь, оглядываясь на пройденную вереницу лет серой советской обезлички, истомленный нудной жвачкой затасканных слов, бескрасочностью, беззвучием расползшейся на всю Россию социалистической каторги-казармы, я понимаю, почему в зрительном зале Соловецкого театра тогда стало тише, чем

В притоне «Трех бродяг»
Стало тихо в первый раз,
И никто не мог иначе
Оторвать от дамы глаз.

Теперь я с глубокой благодарностью и хвалой вспоминаю тех, кто тогда захватил, сумел и смог показать соловецким каторжанам «музу дальних странствий», хотя бы и в аляповатом наряде «папиросной рекламы».

Пусть так. Свое высокоодаренному поэту Гумилеву, но свое и безвестному, безымянному бродяге. Они оба имели право на жизнь и радость.

Следующим номером шел мой сатирический скетч, заостренный против нашей «рабсилы» — надсмотрщиков из числа заключенных, в большинстве из грузин-повстанцев. Это был уже рискованный номер. Он начинался сценическим трюком: загримированные грузинами актеры, размахивая дрынами, врывались на сцену через зрительный зал и начинали загонять актеров-исполнителей на очередной ударник.

Трюк был настолько близок к соловецкой действительности, что публика приняла его всерьез. Кое-кто из шпаны побежал прятаться, а сам Эйхманс, встав с места, возмущенно закричал:

— Кто разрешил ударник? Убрать рабсилу к чёрту!

После этого услышанного всем залом восклицания владыки острова осмелевшие актеры, под сочувственный рокот зала, стали с удвоенной силой метать отравленные стрелы сатиры в ненавистных, продавшихся отщепенцев, заклейменных кличкой «ссученные»[6].

Но самый рискованный момент был еще впереди. Почти в конце программы шла коротенькая веселая пьеска с пением и танцами «Любовь — книга золотая», автором которой был Н. К. Литвин.

Надо пояснить, что любовь во всех ее видах была преследуема и гонима на Соловках, и уличенному в этом преступлении Ромео полагалось не менее трех месяцев Секирки, а Джульетте — столько же «Зайчиков». И всё же «золотая книга» — вечная книга читалась.

Специальным и утвержденным свыше гонителем любви в соловецком кремле, ее Торквемадой и неутомимым охотником на Ромео и Джульетт был ссыльный чекист Райва, одевавшийся всегда в длинную кавалерийскую шинель и носивший на голове неимоверно грязную белую кавалергардскую фуражку. Его фигура была известна всем, и пьеска Литвина заканчивалась именно ее внезапным появлением и паническим бегством застигнутых любовников.

Сам Райва сидел в первом ряду и с большим удовольствием смотрел программу.

Вдруг его точный двойник в неизменной кавалергардской фуражке выскочил на сцену и обратил в бегство слившихся в поцелуе счастливцев.

— Райва! — в диком восторге взвыла шпана.

Подлинный Райва инстинктивно схватился за голову... На ней была на этот раз не традиционная фуражка, а надетая второпях перед спектаклем меховая ушанка.

Но на него уже, смеясь, смотрел весь первый ряд: и защитница соловецкой любви нач. санчасти М. В. Фельдман, жена члена коллегии ОГПУ, сосланная им самим на остров именно для охлаждения ее бурного темперамента, и грубый, но прямодушный Баринов, и сам Эйхманс.

К чести Райвы нужно сказать, что в дальнейшем он не мстил за «критику» и, получая обратно выкраденную у него перед самым спектаклем фуражку, лишь буркнул:

— В другой раз не сопрете. Спать в ней теперь буду.

Но воровать ее не пришлось ни вторично, ни третично: на повторные спектакли ХЛАМа Райва давал ее сам и, сидя в первом ряду, неизменно аплодировал своему сценическому двойнику.

— Ишь, с... дети, чего понастроили!

---

[6] Слово «ссученный» на жаргоне каторги — подхалим, продажная душа — происходит от слова «сука». Ссучиться — стать сукой. — Б. Ш.

Совсем не так отнеслись к сатире на них надсмотрщики рабсилы. Они подали Эйхмансу официальное заявление, обвиняя автора скетча в подрыве их служебного авторитета, и требовали строгого его наказания и запрещения пьесы. Эйхманс порвал этот рапорт. Тогда они начали систематическую травлю меня и изображавших их на сцене актеров, назначая нас на самые тяжелые работы. Эта травля была прекращена тем же Эйхмансом, которому Коган доложил об их действиях.

Первый спектакль ХЛАМа имел бурный успех и в верхах и в низах Соловков главным образом потому, что в нем ощущалось робкое, едва заметное, но все же дыхание свободы, а тосковали по ней не только каторжники, но подсознательно и их тюремщики. Кроме того, он воплощал в огнях рампы ту затаенную мечту, в которой признаться даже самому себе было бы постыдным ребячеством, — мечту о «дальних странствиях».

Первая программа ХЛАМа была повторена три раза, и его руководителям был тут же заказан специальный спектакль для ожидавшейся «разгрузочной комиссии» из Москвы во главе с начальником всех лагерей, членом коллегии ОГПУ Глебом Бокием.

— Можно и перцу подсыпать? — спросил в упор Эйхманса Глубоковский, получая заказ.

— Валите, не стесняйтесь, — ответил тот, — только чтобы было ярко и остроумно.

Весть об этом взбудоражила всех хламистов.

— Как? Свободно? Так что — можно будет и правду сказать?

Скептики каркали:

— Ляпните эту правду и срок себе прибавите.

Но горячие головы не робели:

— Черт с ним, со сроком, зато...

Мудрый, знавший людскую душу и душу зрителя старик Борин одобрял:

— Можно. Генералы любят больше всего анекдоты именно о самих генералах. Ничего нет нового под луной. Валите!

И вот день этого самого торжественного и значительного в жизни ХЛАМа спектакля настал. Первый ряд занимали приезжие во главе с Глебом Бокием, прибывшим на пароходе, носившем его имя взамен монастырского «Святой Савватий».

Занавес раздвинулся. На сцене вся труппа, приветствующая гостей. К рампе выходит куплетист Жорж Леон во фраке и с хризантемой в петлице. Он по-эстрадному кланяется Бокию.

Шептали все... Но кто мог верить?
Казался всем тот слух нелеп:
Нас разгружать сюда приедет
На «Глебе Боком» — Бокий Глеб. —

звучит первый куплет приветствующей «разгрузку» песни.

Хор подхватывает рефрен:

Всех, кто наградил нас Соловками,
Просим: приезжайте сюда сами,
Проживите здесь годочка три иль пять, —
Будете с восторгом вспоминать!

Далее солист жалуется на свой врожденный пессимизм и заканчивает свое приветствие словами:

В волненьи все, но я спокоен.
Весь шум мне кажется нелеп:
Уедет так же, как приехал,
На «Глебе Боком» — Бокий Глеб.

После вступительных куплетов, в которых пелось и о знаменитом соловецком наказании—«комарниках», и о Секирке:

Хороши по весне комары,
Чудный вид от Секирной горы —

шел скетч «Губернатор Зеленого острова», добродушно-иронически, но остроумно и метко отражавший нравы администрации соловецкой сатрапии и даже некоторые личные черты владыки острова Эйхманса.

Эти искры своей мелкой бытовой соловецкой правды, блеснувшие в спектакле ХЛАМа, не сыграли, конечно, никакой роли в общей жизни самой каторги. Всё





осталось, как было. Но они необычайно подняли престиж ХЛАМа среди зрителей, особенно их «низов».

— Не побоялись! Прямо ему в нос табаку пустили!

Эта крошечная щепотка «табака» переживалась ими с корпоративной каторжной гордостью. Приезжие члены коллегии поняли это и учли при «разгрузке». Результаты ее были незначительны: были освобождены лишь 20—30 человек уголовников и хозяйственников, а двум-трем сотням уменьшены сроки. Но в числе этих последних были руководитель ХЛАМа Б. Глубоковский (с 10 на 8 лет) и куплетист Жорж Леон (с 3 на 2 года).

ХЛАМ нес на себе печать нэпического ренессанса, и ее клеймо рельефно проступило при встрече нового 1926 года.

— Встреча нового года на каторге? — удивится читатель.

Да. Во-первых, календарь и на ней сохраняет свою, хотя и неполную силу. Каторжане тоже хотят дней веселья и радости, остро и напряженно их жаждут. А во-вторых, нэп в это время был в своем полном расцвете.

— «Обогащайтесь!» — воскликнул Бухарин, и многим показалось, что «построение социализма» уже растаяло пред лицом реальной жизни, отодвинуто ею на неопределенно далекий срок. Те же, кто не доверял отступлению «всерьез и надолго», обещанному Лениным, те, захваченные общим потоком, танцевали на вулкане.

Свой собственный нэп был и на Соловках, отражавших каждую вариацию жизни советского материка. Была открыта коммерческая столовая. В ней играл струнный квартет, и можно было прилично пообедать за 50 копеек. Заведовал ею Парижанин, Миша Егоров, и был очень ловким метрдотелем. По ночам в ней кутили СОПовские командиры, вольнонаемные служащие и привилегированные ссыльные чекисты. Премьеры театра тоже стали платными, и на них можно было сидеть рядом со своей дамой, а не раздельно с ней, как обычно. Присылаемые заключенным деньги на руки не выдавались, но были выпущены боны универмага, которые котировались наравне с деньгами. В универмаге было все, вплоть до шампанского и икры. У ссыльных валютчиков и хозяйственников деньги водились. Вот при такой «экономической базе» и соответствующем ей «духе времени» и была разрешена встреча нового года в театре, при условии необычайно высокой платы за вход — 5 рублей. Ее организация была поручена тому же Мише Егорову, а декоративно-сценическая часть — ХЛАМу.

К этому времени новый, очень элегантный театральный зал был уже готов, и над декорировкой его для встречи трудился тот же Коля Качалин, талантливый художник, по эскизам которого был оформлен сам зал. Он блеснул и здесь. Световые эффекты были то нежно-мягки, то поражали своей неожиданностью.

Ни одного красного полотнища! Ни одного лозунга! Ни одного портрета «вождей»! Как не верится этому теперь.

Не было ни больших флагов и пошленьких гирлянд мелких флажков, ни возведенных тогда в культ декоративных механических фрагментов: шестерен, зубцов, рычагов... Тенденция конструктивизма была выражена в сочетании красок и геометрических формах.

Сцена была заполнена столиками, а в глубине ее блистала и искрилась хрустевшая парижским (хотя и отсталым от моды) туалетом, «чайница» Высоцкая и кто-то из обитательниц женбарака: высокая, с точеным профилем камеи Энгельгардт, блиставшая парижским (хотя и отсталым от моды) туалетом, «чайница» Высоцкая и кто-то еще из «бомонда»...

Зал был переполнен. Откуда-то появились приличные, даже хорошие костюмы. Стулья партера убраны, там — танцы, а на балконе — сооруженные тем же Качалиным футуристические киоски: огромные яркие зонты под ослепляющим прожектором. Это солнце, недостаток в котором так остро чувствовался на Соловках. Между зонтами — шедевр мастера сцены, старого, знавшего Шаляпина и даже побитого им (о чем вспоминалось с гордостью и умилением) театрального плотника и бутафора Головкина — пальмы диковинной породы, «совсем, как настоящие».

Снова иллюзия, реализация больной, сверлящей, сосущей мечты о невозможном, недостижимом, отнятом...

Для одних этот вечер был нирваной, временным погружением в прошлое, шагом назад, для других — тоже нирваной, но скачком вперед, в неизведанный мир

блеска внешней материальной культуры. Кое-кто из шпаны тоже был на встрече нового года, но кто бы узнал на ней бандита Алешку Чакмазу или ширмача Ваньку Пана? Ступив в иную обстановку, они сами преобразились.

Буфет торговал вином, водкой, крюшоном с консервированными фруктами. Некоторые «буржуи» изрядно подпили, но ни одного скандала, ни даже резкого слова не было произнесено в этот вечер в зале театра на густо заматеренных Соловках.

Артисты выступали на сцене, между столиков. Там скользили нежные «китайские тени», горели при потушенном свете веселые разноцветные «светлячки», «фарфоровые кавалер и маркиза» танцевали жеманный старинный гавот... ХЛАМ дал в этот вечер всё, что он мог, и трудно сказать, кто испытывал большую радость — зрители или артисты?

«Куранты» — гавот фарфоровых кукол танцевал я с проституткой-хипесницей Сонькой Глазком, гибкой и стройной, как танагрская статуэтка, под хрустальную россыпь Моцарта. Ставивший танец тонкий стилист, режиссер 2-го МХАТа Н. Красовский долго «обламывал» нас на репетициях и «вживал» в рисунок танца, но мы полностью «вжились» в него лишь на сцене. И теперь, через 27 лет, вынимая тот вечер из глубины ларца памяти, я чувствую нежное прикосновение руки маркизы, сучившей пеньковые канаты, и подлинный (черт возьми!) аромат поданной мне ею бумажной (нет, настоящей, живой!) розы.

В тот миг, только миг, я был кавалером де Грие, склонившимся к руке подлинной, реальной Манон Леско — каторжанки Соньки Глазок! Радость этого мига жива до сих пор...

## Глава 9

## «СВОИ»

Эмбрион свободы творчества — ХЛАМ встретил отзвук и в массах уголовников. Там был также создан сценический коллектив «Своих»[6].

Термин «свой» на блатном жаргоне определяет принадлежность к уголовному миру в отличие от «фрайера» — добропорядочного гражданина, объекта эксплуатации. В сознании уголовников он сливается с ощущением кастовой гордости. Эта психологическая черта русской шпаны очень недалека от корпорантского мировоззрения «славного старого Гейдельберга». Ведь и там, за дубовыми столами трехсотлетних пивных, мир делился на «добрых буршей» и «филистеров».

Традиции рождаются в «верхах» и просачиваются в «низы» медленно, но верно. В них они продолжают жить, хотя и в гротескной, уродливой форме. Поблекший в «верхах» образ Чайльд Гарольда встает в ином наряде под заунывный мотив «классической» песни беспризорников «Позабыт, позаброшен», а слова песни почти точно повторяют стихи Байрона.

Отцовский дом спокинул я,
Травою зарастет...
Собачка верная моя
Завоет у ворот.

Организаторами «Своих» были бандит Алексей Чекмаза, взломщик Володя Бедрут и ширмач-карманник Иван Панин. Каждый из них был ярок, самобытен и колоритен.

Алексей Чекмаза был донским казаком. Германская, а за нею и гражданская война оторвали его от родного куреня, закружили, завихрили, и стал приказный Чекмаза заправским бандитом. Но «на деле» не попался, а был схвачен в облаве на «соцально-вредных» и попал на Соловки. Стремление к личной, внутренней культуре жило и проявлялось в нем с большой силой. Он много и осмысленно читал, старался поговорить о прочитанном с интеллигентами, пытался и сам писать

[6] Театр и коллективы ХЛАМ и «Своих» были атомами внутренней свободы в душах людей, уже взятых в железные тиски порабощения и размельчения личности системой социалистических концлагерей. Именно поэтому театр и запал так глубоко в память побывавших на Соловках в те и ближайшие к ним годы, о чем свидетельствует искренняя и яркая повесть Г. Андреева «Соловецкие острова» («Грани», № 8), в которой он отзывается о соловецком театре 1927 г. с особенной теплотой. — Б. Ш.





стихи, порою искренние, хотя и нескладные, неплохо исполнял в театре небольшие «рубашечные» роли... Организатором он был очень хорошим: дельным, чутким, в меру властным. Сказывалась учебная команда казачьего полка. Много позже я слышал, что по выходе из каторги он порвал с уголовщиной и стал заведующим большой фабричной столовой.

Совсем иным типом был Бедрут. Сын московского врача, окончивший одну из лучших частных гимназий, он вступил в годы безвременья, зарезившись тлетворной «героикой» воров-джентльменов вроде леблановского Арсена Люпена, пришедшего на смену одряхлевшему Рокамболю. Современники этого последнего носили в себе те или иные моральные устои, ограждавшие их от его разлагающего влияния. Формировавшееся же в годы революционного распада сознание Бедрута не могло ничего противопоставить Арсену Люпену. Его путь был путем многих интеллигентных юношей того времени. Он привел Бедрута к Соловкам, где он занял место какого-то связующего звена между группами каэров и уголовников. Он приходился «к месту» и среди «своих», где его специальность взломщика занимала высокую ступень в своеобразной кастовой иерархии, и среди контрреволюционной молодежи, причем сам он ни в какой мере не приноравливался ни к тем, ни к другим.

Он был не лишен способностей: легко писал грамотные, трафаретные по тому времени стишки и был очень неплох в глубинно ощутимых им ролях, например в роли Незнамова.

Безусловно талантливым был третий — Иван Панин, распевавший на сцене песенки и куплеты своего сочинения, приспособленные к ходким мотивам. В этих песенках он чутко и остро реагировал на окружающее, гармонично чередовал добродушный юмор и злую сатиру, выполняя функции лагерного Зоила или «соловецкого Беранже». С цензурой он мало считался, дополняя проверенные тексты экспромтами и импровизациями. Иногда его сажали в карцер, но долго не держали, так как его сценический жанр был по нутру самим тюремщикам и главным постоянным его заступником был комсостав Соловецкого особого полка. Он совпадал с культурным уровнем командиров и их запросом к сцене.

— Ишь, с... с... как продергивает! С песком чистит! — Успех Панина был неизменен, и даже в серьезно выдержанных концертах, после Чайковского и Бородина, комсостав СОП категорически требовал Панина, который был всегда тут же, под рукой, и всегда с обновленным репертуаром.

Он был «премьером» «Своих», но их действительным художественным достижением был прекрасный хор в 150 чел., созданный и обученный бывшим регентом императорского конвоя, глубоко музыкальным старым казаком. Этот хор и выделяемые им трио, квартеты и секстеты давали широкий и красочный репертуар русских народных, а также арестантских и каторжных песен.

ХЛАМ и «Свои» просуществовали до 1927 г. Окончательно оформившийся концлагерный социализм смел их со своего победного пути.

Слушая песни «Своих», Глубоковский и я заинтересовались «блатным» языком и своеобразным фольклором тюрьмы. Мы собрали довольно большой материал: воровские песни, тексты пьесок, изустно передававшихся и разыгрывавшихся в тюрьмах, «блатные» слова, несколько рожденных в уголовной среде легенд о знаменитостях этого мира. Некоторые песни были ярки и красочны. Вот одна из них:

Шли два урнагана [7]
С одесского ничмана,
С одесского ничмана на домой.
И только ступили
На тухлую малину,
Как их разразило грозой...
— Товарищ, милягa,
Ширмач и бродяга, —
Один уркаган говорит, —
Судьбу свою я знаю,
Что в ящик я сыграю,
И очинно сердце болит...

Другой отвечает:
И он фарт свой знает,
Болят его раны на груде,
Одна затихает,
Другая начинает,
А третия рана на боне...
— Товарищ, милягa,
И я — доходяга,
Зарой мое тело на бану!
Пусть помнят малахольные
Легавые довольные
Геройсиую погибшую шпану!

[7] Даю перевод «блатных» слов: «уркаган» — вор, «кичман» — тюрьма, «малина» — притон, «ширмач» — карманник, «сыграть в ящик» — умереть, «фарт» — удача, а также жребий, судьба, «бан» — вокзал, «малахольные» — одуревшие, «легавый» — полицейский или милиционер.

Не напоминает ли текст этой песни «Двух гренадеров», отраженных в кривом зеркале романтики уголовного мира?

На свою работу мы смотрели как на фиксацию живого фольклорного материала для будущего исследователя. Издательство УСЛОН, о котором я рассказываю в дальнейшем, выпустило эту книжку страниц в сто тиражом в 2000 экз., и она попала в магазины ОГПУ на Соловках, в Кеми, на другие командировки, даже в Москву. Тут получился неожиданный, но характерный для того времени анекдот: издание было очень быстро раскуплено. Материалы по фольклору разбирались как песенник, сборник модных в то время (да и теперь в СССР) романсов...

Позже советское кино построило на том же материале имевший большой успех фильм «Путевка в жизнь».

Но 12 обязательных экземпляров, рассылавшихся издательством УСЛОН по закону в главные книгохранилища Союза, несомненно, дошли по назначению и наш труд даром не пропал.

## Глава 10
## ПОД ОХРАНОЙ ДЬЯВОЛА

Яшке Цыгану досталась в тот день легкая работенка. Пофартило. В лес не погнали. Грузин-нарядчик, пробежав глазами по неровной шеренге, поманил сначала пальцем сотрясавшегося в припадке кашля Мерцалова, а потом остановил свой начальнический взгляд на «колесах»[8] Цыгана. Эта принадлежность его туалета действительно заслуживала внимания. В очень далеком прошлом ботинки Цыгана, несомненно, служили какому-нибудь лихому форварду, о чем свидетельствовала сохранившаяся на одном из них предохранительная резиновая накладка, но в настоящее время подошва одного полностью отсутствовала, а у другого нехватало верхней части носка. Эти технические неполадки, видимо, не смущали теперешнего владельца ботинок, а, наоборот, будировали его творческую мысль. Подошву заменяла доска, вроде короткой лыжи, тщательно, даже элегантно прикрученная сложной системой обрывков электропровода, а из недостающего носка торчало подобие гигантской груши, набитой бумагой.

Сам Цыган не только не жаловался на дефекты своей обуви, но явно гордился своим творческим достижением, лихо прищелкивая лыжей о плиты пола. Он был вообще оптимистом.

Это-то, вероятно, и вызвало сочувствие строгого администратора и, хотя многие были обуты еще хуже, он крикнул:

— Эй, ты, франт кривой! Топай сюда!

Сдав партию лесорубов конвою, грузин повел Цыгана и Мерцалова в подвал под бывшей монашеской кухней и указал:

— Очищай помещение! Доски и что подходящее сюда складывать, а мусор туда валить. Блатная работа.

Он был прав. На дворе стоял трескучий мороз, а в подвале было тихо и тепло.

От Мерцалова было мало толка. Сухой, удушливый кашель корежил его хилое тело, как огонь костра сухую бересту.

— Ты, доходяга, хоть доски-то из угла отваливай помалу, — покрикивал на него Цыган, — тяни на себя! Стой! Это что за хреновина?

Под досками, в груде обломков тускло поблескивало что-то непонятное. Вытащили, осмотрели. Вроде фонаря с разноцветными стеклами, укрепленного на большом металлическом держаке. Да и сам фонарь из металла...

— Может, «рыжий»[9]? Монахи богато жили...

Цыган поколупал пальцем дверцу фонаря.

— Не! Не «рыжий»! Видишь, ржавь зеленая въелась. Однако, работа тонкая, узорная. Клади в сторонку, там разберем.

При дальнейших раскопках нашли другой, парный к первому. Потом вытащили

[8] «Колеса» — в жаргоне обувь.
[9] «Рыжий» — золотой.





что-то вроде знамен с изорванными ветхими полотнищами, а на полотнищах — образа.

Цыган всесторонне обдумал положение. Затырить[10], конечно, возможно. Но какой от того «фарт»? Какому чёрту эти фонари нужны? Выгоднее доложить по начальству: может и наградят?

А начальство, в лице Баринова, уже само входило в подвал.

— Клад нашли, гражданин начальник, — разлетелся к нему Цыган, — вот посмотрите, какие финемоны... — Цыган любил умные слова.

— Барахло... Принадлежности культа, — ткнул ногою хоругви Баринов, — ты, однако, посматривай. Может, и что путное попадется. Всё возможно.

— Путному-то мы и без тебя место найдем, — подумал Цыган. — Будьте благонадежны, гражданин Баринов, не упустим, — добавил он вслух, — а вы прикажите меня к этой работе прикрепить. Уж я!..

— Ладно! Ты и отвечать будешь. Как фамилия?

Стоя в очереди за тресковым борщом, Цыган патетически ораторствовал о своей находке, давшей ему в результате легкую работу в тепле. Среди слушателей был доцент П-й, историк, уже выпустивший тогда одну интересную работу с предисловием академика Платонова. Наскоро проглотив свою баланду, он побежал в подвал, торопясь побывать там за время перерыва, а вечером в «Индийской гробнице» состоялся военно-операционный совет избранных.

— Светильники очень тонкой художественной, вероятно, итальянской работы. Вместо стекол — толстая цветная разрисованная слюда. Историческая ценность их несомненна. Очень интересны и хоругви. Вероятно, XVII-й век. Дело в том, что подобные находки, безусловно, будут повторяться. Ведь расхищены главным образом только золото и серебро. Надо добиться сбора и охраны этих ценностей, создать нечто вроде музея, — говорил П-й.

— Хватил! Это на Соловках-то музей!

— Да еще религиозный! Невозможно!

В углу сидел Б. Емельянов, поэт-фокстротист, молчаливый, долговязый и довольно нескладный парень. Остротою ума он не отличался и поэтому часто служил мишенью для очередного розыгрыша, но именно ему принадлежала огненная реплика:

— Религиозный — невозможно, а антирелигиозный — вполне возможно.

Мы поняли не сразу, а лишь после пояснения:

— Дело не в вывеске, а в спасении ценностей и, поверьте, что под антирелигиозной вывеской они целее будут!

Загорелся по русскому обычаю спор. Нашлись сторонники «чистых риз», возмущенные помещением святынь «под защиту диавола», но точка зрения здравого смысла восторжествовала.

— Быть или не быть? Спасение «под печатью антихриста» или неминуемая гибель?

— Только вот кого в заведующие подсунуть? Нужно умно выбрать... Из нас никто не годится. Эйхманс никому не поверит.

— Ваську Иванова, — безапелляционно решил Миша Егоров, — самый подходящий человек.

— Безбожника? Расстригу?

— Безбожника?! — огрызнулся Миша. — Это для всех вас он безбожник, а я с ним три месяца в одной келье прожил... Как только свет потушат, Васька под одеялом креститься начинает и молитвы шепчет... В белые ночи все видно! Безбожник! Много вы знаете!..

Васька Иванов был одной из колоритнейших фигур каторги. Я не видел более безобразного по внешности человека: ненормально низкого роста, почти карлик, кривоногий, с безобразно отвисшей нижней губой и огромными, торчащими, как крылья нетопыря, ушами он напоминал одну из страшных химер Нотр Дам. К тому же он обладал неприятнейшим, громким и визгливым фальцетом.

На Соловках Иванов выполнял обязанности антирелигиозного лектора, и, слушая его безграмотные выкрики, шпана резонировала:

[10] «Затырить» — спрятать.

— За то Васька Бога обидеть старается, что Бог-то его крепко обидел...

Невежественен он был до предела. Даже пресловутый «учебник» Ем. Ярославского он ухитрился перевирать так, что Когану делалось стыдно.

— Ты, Васька, ближе к современности держись, — говорил он, — нечего там об Озирисах да Изидах распространяться...

Свои лекции Иванов начинал всегда одним и тем же красочным анекдотом:

— Наполеон, — визжал он, — взял подзорную трубку и стал смотреть на небо. Где Бог? Нет Бога! Лаплас! — позвал он своего придворного астронома. — Ты тридцать лет смотришь на небо, видел ты Бога?

До ареста Василий Иванов был монахом. В тюрьме снял постриг и письменно отрекся, но все же получил три года и теперь лез из кожи ради сокращения срока.

Вот этого-то субъекта прочил Миша в хранители соловецких святынь, великий древностей. И не ошибся в своем Замоскворецком трезвом расчете.

С Коганом мы говорили наутро прямо и откровенно, лишь с упором не на религиозную, а на культурную ценность памятников. Он же говорил в верхах может быть по-иному, но как бы и чем бы он там ни аргументировал создание Соловецкого антирелигиозного музея, таковой был не только разрешен, но получил целиком в свое распоряжение неразрушенную домовую церковь соловецкого архимандрита и его палаты. Вскоре был утвержден штат постоянных работников музея и ему было предоставлено право реквизиции всех материалов, признанных исторически ценными. Это было особенно важно: ретивые хозяйственники уже на многое наложили свою руку; например, мастерская музыкальных инструментов забрала себе остатки замечательного пятиярусного иконостаса Преображенского собора для выделки гитар и балалаек из выдержанного веками дерева его икон.

Много другого ценного успели прибрать к рукам хищники и невежды с дипломами высших технических учебных заведений.

Васька оказался незаменимым в сборе расхищенного. Руководило ли им желание выслужиться или что другое, я не берусь судить, но он ругался, визжал, плевался, бегал жаловаться начальству в борьбе за каждый обломок разрушенного и поруганного величия, за каждый клочок древнего великолепия... Он, как Плюшкин, тащил к себе всё без разбора, и музейным специалистам, отыскавшимся в бесконечном разнообразии соловецких профессий, работы хватало.

А специалисты выныривали совсем неожиданно. Среди безнадежных инвалидов нашелся купец-старообрядец Щапов из Нерехты или Кинешмы, глубокий и тонкий знаток русской иконографии. Над клочками и обрывками рукописей корпел доцент П-й; бронзу, резное дерево и вышивки определял и классифицировал известный в Москве комиссионер-антиквар, попавший на Соловки за продажу иностранцам какой-то редкой коллекции фарфора, собранного несколькими поколениями старомосковской барской семьи.

Ценности всех видов лились в музей беспрерывным потоком. В мусоре одного из подвалов нашли два окованных медью сундука с хозяйственными записями XVII века. На основе их доцент П-й воссоздал яркую картину экономики Беломорья того времени, почти полностью бывшего вотчиной мощного, культурного и широко прогрессивного в своем хозяйстве монастыря, лозунгом которого были слова:

— В труде спасаемся!

Эта работа была напечатана в журнале «Соловецкие острова», и некоторые проблемы экономической деятельности монастыря были учтены и использованы первым организатором концлагерной принудиловки Н. А. Френкелем при освоении Колы, Сороки, Кемского берега и Печеры.

Монахи, уходившие в Валаам обозом и пешком, не могли взять с собой и сотой доли богатейшей соловецкой ризницы, накапливавшей свои ценности со времен Марфы Посадницы. Грабители из Архангельского совдепа хватали только пригодное для быстрой и легкой реализации. Достаточно было и такого. Пожар коснулся ризницы лишь слегка, и множество облачений из старинной венецианской парчи, пелен, платов, покровов на Плащаницу, вышитых теремными затворницами, боярышнями и великими княжнами московскими, сохранилось. Они поступили в фонд музея, и часть из них, как я слышал потом, была увезена в Москву и, вероятно, распродана. Запасы нешитой новой фабричной парчи были переданы театру и из них сшили богатейшие костюмы для постановки «Бориса Годунова» Пушкина, который шел на Соловках в 22-х картинах, всего лишь на две меньше, чем в Художественном театре. Потом в них играли «Царя Феодора Иоанновича», «Девичий переполох» и «Василису Мелентьеву».



Найденные Цыганом светильники оказались флорентийской работы, они были подарены монастырю папой Иннокентием (каким по счету — не помню). Схожие с ними литые факелы — подарком Венецианского Дожа.

Монастырскую библиотеку разыскать не удалось. Установили, что рундук с грамотами Новгородских посадников, Московских царей и, вероятно, с другими важнейшими документами архимандрит увез с собой, а остальные рукописи и книги были зарыты или замурованы, но где — на острове знал это лишь один из оставшихся иноков — отец Иринарх. Да и знал ли? Как ни пытались выведать тайны от этого простоватого с виду, словно топором высеченного, инока — не выдал! Эйхманс, сам увлекшийся кладоискательством, поил его до умопомрачения и даже на самолете катал.

Любил выпить отец Иринарх, но и выпив сверх меры, молчал.

Теперь он, вероятно, умер или удален с острова, и навек погибли для потомства ценнейшие уники. Судя по найденным обрывкам описи (печатное ее издание, выпущенное, кажется, Казанской духовной академией, было, как видно, далеко не полным), на Соловках хранились уникальные старообрядческие рукописи, часть которых была полемикой склонных к древлему благочестию соловецких старцев с новаторами никонианами. Хранились они, конечно, под спудом и, вероятно, потому не вошли в напечатанный каталог. Но в ризнице отыскался рукописный Апостол, по преданию переписанный царевной Софьей. Он был переслан в Москву для точного определения. Я помню его изумительные заставки и узоры титульных букв. Кто выводил их золотом, лазурью и киноварью? Неужели сестра, достойная своего великого брата, была и талантливой художницей?

Наибольшее количество религиозных, художественных и исторических ценностей было, вероятно, скрыто в перешедшей под охрану музея монастырской «рухольной».

Эта «рухольная» представляла собою большой сухой подвал, почти доверху заполненный складывавшимися туда в течение веков иконами. Монахи говорили, что туда убирались образа из церквей и часовен «по древности», т. е. закопченные, потрескавшиеся, с неразличимыми уже начертаниями, но доцент П-й нашел указания и на поступление туда икон, изъятых по постановлениям соборов, вплоть до Стоглавого, по решениям Синода и из закрытых старообрядческих молелен и скитов. Подтверждением тому был часто попадавшийся образ «Крылатого Предтечи», иконописный канон которого был запрещен еще в XVII веке. Сюда же попали, вероятно, и старописные иконы существовавшей при монастыре еще до Никона иконописной мастерской, снятые при «замирении» отколовшегося от московской патриархии и боровшегося с ней около 15-ти лет монастыря.

Ознакомиться хотя бы поверхностно с богатствами «рухольной» за время пребывания моего на Соловках не удалось. Единственный работник иконографического отдела музея старик Щапов был очень внимательным и точным исследователем. Он не довольствовался внешним осмотром, но проверял и тайны древнего мастерства: состав красок, способ полировки и грунтовки дерева и т. д. Тщательность его работы отнимала много времени, и ему удалось обследовать лишь внешнюю, сравнительно новую часть груды икон в рухольной. Можно предполагать, что главные ценности таились в ее недрах.

Многое можно было бы написать еще о богатствах соловецкого антирелигиозного музея. Что из того, что над ними были вывешены пошлые и глупые надписи? Эти куски картона сгинут, а спасенные сокровища, Бог даст, останутся и снова, освященные и обновленные, послужат прославлению имени Господнего.

Верю свято и нерушимо, что отступник, богохульник и лжец был тоже орудием в руке Его, атомом непостижимой для нас премудрости, и за спасение, за часть хранения вековых святынь России простятся грехи и грешки, сотворенные расстриженным заблудшим иноком Василием в его нищей земной и, несомненно, страдальческой юдоли.

*Продолжение следует*

# ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА



СЕРГЕЙ КУРГИНЯН,
ВЛАДИМИР ОВЧИНСКИЙ,
ГЕННАДИЙ АВРЕХ

# ФИНАНСОВАЯ ВОЙНА

## (О ДВУХ СЕНСАЦИЯХ 1991 ГОДА)

Видимо, 1991 году суждено стать сенсационным. Об этом можно судить хотя бы по двум событиям, оказавшимся взаимосвязанными между собой. Первым из них является нашумевшее «дело о 140 миллиардах рублей», вторым — заявление премьер-министра В. Павлова о том, что против СССР ведется финансовая война.

Обстоятельства сложились таким образом, что авторы настоящей статьи оказались волею судьбы в эпицентре этих событий, вызвав на себя огонь нашей «демократической» прессы. «Независимая газета», например, объявила, что именно мы — эксперты корпорации «Экспериментальный творческий центр» — навязали премьеру идею финансовой войны, а еженедельник «Мегаполис-экспресс» пошел еще дальше, заявив, что именно по нашему наущению КГБ планировало акцию по компрометации российского правительства на сделке в 140 миллиардов рублей.

Как же происходили события на самом деле?

### 140 МИЛЛИАРДОВ ЗА 500 ДНЕЙ

Сложилось так, что в сентябре прошлого года нами по поручению руководства бывшего Совмина СССР был проведен экспресс-анализ программы «500 дней» с позиций возможных криминогенных последствий ее внедрения в жизнь. Давая негативный прогноз внедрения программы «500 дней», мы исходили в тот период только из гипотетических рассуждений и знания некоторых механизмов функционирования организованной преступности и теневой экономики. Но нам и в голову не могло прийти, что прогноз на 100 процентов совпадет с реальностью.

Ключевым моментом в экспертизе программы «500 дней» являлся криминологический анализ разделов, посвященных конвертируемости рубля и валютным операциям.

Напомним, что в соответствии с программой:

— всю торговлю на территории СССР предполагалось производить только за рубли;

— предусматривается преобразование всех валютных магазинов, кроме экстерриториальных (в аэропортах), в коммерческие, торгующие на рубли;

— по существу, все предприятия и граждане смогут использовать валюту на своих счетах только для внешнеторговых расчетов, например для закупки товаров за рубежом;

— инофирмам, однако, разрешается открывать рублевые счета и использовать рубли для закупки товаров с их последующей продажей вне СССР за валюту (по специальным лицензиям). Кроме того, инофирмы могут продавать вне СССР за валюту свою продукцию, произведенную на принадлежащих им в СССР предприятиях;

— принимается законодательство об иностранных инвестициях и отменяются ограничения на размеры иностранного участия в акционерном капитале вплоть до создания 100-процентных иностранных предприятий, регистрируемых в качестве советского юридического лица.

Приведенная схема «конвертируемости рубля» вела, на наш взгляд, к валютному удушению страны, прежде всего — международной организованной преступностью.

---

КУРГИНЯН Сергей Ервандович. Родился в 1949 году. Политолог, кандидат физико-математических наук. Создатель театра «На досках». Руководитель государственной корпорации «Экспериментальный творческий центр». Один из авторов книги «Постперестройка».

ОВЧИНСКИЙ Владимир Семенович. Родился в 1955 году. Окончил Омскую высшую школу милиции МВД СССР. Работает начальником отдела ВНИИ МВД СССР. Кандидат юридических наук. Автор работ по проблемам криминологии, книги «Постперестройка».

АВРЕХ Геннадий Липанович. Родился в 1941 году. Кандидат экономических наук. Зав. лабораторией Института проблем рынка АН СССР. Один из авторов книг «Экономика на уровне молекул» и «Затраты и результаты».





Техника этой операции выглядит так:

западный делец «Х», имея 1 млн. долларов, приезжает в СССР. Здесь он ищет «У» — компаньона для выгодной ему сделки. Найдя последнего среди новоиспеченных предпринимателей (а мы уже знаем, из какой среды будет этот компаньон), «Х» передает ему этот миллион и получает взамен 20, 30 или 100 миллионов рублей (по черному курсу):

на полученную рублевую массу «Х» по ценам внутреннего союзного рынка (заведомо ниже мировых!) закупает необходимый товар и реализует его за рубежом по ценам мирового рынка;

одновременно «Х» сумму в 1 млн. долларов, полученную «У», снова вывозит за рубеж и кладет на счет «У» в зарубежном банке.

Этот многозвенный механизм может быть упрощен до однозвенного: «Х» и «У» образуют совместную акционерную компанию — «Х» не ввозит ни доллара, так как при полной реализации программы «500 дней» «У» доллары в СССР уже не нужны в связи с ликвидацией валютных магазинов. «У» просто закупает необходимый объем продукции и передает «Х», который накапливает валюту на его счете за рубежом.

В результате государство не получает ни цента, СССР окончательно выключается из мирового валютного потока и одновременно «открывается» Западу. Все валютные операции будут проводиться зарубежными банками.

Возвращаясь к технологии взаимодействия «Х» и «У», необходимо учесть, что «Х», для того чтобы «У» имел возможность закупать необходимую для него в СССР продукцию на рублевую массу, должен создавать эту рублевую массу. Каким путем? Путем вбрасывания неконкурентоспособного на Западе ширпотреба на внутренний рынок в СССР по крайне высоким ценам в рублях.

Одновременно это дает возможность «отрегулировать» нашу экономику, стимулируя ее развитие с точки зрения спроса западного покупателя. В первую очередь произойдет «удушение» производства товаров так называемой группы «Б». Развиваться будут добывающая промышленность, экологически вредные производства. Экологически чистая продукция сельского хозяйства, производимая в ряде регионов, целиком будет вывозиться из страны. При этом возможно кратковременное снятие социальной напряженности за счет ввоза «сюда» уже не пользующихся «там» спросом товаров (сигареты, вино, синтетика).

Валютная биржа отсутствует, Госбанк — пустой, управление — банками из-за рубежа. Вброс товаров пойдет, а эмиссии долларов не будет, поскольку их не придется печатать для ввоза в СССР. Итог — резкое укрепление доллара, понижение его инфляционного индекса. И — полное валютное обнищание СССР.

Вот такой мрачный прогноз вытекал из криминологической экспертизы «500 дней» в сентябре прошлого года.

Теперь вернемся к сделке в 140 миллиардов рублей.

Послушаем действующих лиц.

Г. Фильшин: «Еще с осени прошлого года была начата работа с зарубежными фирмами, которым мы предложили поставлять товары и продовольствие на наш рынок и продавать за рубли, одновременно разрешив им вырученные средства вкладывать в нашу же экономику. Таким образом сразу убиваются два зайца: с одной стороны, удовлетворяется потребительский спрос, а с другой — в промышленность, сельское хозяйство вливаются дополнительные финансовые ресурсы» (из интервью «Известиям» 25 января 1991 г.);

«...мне был представлен список товаров, в том числе 700 тыс. тонн мяса, 300 тыс. тонн масла и т. д. Вот это и послужило основанием моей поддержки этой сделки. Ни о каких обменах рублей на доллары в этом обсуждении речь не шла» (из выступления на сессии Верховного Совета РСФСР по поводу сделки).

Представитель фирмы «Доув трейдинг интернэшнл» К. Гиббинс: «Речь пока не шла о каких-то конкретных товарах или продуктах на всю эту сумму, хотя наша фирма и выразила готовность поставлять их... У нашего контракта главное достоинство именно в том, что ни рубли, ни доллары не будут пересекать границу. Доллары останутся в Швейцарии, а рубли — в России. Кредитный трансферт! Все великолепно!» (из интервью «Советской России» 26 января 1991 г.).

Из заключения экспертной комиссии Госбанка и Минфина СССР: «...Рубли, необходимые для расчетов с инопартнером, соучастники сделки рассчитывают получить от реализации в РСФСР потребительских товаров, закупаемых за границей на инвалюту. Реализационная стоимость этих товаров должна составить не менее 166 млрд. рублей. По оценке экспертной комиссии, исходя из показателей доходности импорта на СКВ*, стоимость потребительских товаров в розничных ценах составит всего около 30 млрд. рублей. Таким образом, 136 млрд. рублей могут быть получены только путем значительного — более чем в 5 раз — превышения цен на импортные товары. В ином случае для выполнения обязательств потребуются выделения бюджетных ассигнований, что в условиях дефицитности бюджета России неизбежно повлечет за собой дополнительную эмиссию денег и подтолкнет инфляцию;

...столь значительные суммы рублевых средств, сосредоточенные в руках иностранных инвесторов, дают им потенциальную возможность установить контроль над значительной частью российской промышленности;

...накопление иностранцами рублевых средств, полученных в результате обмена иностранной валюты по договорному курсу, дает им значительно более выгодные стартовые условия при переходе

---

* Свободно конвертируемая валюта

СССР к рыночной экономике по сравнению с советскими и совместными предприятиями. Это в значительной степени снижает стимулы для иностранных инвесторов организовывать производство товаров в СССР, поскольку с меньшим риском и усилиями их можно будет получать в результате посреднических операций».

Из комментария специалиста — экономиста П. Гончарова: «...ни при мобилизации свободных средств предприятий и организаций, ни в кредитных ресурсах банков такой объем средств практически невозможно собрать—140 млрд. рублей. Следовательно, речь идет о сделке, в которой с советской стороны предлагалось заемное или долговое обязательство в виде «сертификата» на 140 млрд. рублей. Ни о каком «кредитном трансферте», абсолютно невразумительном для банковской практики как просвещенного Запада, так и рутинной отчизны речи нет и не может быть. В реальной банковской практике есть лишь одна форма движения документов. Эти документы — аккредитивы. Тогда по логике сделки с советской стороны должен был выставляться безотзывной аккредитив на сумму 140 млрд. рублей.

Этот аккредитив для иностранного держателя был бы реальным платежным средством, несмотря на то, что для советских участников он носил бы, по существу, фиктивный характер. Таким образом, реальный долг государства иностранному держателю в сумме 140 млрд. рублей заключался бы в безденежной претензии иноучастника к материальным ценностям в сумме цен, равной 140 млрд. рублей.

...Эта сделка — гротеск, пародия на предпринимательство. Группа лиц присвоила себе право эмиссии платежных средств. Могла вдвое увеличить инфляционный показатель» («Экономика и жизнь», 1991, № 14).

Таким образом, наш прогноз, к сожалению, оказался близким к реальным развитиям событий. Правда, мы предполагали, что могут возникнуть миллионные сделки, а возникли многомиллиардные.

Теперь о финансовой войне.

## БИТВА ДЕНЗНАКОВ

Когда премьер-министр В. Павлов заявил о том, что против СССР готовилась финансовая диверсия, мы очень заинтересовались и насторожились. По многим причинам. Во-первых, мы уже несколько лет исследовали такой феномен, как «финансовая война». Во-вторых, нами неплохо отработана методика аналитического сопровождения сенсаций, которая помогает быстро устанавливать: что это — блеф или нечто реальное? В-третьих, заявление премьера было слишком серьезным, чтобы пройти мимо.

Итак... Премьер-министр В. Павлов употребил термин «финансовая война». Что это означает для советского гражданина, как он самоопределится к этому термину, как отнесется к заявлению премьера?

Да очень просто! Если симпатии гражданина на стороне «консерваторов», то он переживает миг удовлетворения. Мол, так и есть — заговор «определенных сил», которые хотят погубить страну (ЦРУ или масоны, евреи или немцы — внутренние или внешние враги). А «демократ» возмутится: надо же, опять врагов ищут!

Дело премьера — отвечать за свои слова. Его источники информации, надо полагать, неизмеримо шире и глубже тех, которыми располагают независимые исследователи. Поэтому наша задача — не опровергать или подтверждать. Мы хотим вооружить читателя некоторыми сведениями. Чтобы он мог самоопределиться со знанием проблемы.

Начать придется с трех ключевых вопросов.

Первый. Что такое финансовая война с точки зрения мировой практики? Является ли это понятие политической реальностью или же это блеф?

Второй. Случались ли когда-либо в истории финансовые войны? Когда, с какими целями, какими средствами и ради чего?

Третий. Возможны ли такие акции сегодня и кто в состоянии вести на нашей территории такую игру? Каковы возможные сценарии?

Так что же такое финансовая война? Финансовая война — это составная часть войны экономической, которая, в свою очередь, является компонентом так называемой стратегии напряженности. Финансовые битвы могут вестись любыми силами, имеющими достаточные финансовые ресурсы, соответствующие структуры и связи. Сегодня, как показывает практика, таким набором средств располагают отнюдь не только конкурирующие с нами государства. Более того, сами по себе государства могут оказаться жертвами авантюр мощных финансовых группировок, имеющих свои клановые интересы. Не исключено, что групповые интересы могут и не совпадать с интересами своих «родных» стран. Только люди, воспитанные в наивно-марксистском духе, уверены в том, что между государством и «какими-то там» монополиями не может идти необъявленных войн. Именно нам, согражданам, трудно поверить в такой факт: кто-то внутри страны вздумает противостоять государству. Жупел нашего тоталитарного государства мешает человеку понять суть расстановки сил в современном мире. А в нем все, между прочим, хрупко и неустойчиво. Ни о каком отдельном социальном компоненте нельзя говорить как о монополисте, как о целостном субъекте. Все там пронизано противоречиями, столкновениями, «войной всех против всех». В этой-то «тотальной войне», как это ни странно, и рождается высокий уровень динамики иноземных обществ.

Трудами высоких интеллектуалов, подвижничеством великих государственных деятелей, страданием народов куплена та современная культура, благодаря которой перманентно удается удерживать в равновесии этот клубок противоречий, ошибку групп, систему взаимно отрицающих друг друга частей. Для нас эта система недостижима. У нас, увы, просто нет времени на то, чтобы такую культуру сформировать, согласовать, увязать и сопрячь. Мы, как общественная система, устроены гораздо-гораздо элементарнее, традиционнее, схематичнее.

И, пожалуй, наиболее трагично то, что ни они, ни мы не можем понять, как многое нас разделяет. Они описывают нас в своих терминах, пытаются нас уподобить то Испании позднего Франко, то пиночетовскому Чили, то Ирану, то Восточной Европе. Все тщетно! Метод аналогии не работает. В этом и сила, и слабость нашей великой страны.

Мы же, стремясь понять Запад, описываем его в нашей системе отсчета, в наших культурно-исторических традициях, на нашем политическом языке. Вот и выходят они у нас то белыми, то черными, то империалистами, то полубогами, то врагами, то друзьями.

А они? Они — по ту сторону от всего этого. Они реализуют только один интерес — свой собственный. И в этом их сила. Высочайший уровень культуры — это закон конкурентной борьбы. Именно этот закон диктует Западу свою логику действий и в политике, и в науке, и в культуре, и в межгосударственных отношениях.

Один из наших западных коллег с ужасом почти мистическим вопрошал нас: что такое война законов? Например, между СССР и РСФСР. Как такое вообще может быть? И как при наличии хотя бы двух противоречащих друг другу законов можно не развалить экономику в считанные дни? Мы пытались объяснить ему, что в нашей стране никто и никогда по законам не жил, что законы здесь означают совсем не то, что в США или Швеции. Мы даже воспроизвели знаменитую фразу Белинского: «Счастье и несчастье России в том, что ни один закон не проводился в ней последовательно». Конечно же, западный коллега ничего не понял.

Другой специалист просил объяснить, зачем, имея несоизмеримое экономическое превосходство, Центру нужно было вводить танки в Литву?

В этом их культура: никогда не использовать силу там, где можно обойтись другими средствами.

Великие западные державы воевали сравнительно редко, особенно США. Они тратили в войнах неизмеримо меньше человеческого ресурса и неизмеримо больше ресурса технического, благо он всегда в изобилии. Последний пример — Ирак. Но те же США никогда не прекращали экономические и финансовые войны. Вели непрерывно. Исходя из того, что «победа без войны» (название книги Р. Никсона) дешевле, выгоднее и полнее победы военной. Горе слабому — вот краеугольный камень той культуры, ее максима.

А наш нормальный обыватель думает: неужели добрый, вечно улыбающийся американец может хотеть кому-то вреда? Мы снова имеем дело с культурой, парадигмальной ошибкой. «Улыбающийся американец» никому не хочет вреда. И пользы — тоже никому не хочет. Американец вечно занят только одним — он ищет выгоды себе. Вот и все. И если финансовая война ему выгодна, то никакое правительство его не удержит. Да и не должно. Пусть следят и удерживают те, кому невыгодно, чтобы против них воевали.

Ввязавшись, «не зная брода», в открытую экономику, открывшись неизвестно кому и непонятно на какой манер, не имея государственных инструментов, способных послужить защите интересов СССР в новых (беспрецедентных) условиях мировой хозяйственной деятельности, можем ли мы рассчитывать на то, что нас, извините, не разденут догола? Ведь все для этого есть. В СССР и банки не банки, и биржи не биржи! Так чего же мы хотим? Цены чудовищно деформированы, большинство наших «новых политиков» вопиюще безграмотны. Республики, области и районы воюют между собой. Чего же ждать в подобных условиях? И на кого пенять-то? Только на себя.

Финансовые войны, как свидетельствует история, ведутся непрерывно. Валютная интервенция (так назвал ее премьер-министр) — лишь один тактический прием бескомпромиссных битв, которые ведут между собой денежные знаки.

## КОЕ-ЧТО О ТИПОЛОГИИ

Поясним хотя бы бегло типологию дензнаковых битв.

Известны финансовые войны как элементы войн обычных. Видимо, все что-то да слышали о финансовой афере фашистской Германии, предпринятой против Англии. Не будем вдаваться в подробности (кстати, чрезвычайно интересные). Напомним лишь некоторые нюансы. Фальшивые банкноты немецкого производства обнаруживались то в одной, то в другой стране вплоть до 60—70-х годов. Недаром шефами координационного центра фальшивомонетчиков были сам адмирал Канарис и сам Гиммлер. Небезынтересно, что ни один из соратников Гиммлера и Канариса, ответственных за аферу с фальшивыми деньгами, не пострадал.

Что касается нашей страны, то зарубежные аферы с фальшивыми советскими деньгами начались с середины 20-х годов. Полководцами этой необъявленной войны были фигуры невторостепенные. Эмануэль Нобель (племянник основателя гуманного фонда), генерал Макс Гофман, Шалва Карумидзе, Спиридон Кедиа, Георг Эмиль Белл. Банкиры, акционеры, генштабисты, политические деятели, разведчики и т. д. Это избранное общество объединяла цель, которую Гофман сформулировал так: «Эти объединенные державы (Франция, Англия и Германия. — Авт.) должны своей совместной военной интервенцией свергнуть Советское правительство и восстановить экономически Россию в интересах английских, фран-

цузских и германских экономических сил. Ценным было бы участие, прежде всего экономическое и финансовое, Соединенных Штатов Америки. При этом были бы обеспечены и гарантированы особые экономические интересы Соединенных Штатов в русской экономической области».

В 1926 г. идея «свержения Советского правительства путем выпуска фальшивых денег» стала интенсивно реализовываться при помощи влиятельных политических сил Англии, Турции, Болгарии, Персии, Румынии, Польши, Финляндии и Чехословакии. Крупные суммы фальшивых советских денег уже в 1928 г. поступали из Парижа. Там «производство» организовали Мясоедов (бывший вице-губернатор Сувалок), Симанович (бывший личный секретарь Распутина) и белогвардейцы Эристов и Литвинов. В том же году Прусская криминальная полиция разоблачила фальшивомонетчиков. Правда, в результате действий «неизвестных» политических сил никто из них наказания не понес.

Есть и такой тип финансовых войн — мафиозный. На современном рынке только банки могут организовывать международный оборот капиталов. Например, сицилийские мафиози доходы, полученные от торговли героином, вкладывают не только в сицилийские банки, но и в ломбардские, швейцарские и американские. Мафиози организуют и собственные «финансовые общества», которые занимаются международной спекуляцией валютой. Они, в частности, завышают импортные цены и снижают экспортные цены на товары, наживаясь на таких операциях.

Итальянские мафиози проводят до изумления простые и эффективные операции с текущими счетами с помощью изъятий и вкладов денег одновременно в Италии и за границей. Для этого достаточно иметь в группе иностранца, который живет в Италии, но имеет свой текущий счет и за границей. Это называется повторным оборотом денег. Такой ход хорошо заметает следы доходов от таких деликатных дел, как получение выкупов за похищенных людей.

Уклонение от уплаты налогов — тоже разновидность финансовой войны. Те же итальянские мафиози открывают огромное количество фальшивых счетов на большие суммы. Этот путь великого обмана налоговых ведомств — солидная база масштабных мошеннических операций. Шумные скандалы по поводу неуплаченных налогов промышленниками, кинозвездами, политическими деятелями — повседневность любой капиталистической страны. Так же, кстати, как и разоблачения дельцов теневой экономики.

А мы у себя дома наслышаны, что стоит ввести в СССР рынок — и отечественная теневая экономика исчезнет. И верим, наивные! Хотя, по оценкам зарубежных специалистов, удельный вес этой самой теневой экономики в современных капиталистических странах составляет минимум 15 процентов от объема производства (и это без «неучитываемого» наркобизнеса).

И, наконец, четвертый тип финансовых войн — экономическая диверсия. Эта разновидность легко демонстрируется примером Польши. В 70-х годах страну искусно втянули в поток экономических сделок. Да так, что после 5—6 лет «взаимных интересов» ее внешняя задолженность составила сначала 18 млрд. долларов, а затем мгновенно подскочила в полтора раза!

Механизм экономической диверсии был простым. На первом этапе операции западные партнеры поставили в Польшу предприятия, заверив, что в виде оплаты будут брать произведенную на этих предприятиях продукцию. А на втором этапе... партнеры взяли да и отказались эту продукцию брать! Сбыт, таким образом, притормозили, а сумма польского валютного долга полезла вверх. Потому что в соответствии с первым этапом этой акции поставки с Запада и сырья, и оборудования, и запасных частей продолжались! Началось буквально ограбление. Но мало того. Западные бизнесмены резко повысили учетные ставки-проценты на уже выданные и выдаваемые кредиты. Теперь польский долг мог уже расти автоматически. Для полной гарантии успеха потребовались силы внутри страны, которые сумели бы резко сократить и без того скудный экспорт польской продукции на Запад. И по законам финансовой войны такие силы внутри Польши, разумеется, были найдены. Как говорится, всего и делов-то!

Но самое интересное в этом сценарии вот что. Когда силы «прогресса» свое дело сделали — и даже оказались у власти, — долги им за оказанные услуги Запад не простил.

Тут могут быть возражения. Польша не сумела произвести конкурентоспособную западной продукцию — сама виновата. Главный же виновник краха польской экономики, естественно, социализм, который вообще не может предложить эффективной экономики, эффективного производства. Сколько этому строю, мол, ни помогай, все равно он недееспособен. Возражения можно было бы принять, если бы не одно обстоятельство, хорошо известное западным политологам, но полностью замалчиваемое у нас. Еще в 1972 году спецслужбами Запада был разработан план финансовой войны против Польши под кодовым названием «Хилекс-5». У его истоков стояли такие известные политологи, как Збигнев Бжезинский и Ричард Пайпс, который, возглавив при Рейгане специальный отдел коммунистических стран при госдепартаменте, заявил: «Сильный не должен бояться. Пусть устрашится тот, кто слаб». Вот вам и «голубь мира». К моменту прихода Рейгана в Белый дом были разработаны как минимум три сценария дестабилизации Польши. Ни Бжезинский, ни Пайпс этого не скрывали. А версия о том, что в 1981 г. Польша «сама» не справилась со своими трудностями, ими же и классифицировалась как «наживка для дурачков». Научное честолюбие не позволяло Бжезинскому и Пайпсу (особенно Пайпсу, прозванному за стремительную карьеру «советолога» «счастливчиком Ричи» и осуждаемому коллегами из госдепартамента за самомнение и болтливость) скрывать свое авторство по части того, что происходило в Польше.



Удивительно все-таки, почему у наших реформаторов, вопреки реалиям, такое непоколебимое убеждение в том, что «Запад нам поможет»? Ведь поклонники «их образа жизни» вроде бы должны знать и «их нравы».

Здесь не место для изложения полной типологии финансовых войн. Нам представлялось важным подтвердить, что такие войны существуют и ведутся непрерывно. Со времен древней Финикии и до сих пор.

## ТЕАТР ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

А теперь о самом главном. Что такое финансовая война на территории СССР? Возможна ли она, кто ее может вести и с какой эффективностью?

Потенциальная эффективность ее, сразу скажем, огромна! И страна наша идеальна с точки зрения тех, кто хотел бы «денежную» войну вести. Идеальна — это богата, сумбурна, наивна. А значит — абсолютно беспомощна.

Разберемся и в этом пообстоятельнее. Спрашивается: кто может вести финвойну с СССР? Отвечаем — любой. Любой субъект, имеющий несколько миллионов долларов и способный создать хотя бы один банк на территории СССР (хотя бы и через советских подставных лиц). Стратегия известна. Но как это все-таки делается?

Создается стартовый капитал в несколько миллиардов долларов, причем — на короткий срок. Потом организуется банк на территории СССР (желательно через подставных лиц). Далее — часть суммы обменивается на рубли по курсу «Х» рублей за доллар. (Сейчас этот «Х» на черном рынке равен примерно тридцати.) Затем эта часть вбрасывается на внутренний рынок денег СССР. В ответ возникает нелинейная, что очень важно, инфляция. Суть нелинейности в том, что товар обесценивается не в строгой пропорциональности к росту денежной массы, а в условиях финансовой неустойчивости и нарушения пропорций — гораздо быстрее. Таким образом, обмен доллара теперь уже будет идти по еще более высокому курсу (допустим, не 1 доллар за 30 рублей, а 1 доллар за 40 рублей). Но это еще не все.

Вторая часть стартового капитала (вспомните о ней) обменивается на рубли уже по самому новому курсу. Что же получилось? А то, что часть стартового капитала «как бы» выброшена «на ветер», потрачена «ни на что», но это лишь «как бы». Ибо «первые» деньги возвращены с лихвой, поскольку вторая часть капитала пошла на покупку рублей, значительно более выгодную. Потому что первая часть выполнила свою тактическую задачу — сбила курс рубля. Здесь все решает конкретика: степень неустойчивости рубля и объем стартового капитала. Ведь если капитал мал, то на сбив курса уходит бóльшая часть его, что невыгодно.

Очень хотелось бы привести хотя бы элементарную математическую модель процесса. Но статья журнала не та форма, к сожалению... Но уверяем: спекулировать валютой — трудный вид бизнеса. Тут нужно иметь голову на плечах!

Продолжим. А если операцию на сбив прокрутить раз этак пять? Гиперинфляция обеспечена! Что при такой экономике, как наша, очень даже возможно. Ведь СССР — это страна чудес. Некоторые товары, в основном сырье, здесь идут по ценам гораздо ниже мирового уровня. Нефть, к примеру. Мировая цена нефти что-то около 100 долларов за тонну. А наша внутренняя — 60 рублей (тех самых деревянных, которые 1:30) за ту же тонну. То есть... 2 доллара! Так как же не разорить такую страну?! Качай сырье. Дестабилизируй рубль. Снова качай. Отличный бизнес!

Можно поступить еще более лихо. Не обязательно обменивать доллары на рубли. Есть и такой ход — ввоз дефицитных и престижных товаров: компьютеров, шмоток. Важно, чтобы цена на них была безумно завышена. Вывозить же сырье, на которое цены столь же безумно занижены. И бить, бить, бить этот и без того деревянный рубль. Дробить его в щепки. А уж потом благородно отправлять крохи своей сверхприбыли на «гуманитарную помощь».

Так и организуется сверхвыгода. А проще: именно так тихо «грохочет» финансовая война.

По нашим расчетам, при стартовых капиталах порядка 10 миллиардов долларов финансовая битва с СССР имеет рентабельность около 200 процентов годовых. При такой прибыли «спонсоры» быстро появятся. Скорее всего, как мы полагаем, это будут «частные спонсоры». И работать они станут не ради свержения общественного строя. Только из-за выгоды. Если же и строй рухнет — очень хорошо. Поскольку новый с лихвой вернет «упущенное». Словом, возможностей тьма! И предложений, по-видимому, тоже. И желающие уже есть, судя по последним финансовым разоблачениям. К таким же выводам приходят и эксперты Внешэкономбанка СССР и МВД СССР. Они полагают, что в стране уже сложилась система неконтролируемых скрытых сделок по покупке валюты за рубли. Причем функционирует эта система в обход существующих правовых актов, в соответствии с которыми такие сделки можно проводить только на аукционах Внешэкономбанка СССР!

А вот подробностей о том, откуда будет нанесен удар — из Австрии, Швейцарии, Нидерландов, — мы не знаем. Знаем же другое: удар будет наноситься, вероятнее всего, не государственными структурами. Все гораздо хитрее и сложнее. Он должен быть нанесен — вот что мы прогнозируем с высокой вероятностью.

Жутко становится и по другим причинам — если никто не будет парировать такие удары. Или удары могут последо-

вать с разных сторон и с разной силой. Тогда инициаторы финансовой войны с СССР получат такой «эффект», которого и сами-то не хотели бы. Потому что, если свою войну начнет вести Европа, свою — США, свою — частные корпорации, свою — наркобизнес и свою, так скажем, — исламский мир, то сумма этих войн даст такой резонанс, который будет почище термоядерной катастрофы и для Европы, и для США, и для прочих. Так что очень надо стать реалистами. Лучше поздно, чем никогда.

Кстати, вопрос к правительству: не пора ли создать в стране мощную централизованную систему валютно-таможенного контроля, которая отслеживала бы не только перемещение товаров через границу, но и соответствующую репатриацию валюты за эти товары на основе данных таможни? Сейчас такой системы нет. Но есть опыт, как у нас любят говорить, «цивилизованных стран». В частности, Франции 70-х годов. Там в связи с финансовыми проблемами было введено большое количество валютных ограничений. Ведь у Запада действительно есть чему поучиться! И созданию единых централизованных органов валютно-таможенного контроля, и разработке универсальных электронных систем слежения за валютными операциями. Которые, между прочим, могли бы прекрасно заменить огромный сектор Госкомстата. Дел действительно немало. Если только уже не поздно.

## ВОДЯНОЙ ВЫЙДЕТ ПОЗЖЕ

Теперь мы надеемся, что читатель подготовлен к восприятию сенсационного, по сути дела, заявления премьера В. Павлова на совершенно сознательном уровне. Вот и давайте вместе оглянемся и проанализируем: что тут, за словами премьер-министра, — блеф, фантазии или некая реальность? Мы же хотели бы начать эту часть разговора с немудреной китайской притчи. Если хочешь, чтобы водяной вылез из болота, брось в болото камень побольше. Сначала полетят брызги. Оглушительно заквакают лягушки. И вновь воцарится тишина. А через некоторое время выйдет из воды сам водяной...

История интервью В. Павлова развивалась по этой притче. Сначала оглушительный шум Запада. Брызги политической грязи. И ...затишье! Но через некоторое время Запад всерьез заговорил о финансовой войне. Запад заговорил — это похвально. А вот у нас эта тема по-прежнему «затабуирована». Стоит только коснуться проблемы государственной безопасности, сразу же возмущения-подозрения: возврат, мол, к эпохе «холодной войны». Но состоятельно ли такое противопоставление — безопасность страны и «холодная война»?

Мы отслеживаем «сенсацию премьера» с момента ее рождения до сегодня. И убедились — не должно быть табу на любую, сколь угодно острую тему. Что же происходило вокруг «сенсации»?

Наша пресса немедленно откликнулась публикацией огромного количества негативных оценок этого интервью западными политиками и экономистами. Цитаты из западных источников буквально кричали о вымышленности обвинений и несостоятельности тезисов В. Павлова по поводу финансовой войны. Такое единообразие западного мнения нас удивило. Обычно западные общества не отличаются стандартным мышлением. Решили проверить, действительно ли вся западная пресса столь «монотонна» в данном случае. Сомнения подтвердились. На самом деле западная печать изобилует информационными сообщениями, дающими совсем иную оценку интервью В. Павлова, нежели те, которые цитируются нашими газетами. Мы и приведем цитаты из «другой серии».

Итак, американская газета «Джорнэл оф коммерс энд коммершл» от 15.02.91 г. Автор Майкл Лелевелд считает, что обвинения Павлова «имеют под собой определенные основания». И далее из той же статьи:

«...Президент американской ассоциации экспортеров и импортеров Юджин Милош сказал в четверг, что два месяца назад ему предложили участвовать в сделке компании «Доув трейдинг». Его заверили, что он сможет приобрести рубли по курсу 1 рубль за 6—7 центов... с предоставлением гарантийного письма относительно того, что он сможет использовать эти деньги на советском рынке. Эта сделка вполне соответствует обвинению Павлова, что западные банки приобретают рубли по низким ставкам, с тем чтобы купить за бесценок советские предприятия, когда начнется приватизация».

«...Распространились слухи, что советские бизнесмены привозят рубли в Западную Европу, обменивая их на доллары и немецкие марки по высокому курсу 50:1. По словам авторитетного вашингтонского эксперта по международному банковскому делу Роджера Робинсона, поступают сообщения, что представители Советов, занимающиеся торговлей медицинским оборудованием, переводят большое количество рублей в западноевропейские банковские центры... речь идет об огромных количествах. По словам Робинсона, вполне вероятно, несмотря на заявление об обратном, что некоторые банки отложили какое-то количество рублей для их использования в будущем и что спекуляция рублями возможна».

«...Вопрос о том, достаточно ли количество этой валюты, чтобы оправдать реакцию Павлова или страх перед заговором... Без сомнения, гораздо разумнее было бы попытаться понять причины его бурной реакции, чем просто называть его «глупцом»...».

«...С точки зрения Советов, легко представить себе связь между сделкой России с рублями и политическими целями российских политических деятелей, которые борются против Горбачева. Что бы ни делал ваш противник — это всегда плохо».

«...Робинсон также считает возможным осуществление большего, нежели нам известно, числа сделок с рублями. Он ссылается на произведенные подсчеты относительно того, что до нынешней войны Саддам Хусейн потратил на Западе на приобретение военного снаряжения 50 миллиардов долларов, а известно лишь о 4—5 миллиардах. Если в данном случае имеют место аналогичные ошибки в подсчетах, то мы можем лишь гадать, действительно ли Павлову нечего бояться...»

И такие точки зрения, оказывается, появляются в западной прессе. И мы можем почерпнуть из «тех» газет безусловно значимые факты. И прежде всего то, что сдвиг обменного курса происходит, что обменный курс неотвратимо растет и что рост этот — управляем. В частности, сдвиг курса с 16 к 50 — факт неизмеримо более важный для нашего общества, нежели все дискуссии между «консерваторами» и «демократами», Центром и РСФСР, коммунистами и антикоммунистами. Ибо эта цифра — индикатор бедствия, которое коснется всех нас. Кроме, быть может, ничтожного меньшинства населения. (Еще раз напомним, не премьера защищаем мы от левой прессы, не Горбачева от Ельцина и не коммунистов от «демократов», а государство от неминуемой катастрофы.)

Кто же может быть «спонсором» государственного краха? Сила мафии в СССР подтверждена многочисленными исследованиями. Да и специалисты по преступности (не только советские) не допускают мысли, что такая сильная мафия не имеет международных связей. В том числе и ориентированных на мировой наркобизнес.

Прогнозируя мафиозный вариант финансовой войны, мы и предположить не могли, насколько наш теоретический прогноз очень скоро подтвердится политической практикой.

## ПОЛКОВОДЦЫ И ИХ АРМИИ

Опять обратимся к зарубежной прессе. Газета «Санди таймс» поместила статью Джона Дэвисона, посвященную «отмывке» наркодолларов в СССР. В ней есть очень интересные моменты:

«...Швейцарская полиция полагает, что скандал, разразившийся в Советском Союзе в связи с обменом 140 миллиардов рублей, связан с «отмывкой денег» для «Медельинского картеля» торговцев наркотиками. При этом ссылаются (швейцарские полицейские. — Авт.) на другую сделку, связанную с крупными суммами в рублях, которая была раскрыта в декабре и в которой прослеживалась явная связь с колумбийскими «наркобаронами», следствием которой явилась растущая очевидность того, что СССР превращается в один из центров деятельности торговцев наркотиками и тех, кто занимается «отмывкой денег»... Следствием этой сделки явились ошеломляющие утверждения, с которыми выступил на прошлой неделе советский премьер-министр Валентин Павлов о том, что западные банки предприняли попытку «экономического переворота». С контрутверждениями выступили сторонники президента Российской республики Бориса Ельцина, которые заявили, что разоблачение этой сделки было заговором, подготовленным КГБ...».

«...В Швейцарии, где должна была быть скреплена эта сделка, в высших полицейских кругах убеждены в том, что след в конечном счете приведет к картелям торговцев наркотиками. «Мы полагаем, что эта сделка связана с деньгами, полученными за счет наркобизнеса, в том числе с деньгами «Медельинского картеля», и что это явилось частью обширной системы по «отмывке» грязных денег, которая в настоящее время действует в Советском Союзе», — заявил один швейцарский чиновник, в обязанности которого входит поддержание связей с американским Управлением по борьбе с распространением наркотиков».

«...Советский Союз является «диким западом» мира наркобизнеса. Местная полиция (милиция. — Авт.) слаба, она плохо оснащена и нередко коррумпирована, а местная мафия могущественна и располагает хорошими связями с коррумпированными элементами в КГБ и других органах».

«...Советский Союз можно считать раем для дельцов, занимающихся «отмывкой денег», поскольку никто там не отказался бы от «наркодолларов» или же от каких-либо иных долларов».

«...Один высокопоставленный сотрудник женевского отдела по борьбе с мошенничеством также заявил, что, по его убеждению, «наркодоллары» связаны также и с этой сделкой в рублях, равно как и с другими «грязными деньгами». Как сообщил этот сотрудник, в течение прошедших месяцев поступили запросы от целого ряда европейских стран, в том числе из Германии, Голландии и Бельгии, насчет других подозрительных операций, в которых также фигурируют рубли».

«...В декабре, после того как швейцарская полиция получила сигналы от Управления по борьбе с распространением наркотиков, она приняла меры по расследованию одной сделки, которую должны были заключить в Женеве и по поводу которой полагали, что она представляла собой операцию по «отмывке денег» для «Медельинского картеля». Подозреваемые в этом лица признались, что они вели переговоры об обмене крупной суммы валюты. При этом речь шла о 70 млрд. рублей. Но после трехнедельного расследования судья, занимавшийся рассмотрением этого дела, распорядился об освобождении этих лиц. «Я просто не мог поверить, чтобы кто-либо, находящийся в здравом уме, стал бы обменивать «наркодоллары» на рубли, которые невозможно потратить. Поскольку это дело не смогло бы убедить присяжных, я был вынужден освободить этих людей», — заявил Жан-Пьер Трембле, старший судья мирового суда. Однако события, произошедшие на прошлой неделе, заставили его вновь призадуматься. «Если какой-либо полицейский пришлет мне доклад с новыми доказательствами, я смо-

гу быстро вновь возбудить это дело», — добавил он».

«...Кремль также отдает себе отчет в том, что иностранные инвестиции могли бы быть использованы для обработки «грязных денег». Один правительственный эксперт заявил на прошлой неделе, что длительный период изоляции этой страны от Запада означает, что она не знает, как относиться к подобной деятельности. Он признал, что эта страна является привлекательным местом для «отмывания денег»...».

Мы пошли на такое длинное цитирование, потому что данный сюжет выводит всю тему, затронутую В. Павловым, на качественно новый, в буквальном смысле этого слова — геополитический уровень.

Допустим, что главным лицом, действующим на территории СССР, является «Медельинский картель». Предположение это, заметим, высказано не нами. Мы считаем, что этот картель — лишь одно из действующих лиц. Но весьма-весьма весомое. Предположим далее, что к власти в СССР в результате ведущейся сегодня острейшей политической борьбы придут силы, спонсируемые этим картелем. Такая гипотеза опять же выдвинута не нами, а теми, кто связал дело Фильшина с «Медельинским картелем». То есть высшими чинами швейцарской полиции.

А теперь о том, что означает приход протеже «Медельинского картеля» к власти на одной шестой части земной суши, располагающей термоядерным оружием. О том, что это означает не только для СССР, но и для США, Великобритании, Франции, Германии, Японии.

Мы понимаем, что правительства названных стран располагают полной информацией о «Медельинском картеле». Но для советского человека, который сейчас и творит мировую историю, «Медельинский картель» значит не больше, чем «финансовая война». И мы обязаны кое-что рассказать.

## КТО ЖЕ ГЛАВНЫЙ ВОДЯНОЙ?

«Медельинский картель» — это одна из опорных структур международной наркомафии. Последняя включает в себя и американскую «коза ностру», и итальянскую, и кенийскую, и турецкую, и японскую («якудза»), и гонконгскую, и юго-восточный «Золотой треугольник». Сердцем наркоимперии, по мнению западных специалистов, являются швейцарские банки, в которых скапливаются отмытые наркодоллары. Позвоночником этой структуры является союз американской (Нью-Йорк) и сицилийской (Палермо) мафий. Периферийными метастазами — Колумбия и «Золотой треугольник», в которых наркомафия пытается создать свою государственность. Именно этот проект «огосударствления мафии» мы и обсуждали в нашей книге «Постперестройка» — как один из возможных сценариев развития ситуации в СССР.

«Медельинский картель» в Колумбии поставляет в США 80 процентов кокаина на сумму от 50 до 100 млрд. долларов ежегодно. Особенно интенсивно этот процесс стал развиваться с конца 1985 г., когда была изобретена недорогая и сильнодействующая разновидность кокаина, получившая название «крэг». Американская печать писала: «Наркоманы в США буквально обезумели от «крэга», но обезумели и торговцы этим зельем от огромных прибылей».

«Медельинский картель» «запускает» в США и Западную Европу не только наркотики, связанные с кокаином. Сотрудники Управления по борьбе с наркотиками США отмечают, что количество марихуаны, выращенной в Колумбии, «вообще не поддается исчислению».

В 1986 г. в США вышла книга Джеймса Миллса о «Медельинском картеле» и других наркосиндикатах. Она называлась «Подпольная империя, где преступления и правительства соединяются». По данным Миллса, «наркодоллары», «отмытые» в результате преступных операций «Медельинского картеля», оседают главным образом в крупнейших транснациональных банках: «Морган гэранти траст», «Чейз Манхэттен», «Сунс бэнк корпорейшн», «Бэнкерс траст», а также в биржевых корпорациях «Мерил Линч» и «Е. Ф. Хаттон».

На связь банкиров и наркомафии указали также и результаты расследования специальной рабочей группы, созданной в США в 1982 г. под руководством Дж. Буша, в то время вице-президента. Эта группа вскрыла связь сорока банков США с наркодельцами «Медельинского картеля». Жаль, что начатые расследования тогда не привели к шумным разоблачениям. Был оштрафован только один крупный банк — «Бэнк оф Бостон». В тот же период в американской, колумбийской и итальянской прессе отмечалась связь «Медельинского картеля» с Центральным разведывательным управлением США, сотрудники которого использовали «наркодоллары» для закупки оружия для никарагуанских «контрас». В американской прессе уже в 1987 г. отмечалось, что руководители «картеля» передали 10 млн. долларов по указанному адресу. Но те же исследователи говорят о связях картеля с ВАКЛ (всемирной антикоммунистической лигой), различными профашистскими режимами. Таким образом, картель отнюдь не игрушка в руках ЦРУ, а могущественное государство. Со своей армией, идеологией, политикой. Безусловно, способное действовать и против США...

Наш анализ проблемы финансовой войны на этом не закончился.

Мы встретились с Дианой Миллер — генеральным директором совместного англо-советского предприятия «Динамика», которая после известного заявления В. Павлова дала интервью газете «Обсервер» и сказала о том, что ей известны факты финансовой войны против СССР.

Мы многое узнали от английской предпринимательницы.

Но прежде, чем обо всем рассказать, предупреждаем читателя, что все приводимые нами факты изложены в интерпретации англичанки и всю ответственность за них Диана Миллер берет на себя.

## О ЧЕМ ПОВЕДАЛ «ФАКС»

4 и 9 декабря 1990 г. на «факс» СП «Динамика» (оно находится на Цветном бульваре) пришли конфиденциальные письма президента американской фирмы «Ля мэр интернейшионал» Даниеля Лукача для первого заместителя генерального директора центра международного сотрудничества АН СССР «Ист-Вест» Григория Ивановича Макаренко («факс» арендован по просьбе «Ист-Вест»). Письма были весьма любопытные. В них говорилось об обмене двадцати миллиардов советских рублей на американские доллары в соотношении 1:20 (то есть по ценам «черного рынка»). Из писем, кроме того, следовало, что планируемая операция не последняя. Сделка должна была осуществляться через бельгийский банк в Брюсселе «Дженерал де Банк».

Д. Миллер, заподозрившая что-то «нечистое» в этих сделках, тут же начала частное расследование. Через своих деловых партнеров за рубежом она находит человека, который связан с названным бельгийским банком и занимается скупкой советских рублей. Этим человеком оказывается Рауль Роллинг, который в беседе по телефону с Д. Миллер заявил о готовности скупить любые миллиардные суммы советских рублей (особенно те, которые уже находятся за пределами СССР) по ценам, более высоким, чем курс «черного рынка» внутри Советского Союза. Р. Роллинг назвал три крупные американские корпорации, которые занимались скупкой рублей в огромных размерах: «Кока-Кола», «IBM», «ITT» («ITT», кстати, известна своим финансовым «участием» в свержении президента Чили Сальвадора Альенде осенью 1973 года).

Одновременно Д. Миллер выявляет по своим связям еще несколько контактов для аналогичных операций. Она знакомится с дельцом из Португалии М. А. Фостером. М. Фостер уверял, что у него есть опыт валютных сделок с рублями: переправлял их транзитом через Чехословакию и Югославию. С португальцем вел переговоры о якобы перепродаже рублей первый заместитель Д. Миллер Поль Акера (по ее просьбе — в порядке частного расследования). М. Фостер подтвердил П. Акере свою готовность купить миллиарды рублей.

Затем появляются еще три подобных дельца. Канадец Клод Лапьер. Американец Джон Кент — представитель компании «Дебики». И знакомый Д. Кента некий Ол Бартон, который предлагал Д. Миллер организовать скупку советских рублей в любых размерах, но просил при этом 15 процентов от «прибыли».

Такая вот «интересная» информация обрушилась на Д. Миллер в декабре 1990 года. Она пытается найти ответы на мучившие ее вопросы, обращается к различным специалистам в Москве. Тогда же, в декабре, англичанка впервые встречается с экономическим обозревателем «Известий» М. Бергером — для консультации. Рассказывает ему о своих впечатлениях и выводах. М. Бергер кое-что советует ей, кое-что объясняет, но почему-то не рассказывает о сомнениях чужестранки читателям своей газеты. Сейчас он даже не упоминает о декабрьских встречах с Д. Миллер. Любопытно — почему?..

## ЛЕТЯТ «УТЯТНИЦЫ», ЛЕТЯТ «ГУСЯТНИЦЫ»

Интересно и другое. Почему, например, журналист не рассказал в своей статье («Известия», 28.02.91) историю СП «Динамика»? Ограничился лишь репликой Д. Миллер: «...СП приносит вашей стране больше урона, чем пользы...»? И никаких пояснений. Просто фрагмент фразы, вырванный из общего контекста суждений и оценок английской предпринимательницы...

Ну что ж, мы перескажем то, что поведала Д. Миллер о своем опыте работы в англо-советском СП. Тем более что эта история имеет непосредственное отношение к теме «финансовая война».

Будучи одним из учредителей СП «Динамика», Д. Миллер наивно полагала, что сможет организовать в СССР честный (не «грязный») совместный бизнес. «С пользой для себя и для страны — родины отца». В планах предусматривались поиск талантливых советских кибернетиков, инженеров-программистов, помощь в разработке новых систем ЭВМ, последующая продажа союзных технологий (как конкурентоспособного товара) на мировом рынке. Одновременно Диана рассчитывала включиться в программы компьютеризации промышленного производства, бизнеса и образования в Советском Союзе. Так что не бочки из-под пива и садовые лопаты, как это представил М. Бергер, входили в стратегические замыслы англичанки.

Но, увы, это были планы только одной стороны — Д. Миллер. Советских партнеров будоражило другое: «делать деньги» любыми способами. И ничего более! В 1988 г. наша героиня столкнулась со следующей ситуацией. Бывший в то время директором «Динамики» Н. Полуйко, его заместитель М. Бондаренко, пользуясь, по мнению англичанки, покровительством заместителя заведующего отделом Госкомиздата СССР А. Морозова (это ведомство являлось одним из учредителей «Динамики»), превратили СП в банальную перевалочную базу для весьма сомнительных операций по скупке и перепродаже за границей такой дефицитной теперь (да и тогда) алюминиевой и другой металлической посуды.

Д. Миллер показала нам соответствующие документы. Наверное, наши исстрадавшиеся от нехватки всего женщины оценят «вклад» советских «предпринимателей» в «улучшение жизненного уровня населения». Только алюминиевой посуды,

скупленной за бесценок (за «деревянные» рубли), за несколько месяцев было продано на валюту за границу 162 тонны. Это десятки тысяч «утятниц», «гусятниц», сковородок, подставок, казанов, рукомойников, кастрюль, котлов, умывальников и других изделий, перечисленных в документах. Основными поставщиками этой продукции для «Динамики» в 1988 г. являлись: Балашихинский литейно-механический завод, Московское межобластное оптовое предприятие по торговле бытовыми машинами, электротоварами и посудой, «Росхозторг», завод «Метхозизделий» № 6, Башкирское сортопрокатное ПО (г. Уфа).

Механизм тех сделок прост. В соответствии с договором № 62 от 20 сентября 1988 г. «Динамика» закупала металлическую посуду для республиканского объединения «Росаттракцион». А «Росаттракцион» в свою очередь сбывал эту посуду (а вернее, чистый алюминий) зарубежным партнерам через «свое» СП «Аспект» и некую фирму «Си-Эс-Джи Интернейшнл ЛТД». Последнюю из названных организаций возглавлял некто С. Читьян. Он же фактически руководил и «Динамикой» в 1988 году. Не имея к ней прямого отношения, но пользуясь «протеже» уже названного А. Морозова из Госкомиздата.

Куда же направлялась алюминиевая посуда? Д. Миллер сказала: в Западную Германию.

## «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ» С ЦВЕТНОГО БУЛЬВАРА

Узнав об этих сделках и о странных трансформациях учрежденного ею СП, Диана Миллер ставит вопрос о правомерности (и нравственности!) происходящего. Наивная! Ей отвечают, что «компьютеры (любые!) в СССР нужнее, чем сковородки». А компьютеры, как говорится, присутствовали: часть вырученной (от продажи «по дешевке» алюминиевой посуды) валюты тратились на примитивные компьютеры, игорные автоматы, которые тут же перепродавались в Союзе, правда, опять-таки по спекулятивным ценам. Знакомая картина по превращению товаров первой необходимости в валюту и в рубли. Но не для народа и не для государства. А для кого? Всем ясно, наверное, для кого.

Д. Миллер — человек действия. Она немедленно потребовала прекратить подобные сделки. Отказалась ставить свою подпись на подготовленные контракты, назначила финансовую ревизию. Стала наводить порядок и документации (в СП в то время не велось даже протоколов заседаний правления). Часть документов о злоупотреблениях она передала на Петровку, 38, и в ОБХСС Дзержинского РУВД. Поставила в известность о злоупотреблениях руководство Госкомпечати, консульское управление МИД СССР. Добилась увольнения с работы бухгалтера СП Титовой, провела перевыборы правления. Разогнала всю «честную компанию». Сама возглавила «Динамику».

Да, несколько иной образ складывается при личном знакомстве с Дианой Миллер, чем тот, который создал М. Бергер. Между прочим, действовала эта пожилая женщина при отчаянном сопротивлении наших отечественных «партнеров-бизнесменов». Они даже пытались объявить Д. Миллер «сумасшедшей». Посылали в Англию сотрудника СП В. Семенова с задачей собрать на нее «компромат» в Лондоне. Увы, не собрал ничего. Дельцы оказались бессильны. «Железная леди» на Цветном бульваре выдержала все атаки. И победила — пока. Это, кстати, не единственная ее победа в СССР. Она, например, пресекла попытки Ленинградского филиала «Динамики» осуществить незаконные сделки по вывозу из СССР стратегического продукта — редкоземельного металла германия. А предложения были очень выгодные — от «специалиста» по таким сделкам кембриджского предпринимателя Джона Миддлмесса, весьма удачливо вывозившего германий из Китая.

## НЕКОТОРЫЕ ВЫВОДЫ

Первое. Шила в мешке утаить не удалось. История с валютными операциями вышла-таки наружу. И придется, видимо, кому-то отвечать за все это. В том числе и кумирам наших радикалов. Радикализм, кстати сказать, тем и отличается от любых иных политических течений, что ему вовсе не требуются ни собственные программы, ни собственные идеи — он просто доводит до предела и на свой лад идейный багаж противников. Например, вместо известного клича «Пятилетку в три года!» оглашает «новый» — «Рынок за 500 дней!». Тех же, кто начинает сомневаться, радикалы попросту «выносят за скобки». Как? Да способов сколько угодно. И все они отработаны во времена, так сказать, предваряющие «наши самые последние». Техника дискредитации эпохи застоя и сталинизма прекрасно служит тем, кто нынче исповедует высокий демократизм.

Чего стоит одно лишь «дело АНТ»?! Помните? Сначала с его помощью дискредитировали Н. И. Рыжкова. А потом тот же АНТ провозгласили почти что спасителем страны. Только переименовав его для наивных в «Российский Дом». Вкус имена дающих мы, конечно же, не обсуждаем, но определенное недоумение испытываем... Так назывался отдел английской спецслужбы, занимавшийся Советским Союзом.

Второе. Еще яснее высветилась скрытая пружина ажиотажа вокруг высказывания премьер-министра В. Павлова о финансовой войне против СССР. Сами посудите. Некоторые члены российского правительства крутят махинации: миллиард туда — миллиард сюда. И вдруг глава союзного правительства угодил в «самое яблочко». Тогда родилась мысль, достойная лучших образцов «гешефтмахерства»: если Запад перестанет давать кредиты (России, например), свалить провал внешнеэкономических связей с махинаторов на правительственное заявление В. Павлова. Правда, на



этот раз не удалось передернуть карту.

В справке депутатской комиссии ВС РСФСР от 15.02.91 года о «контракте на продажу 140 млрд. рублей» прямо сказано: «Его возможная реализация создала бы угрозу стабильности отношений с союзными республиками, дестабилизировала процесс денежного обращения в стране... Сосредоточение такого количества рублей в руках неустановленной фирмы могло породить возможность серьезных финансовых диверсий как против отдельных республик, так и против СССР... Подорвано доверие к правительству РСФСР у крупных западных банков и фирм... Возможны и осложнения с получением кредитов от западных партнеров». В названной справке виновники названы однозначно.

Третье. Мы далеки от того, чтобы видеть корень всех бед в сомнительных действиях только российского правительства. Это крупные операции, но круг исполнителей, видимо, гораздо шире российского масштаба. В частности, из беседы с Д. Миллер и представленных ею документов следует, что к этим аферам имела отношение некая дочерняя организация АН СССР. Как ни критикуй популярных экономистов из Академии наук, но то, что курс доллара на международном «черном рынке» они знают на «отлично», — это бесспорно.

Четвертое. Мы кратко охарактеризовали различные типы финансовой войны. Раскрытая Д. Миллер «динамика афер» расширяет наш кругозор об этой махрово цветущей у нас сфере «деятельности». Подтвердились предположения о выкачивании из страны стратегических ресурсов. Действительно, когда наши новообращенные Тит Титычи совершают сырьевые сделки с лукавыми «ганзейпами», нужен глаз да глаз. Дело в том, что западный мир (по мнению западных же экспертов) вошел в очередную «длинную волну» экономического цикла. В технике и технологии такому состоянию сопутствует «революция материалов»: резко расширяются их ассортимент и качество. Возникают потребности в «изысканном» сырье. А добыча и переработка оного связаны со значительными энергетическими затратами и экологическим ущербом. Что же тогда означает продажа за рубеж — прямо или через посредника — той же алюминиевой посуды? На первый взгляд пустяки. Но!.. В СССР при производстве алюминия используется приобретаемое за валюту импортное сырье. К тому же на получение одной тонны алюминия расходуется 9 тонн условного топлива, в том числе более 17 тыс. квт.-час. электроэнергии. Вот что такое на самом деле алюминиевая посуда — по затратам. А в США и в Германии около 30 процентов алюминия обеспечивается как раз за счет «вторичного» алюминия: то есть путем переплавки отслуживших срок алюминиевых изделий (плошек, ложек, поварешек в том числе). Экономят там энергию и финансы! А наш родной Тит Титыч знает, что цена алюминия на западных рынках (аж!) 1,5—2 тыс. долларов за тонну. Вот он и играет на разнице цен и валютных курсов.

Скажут: подумаешь, одно СП сбыло туда 162 тонны алюминия. Ну, а если 100 или все СП займутся этим делом? К сожалению, многие СП этим как раз активно и занимаются. А сделка по продаже «за кордон» германия, к счастью, прерванная?! Германия, без которого нет производства полупроводников (диодов, транзисторов, фотодиодов). О какой модернизации экономики можно говорить, сбывая за рубеж такого рода материалы?

Пятое. Все последние события (справка депутатской комиссии российского парламента, встреча с Дианой Миллер) утвердили нас в мысли — «финансовая война» ведется активно одновременно по нескольким направлениям. И необходима надежная система экономической безопасности СССР, включающая в себя:

— разработку нового механизма функционирования сквозного валютно-таможенного контроля за внешнеторговыми сделками. Для проведения этой работы необходимо создать специальный орган валютно-таможенного контроля, оснащенный современной компьютерной техникой, позволяющей получать и обрабатывать информацию, поступающую от организаций экспортеров и импортеров, таможни и банка;

— создание службы таможенной экспертизы, которая включала бы в себя систему технического слежения за вывозом стратегического сырья и материалов, драгметаллов и ввозом высоких технологий из-за рубежа. Необходимо ввести порядок, при котором ввоз и вывоз продукции лицензировались бы только при наличии актов экспертизы такой службы;

— объявление монополии государства на ввоз особо прибыльной импортной продукции;

— разработку гибкой налоговой политики на вывоз энергоносителей, металлов, стройматериалов, промышленного сырья, особо наукоемких технологий. В этих целях целесообразно создать специальный орган при Кабинете министров СССР;

— введение института правовой и финансовой ответственности за сокрытие сведений по операциям через иностранные банки в ущерб экономической безопасности страны.

P. S. Когда статья была уже подготовлена, стали известны новые подробности о сделках российского руководства. Оказывается, по данным следователей Прокуратуры СССР, речь уже идет не о 140 миллиардах рублей, а о 500 миллиардах. Установлено также, что миллиарды рублей скупались фирмой «Ля мэр интерэйшпенэл» не только у «Ист-Веста». Часть сделок санкционировало и правительство России. А что начнется, когда предприятиям будет разрешено открывать валютные счета в зарубежных банках, как то предусматривается «Программой стабилизации экономики и перехода к рыночным отношениям в РСФСР».

## *Летопись России: история в лицах*

*Мы начинаем нашу историческую рубрику, которую замыслили как огромный свод очерков и статей о множестве самых разных действующих лиц русской истории, написанных также многими учеными, литераторами, служителями православной Церкви Христовой — как нашими современниками, так и теми, чьи имена уже сами сделались историей. Таким образом, многоликость феномена России мы хотим выразить многогранностью взглядов людей этот феномен изучавших и изучающих. По нашему мнению, такая подача материала в значительной степени гарантирует свободу от субъективизма и предвзятости, которая как бы то ни было, хоть в незначительной степени, свойственна знаменитым историческим сочинениям.*

*История книги, фрагмент которой мы предлагаем вниманию читателей в этом номере, началась 19 февраля 1907 года, когда в командование 58-м пехотным Прагским полком вступил Александр Дмитриевич Нечволодов (1864—1939). К тому времени за плечами происходившего из дворян Екатеринославской губернии офицера (среди предков его были знакомцы М. Ю. Лермонтова) были 2-я Санкт-Петербургская военная гимназия, 3-е Александровское военное училище, служба вольноопределяющимся 2-го разряда в лейб-гвардии Павловском полку, сдача экстерном экзамена за полный курс военного училища, присвоение в 1883 г. первого офицерского звания.*

*Под руководством нового командира при полковой церкви было образовано Свято-Николаевское братство, учреждены сельскохозяйственные курсы, устроено опытное поле. «Теперь,— писал командир 15-й пехотной дивизии генерал Безрадецкий, — в местах, где раньше поднимались тучи песка, нижние чины обучаются уходу за хлебными растениями, приобретая те знания, какие им будут необходимы в их родной деревне».*

*Одновременно дважды в неделю по вечерам Александр Дмитриевич проводил со всеми солдатами беседы «на темы из русской истории». Из этих-то бесед и родилась книга «Сказания о Русской земле с древнейших времен до расцвета русского могущества при Ярославе Мудром», увидевшая свет в Николаеве в 1909 году. Тогда же с книгой ознакомился Николай II, поручивший А. Д. Нечволодову написать более обширную «общедоступную историю России».*

**АЛЕКСАНДР НЕЧВОЛОДОВ**

# Русские великие князья Олег и Игорь

Спустя четырнадцать лет после Аскольдова крещения Рюрик, сидевший в Новгороде, умер, передав правление родственнику своему Олегу, так как сын Рюрика — Игорь был еще очень мал. Это было в 882 году.

Три года ничего не было слышно в Киеве про нового князя, а в 885 году Олег, собрав большую рать из Варягов, Новгородских Славян, Кривичей, Чуди от Изборска, Веси от Белоозера и Мери от Ростова, пошел водой на Киев.

Княжеская дружина была в кольчугах, или железных чешуйчатых рубашках, в железных же шлемах, с секирами, мечами, копьями и дротиками. В руках у каждого воина был большой деревянный щит, обтянутый кожей, выкрашенной в красную краску, и окованный железом. Ратные же люди от Земли, или Вои, как их называли, одевались попроще. Мало кто из них носил кольчуги, и многие шли в одних портах; вооружены они были копьями, топорами, стрелами, мечами и ножами. Почти все были пешие.

Двигаясь на Киев, Олег по пути занял Смоленск, в котором поставил посадником мужа из своей дружины, а затем занял и город Любеч, где тоже оставил своего посадника. Таким образом он завладел днепровским путем до самого Киева.

Подойдя к Киеву, Олег укрыл всю свою силу в лодках и засадах, а сам с маленьким Игорем на руках вышел на берег и послал с вестью к Аскольду и Диру, что пришли гости, идут в Грецию от Олега и Игоря-княжича и желают повидаться с земляками — варягами. Не подозревавшие ничего Аскольд и Дир пришли к берегу, но не успели они вступить в разговор с Олегом, как из лодок и засад повыскакивала дружина, и Олег сказал киевским владыкам: «Вы владеете Киевом, но вы не князья и не княжеского рода; я есть княжеский род, а это сын Рюрика», — и вынес вперед маленького Игоря. После этого Аскольд и Дир были тут же убиты, а Олег, избавившись таким образом от киевских вождей, уже без труда завладел городом. Аскольд же и Дир были похоронены на горе близ города. Впоследствии на могиле Аскольда была поставлена церковь Святого Николы; могила эта сохранилась и до сих пор, и каждый православный человек, посещающий Киев, заходит помолиться за упокой души великого князя, здесь лежащего.

Причина, почему Олег поступил так жестоко с Аскольдом и Диром, совершенно понятна. Богатый Киев лежал на том же большом пути из Варяг в Греки, у начала которого стоял и Новгород, где сидели русские князья. Аскольд и Дир были их дружинниками, и не из старших, так как не получили от Рюрика в управление городов, почему и отпросились у него идти искать счастья к Царьграду. Осевши в Киеве, эти витязи освободили его от уплаты дани хазарам, подчинили себе соседние племена и, кроме того, прославились славным набегом на Царьград. Все это сделало их сильными и могущественными, а потому и опасными для природного княжеского рода, сидевшего в Новгороде. Поэтому Олег, задумав объединить Русскую землю, для чего он и собрал большую ратную силу, конечно, прежде всего должен был овладеть Киевом, лежащим к тому же в самом важном месте великого водного пути из Варяг в Греки.

Кроме того, нет сомнения, что язычник Олег и его языческая новгородская дружина с большим неудовольствием смотрели, что отделившиеся от них варяги с Аскольдом и Диром мало того, что приобрели значительную силу, но еще вдобавок и приняли ненавистное для закоренелых язычников христианство.

Что же касается того, что Олег избавился от Аскольда и Дира путем хитрости, то это показывает, конечно, только их большую силу, почему он и не желал вступить с ними в открытый бой; надо при этом сказать также, что употребленный им обман, чтобы заманить их, по языческим понятиям не только не был плохим делом, но, наоборот, — молодецким, и слово «хитрец» или «хитрок» считалось похвальным для тех людей, которые искусно обманывали своих врагов.

Поход Олега на Киев показывает, что действительно он был очень искусно соображен. Начавши после Рюрика княжить, Олег целых три года оставляет Аскольда и Дира в Киеве в покое и ничем не показывает своего намерения напасть на них. Сидя эти три года, по-видимому, бездеятельно в Новгороде, он между тем старательно приготовляется к походу, собирает большую рать из всех северных племен, вооружает ее и строит ладьи для похода, на что новгородцы, как отличные плотники, были всегда мастера; при этом все свои замыслы против Аскольда и Дира и все сборы к походу Олег держит до того скрытно, что киевские витязи о них вовсе и не догадываются, несмотря на то, что по большому пути из Варяг в Греки много народу из Новгорода перебывало за эти три года в Киеве.

Наконец, выступив со своею ратью и ладьями к Киеву, Олег сумел и тут тоже так скрытно пройти по водному пути, что совершенно незаметно подошел к Киеву и выманил из него Аскольда и Дира, которые сами были весьма опытные и искусные воины.

Такое искусное приготовление Олега к скрытному походу и самое его совершение должно и в наши дни, несмотря на то, что с тех пор прошло уже более тысячи лет, служить примером, достойным подражания, как следует изготовляться, чтобы внезапно напасть на врага.

Покончив с Аскольдом и Диром, Олег перенес свой княжеский стол из Новгорода в Киев. «Это будет матерь городам русским» — вот первое слово, которое сказал Олег про Киев. В Новгороде же он посадил своего посадника. Затем он сейчас же стал строить в занятых землях городки и посылать в них своих мужей правителей.

Вместе с тем он решил начать покорения и тех соседей, от которых Киев и поляне терпели тесноту. В первое же лето он отправился походом на древлян, постоянно нападавших на полян из своих дремучих лесов. Олег обошелся с древлянами сурово, «примучил их», как говорит летописец, и обложил их данью по черной кунице с дыма. На следующее лето он пошел на северян и возложил на них дань легкую, чтобы не платили хазарам. «Я хазарам недруг, а не вам», — сказал он им. На третье лето Олег спросил радимичей: «Кому дань даете?» Те отвечали: «Хазарам». — «Не давайте хазарам, но мне давайте». Так радимичи и поступили.

Объединив таким образом под своей рукою соседние к полянам племена и владея уже большим путем из Варяг в Греки, Олег стал укреплять княжескую власть во всех собранных им воедино славянских племенах; вместе с тем он стал готовиться к большому походу против

Царьграда, чтобы подтвердить грекам, что и после Аскольда и Дира Русь осталась такой же грозной и могучей для Византии, как и во времене этих витязей.

В этих занятиях по управлению землею и приготовлениях к большому походу на Царьград прошло 23 года. За эти двадцать три года летописец упоминает о двух важных событиях, имевших место в Русской земле.

В 897 году прошла мимо Киева и, переправившись через Днепр, направилась дальше к Западу орда азиатского кочевного народа угров, или венгров. Столкновений у венгров с русскими не было; очевидно, русские были нестолько грозны, что венгры и не помышляли напасть на них, а просили только разрешения пройти по их земла, чтобы найти дальше на Западе свободное место, где можно было бы осесть.

Пройдя Карпатские горы, венгры потеснили некоторые жившие в этих горах и южнее западно-славянские племена и сели в широкой равнине по среднему Дунаю, к югу и западу от Карпат.

Здесь венгры, по наущению греческих императоров, сейчас же начали воевать с соседними славянскими племенами, особенно же с моравами. Вообще прибытие угров, или венгров, в Европу и расположение их по среднему течению Дуная было весьма неблагоприятно для всего славянства, так как с появлением их на Дунае южные славянские племена были отрезаны совершенно чужим для них народом от своих северных, восточных и западных братьев, причем отрезанность эта продолжается и по сей день.

Указав в летописи о проходе венгров, летописец рассказывает затем, что князь Игорь, успевший подрасти и начать помогать Олегу в управлении государством, женился в 902 году на природной русской славянке, уроженке села Выбуты, лежащего в 12 верстах от Пскова. По красоте своего лица и редким душевным качествам она была прозвана Прекрасой. После замужества Прекраса приняла имя Ольги, в честь Олега.

К 906 году приготовления Олега к походу на Царьград были закончены.

Оставив князя Игоря в Киеве управлять делами на время своего отсутствия, Олег выступил в поход на греков, собравши множество варягов, новгородских славян, чуди, кривичей, мери, полян, северян, древлян, радимичей, хорватов, волынян, или дулебов, и тиверцев. Вся эта славная рать двинулась к Царьграду на кораблях, ладьях и конях. Кораблей было две тысячи, причем в каждом помещалось по 40 человек; водой, стало быть, шло восемьдесят тысяч, да по берегу шла конница.

Когда Олег подошел к Царьграду, греки затворили город железными цепями и заперли городскую гавань. Олег высадился на берег и стал воевать около города, творя большое опустошение; при этом он выволок свои корабли на берег, поставил их на колеса и ждал попутного ветра; когда же такой ветер поднялся с поля, он поднял паруса, и рать его поехала на кораблях к самому городу по суху, как по воде. Увидевши такую беду, греки перепугались и выслали послов Олегу с покорным словом: «Не губи город: дадим тебе дань, какую пожелаешь». Олег остановил поход. Греки по обычаю вынесли ему угощенье — пищу и вино; но мудрый русский князь не принял угощенья, ибо знал, что вероломные греки непременно устроят его с отравой. С ужасом воскликнули тогда греки: «Это не Олег, а это сам Святой Димитрий, посланный на нас от Бога». И заповедал Олег потребовать с греков огромную дань: на все две тысячи кораблей по 12 гривен на человека; в каждом же корабле, как мы знаем, сидело 40 человек. Греки соглашались на все и просили только мира. Отступив немного от города, Олег послал к царям творить мир. Утвердив сказанную дань по 12 гривен на каждое весло, Олег установил также, чтобы греки платили дань или уклады и русским городам: Киеву, Чернигову, Переяславлю, Полоцку, Ростову, Любечу и прочим, находившимся под рукой Олега.

Брать дань было делом обычным у каждого победителя, и Олег не за тем поднимался в поход. Главное, что сказали его послы грекам, было следующее: «Да приходят Русь — послы в Царьград и берут посольское (хлебное, столовый запас), сколько хотят: а придут которые гости (купцы), пусть берут месячину на полгода: хлеб, вино, мясо, рыбу, овощи, и да творят им баню, сколько хотят. А поедут Русь домой, пусть берут у вашего царя на дорогу съестной запас, якоря, канаты, паруса, сколько надобно».

Таким образом, главное требование Олега было: чтобы каждый русский человек имел право приходить в Царьград и чтобы там принимали его как доброго и уважаемого гостя. Олег требовал при этом хорошего угощения и именно для купцов-гостей, по крайней мере на полгода, пока они не устроят свои торговые дела; затем он требовал, чтобы вдоволь можно было париться в бане, так как для доброго и далекого гостя это было первое угощенье; наконец, он требовал, чтобы как поедет Русь домой, ее отпускали тоже, как всякого доброго гостя, давали бы съестное и все, что надобно заезжему человеку в далеком пути.

Значит, Русь требовала, чтобы в Царьграде с русскими людьми обращались так, как исстари обращались на Руси с чужими гостями.

Требование это показывает, что напрасно греки называли русских варварами и смотрели на них свысока, так как, наоборот, русские люди были тогда гораздо ласковее и обходительнее со своими гостями, чем греки, и требовали для себя такого же вежливого обхождения и от греков.

Греки же во время хазарского ига над русской землей, когда у нас не было своей ратной силы и некому было заступиться в Царьграде за русского торгового человека, привыкли относиться к нему, как уже было объяснено, пренебрежительно и несправедливо.





Как странник, случайно попавший в этот большой торговый город, русский человек должен был смотреть из рук каждого грека, кланяться, принижаться или же добывать себе даже необходимые вещи для жизни насильно, воровством, разбоем, что было опасно и редко сходило с рук, так как греки, пользуясь своей силой, жестоко платили русским за малейшую обиду. Вот почему, как только почуяла Русь свою силу, то сейчас же собралась она в лихой набег под начальством Аскольда и Дира — отомстить за свои обиды Царьграду, и с этой же целью — подтвердить грекам русскую силу — собрался и Олег в свой славный поход на Царьград.

Конечно, греческие цари согласились на требования Олега, но со своей стороны просили: «Пусть приходит Русь в Царьград; но если придут без купли, то месячины не получают. Да запретит князь своим словом, чтобы приходящая Русь не творила пакости[1] в наших селах. Когда приходит Русь, пусть живет за городом, у Святого Мамонта. Там запишут их имена, и по той росписи они будут получать свое месячное: первое от Киева, также от Чернигова, Переяславля и прочие городе. В Царьград Русь входит только в одни ворота, с царевым мужем, без оружия, не более 50 человек. И пусть творят куплю, как им надобно, не платя пошлин ни в чем».

Затем, в утверждение мира, цари целовали крест, а Олег и его мужи, по русскому закону, клялись своим оружием, своим богом Перуном и Велесом, скотьим богом.

Корабли Олега наполнялись всяким товаром. Шелковых и других тканей было так много, что на возвратном пути Олег велел своей дружине сшить паруса паволочные (разноцветного шелку), а остальной рати от Земли — кропийные (ситцевые). Когда подняли кропийные паруса, случилась беда: их разорвал ветер; тогда сказали славяне: «останемся при своих холстинах, не пригодны славянам парусы кропийные».

Отходя от Царьграда, руссы прибили к воротам его свои щиты, в знак победы. Вернулся Олег в Киев с большой славой, неся золото, паволоки, овощи, вина и всякое узорочье, всякий товар, который был ходок и дорог в Русской земле.

Народ, видя возвращение Олега с такой богатейшей добычей и вместе с тем видя, что войско его все вернулось целым и невредимым, то есть что, стало быть, он все это добыл, не пролив крови своих людей, дивился этому и прозвал его «Вещий», что значило чудесный, великий.

На пятое лето после этого славного похода, в 911 году воцарился в Царьграде император Константин Багрянородный, и Олег снова послал к грекам послов, чтобы подтвердить мир и договор с новым царем.

В Царьград было отправлено четырнадцать послов, в числе которых находилось и пятеро, устраивавших первый договор.

[1] Буйств, бесчинств.

Приветствовав императоров, «Великих о Боге Самодержцев», от имени Олега, Великого Князя Русского, и от всех находящихся под рукой его, светлых и великих князей и великих бояр, послы стали объяснять цель своего прибытия:

«Первое слово», сказали послы, «да умиримся мы с вами, греки! Да любим друг друга от всей души и изволенья и сколько будет нашей воли не допустим случая, чтобы кто из живущих под рукой наших светлых князей учинил какое зло, или какую вину, но всеми силами постараемся не превратно и не постыдно во всякое время, во веки сохранить любовь с вами, греки, утвержденную с клятвами нашим словом и написанием. Так и вы, греки, храните такую же любовь, непоколебимую и непреложную во всякое время, во все лета, к князьям светлым нашим русским и ко всем, кто живет под рукой нашего светлого князя».

Затем послы стали договариваться о том, как поступать, если будут случаться убийства греков русскими, или наоборот, а также и о других происшествиях между русскими и греками:

«Если кто убьет, Русин Христианина (Грека) или Христианин Русина, да умрет на самом месте, где сотворил убийство.

Если убежит убийца и будет имовит (достаточен), то его имение, какое принадлежит ему по закону, да возьмет ближний убиенного; но и жена убившего возьмет свое, что следует по закону.

Если украдет что Русин у Христианина или Христианин у Русина, и будет пойман в тот час и сопротивляясь будет убит, да не взыщется его смерть ни с Христиан, ни от Руси, а хозяин возьмет свое покраденое. Если вор отдастся в руки беспрекословно и возвратит покраденое, пусть за воровство заплатит втрое против покраденого»...

Наконец, русские послы предложили: «если греческая ладья будет выброшена большим ветром на чужую землю и случится там кто из нас, русских, то мы, русские, охраним их ладью и с грузом отправим ее в землю христианскую; проводим ладью сквозь всякое страшное место, пока не приведем в место безопасное. Если такая ладья, или от бури или от противного ветра, не сможет идти в свои места сама собой, то мы, русские, потрудимся с гребцами той ладьи и допроводим с товаром их по здорову в свое место, если то случится близ греческой земли. Если такая беда приключится ладье близ земли русской, то проводим ее в русскую землю. И пусть продают свой товар той ладьи, и если чего не могут продать, то мы, Русь, отвезем их, когда пойдем в Грецию, или с куплей, или с посольством; отпустим их с честью и непроданный товар их ладьи...

Что касается пленных, то на Руси им установлена торговая и выкупная цена — 20 золотых. Пленных на обе стороны, или от Руси, или от греков, должно продавать в свою страну...

Кто из русских работает в Греции у христианского царя и умрет, не урядивши своего имения (не сделавши завещания),

или из своих никого при нем не будет, да возвратится то его имение наследникам в Русь. Если сделает завещание, то кому писал наследство, тот его и наследует.

Кто из ходящих в Грецию, торгуя на Руси, задолжает, и, укрываясь, злодей не воротится в Русь, то Русь жалуется Христианскому царству, и таковый да будет взят и возвращен в Русь, если б и не хотел. Это же все да творит Русь Грекам, если где таковые случатся».

Греки согласились на эти предложения послов; конечно, предложения эти показали грекам, насколько русские были высоко вежливы, образованны и разумны. Договор был подписан царем греческим и послами, причем Русь клялась по закону и по покону своего народа не отступать от установленных мира и любви.

Греческий император почтил русских послов дарами, золотом, паволоками и велел показать им город: «церковную красоту, палаты золотые и в них всякие богатства, многое злато, паволоки и каменья дорогое и особенно христианскую святыню: Страсти Господни — венец, гвоздье и хламиду багряную и мощи Святых, поучая послов в своей вере. И отпустил их в свою землю с честью великой».

Так установил мудрый Олег договор Руси с греками в 911 году.

Через два года, в 913-м, после 32 лет княженья, Олега не стало.

«И плакали все люди плачем великим», хороня своего вещего князя, который первый собрал русскую землю в одно великое Государство и громко прославил русское имя своими удачными походами и мудрыми договорами.

Летописец рассказывает, что волхвы и кудесники предсказали как-то раз Олегу, что он умрет от своего любимого коня; поэтому конь этот был отправлен на покой, и Олег больше никогда не садился на него; когда же Олег узнал о смерти коня и увидел его кости, то, поставив ногу на его голову, сказал смеясь: «От этого ли лба я приму свою смерть?» Но в это же самое время он был смертельно укушен змеею, выползшей незаметно из конской головы.

После Олега на княжеский стол сел Игорь, сын Рюрика. Это было в 913 году. Первым его делом было усмирение древлян, которые по смерти Олега отказались платить дань. Игорь победил их и наложил дань больше Олеговой. Затем он усмирил и непокорное славянское же племя уличей, которые жили в низовьях Днепра, близ нынешнего города Алешек; во время этого усмирения долго не покорялся город Пересечен, так что Игорев воевода сидел около него три года и едва взял. Тогда уличи совсем перебрались с Днепра и сели между Бугом и Днестром.

После ухода их весь великий путь от Варягов в Греки был уже вполне в руках великого князя.

Но от варягов по русской земле существовала еще дорога в иной морской угол — на далекий Восток, к богатому тогда Каспийскому морю.

Тут, как известно, сидели хазары. Конечно, много обид чинилось русским людям во время хазарского ига как от самих хазар, так особенно от народов, населявших, под рукою арабов, кавказские берега Каспийского моря, куда постоянно хаживали наши торговые люди.

И вот пришло время — чтобы Русь и здесь показала свою силу и отплатила долголетние обиды.

После усмирения древлян, в 914 году, русские ратные люди на 500 кораблях, в каждом по 100 человек, спустились вниз по Днепру в море; затем, обогнув с юга Крымский полуостров, они вошли в Азовское море; отсюда они послали просить хазарского царя пропустить их в Каспийское море, чтобы отмстить кавказским народам за долголетние обиды. Хазарский царь согласился, вероятно, не считая себя достаточно сильным, чтобы отказать, а русские обещали ему отдать за это при возвращении половину своей добычи. Получив согласие, русские из Азовского моря поднялись по Дону до перевала в Волгу, вблизи хазарского города Саркела, у теперешней Качалинской станицы. Отсюда они, так же как Олег под Царьградом, должны были перевезти свои корабли на колесах в Волгу и по ней спустились в Каспийское море.

Здесь наши удальцы распространились отрядами по всем богатым приволжским и закавказским берегам и начали свою жестокую месть за все прежние обиды. «Руссы проливали кровь», говорит арабский писатель, «брали в полон женщин и детей, грабили имущество, распускали всадников для нападений, жгли села и города». Народы, обитавшие около этого моря, с ужасом возопили, а русские, разгромив этот богатый берег, отошли к нефтяной земле у города Баку, где до сих пор еще живут огнепоклонники, и поселились для отдыха на близлажащих островах.

Тогда, опомнившись от удара, жители вооружились, сели на корабли и купеческие суда и отправились к островам. Но русские не дремали и встретили врага таким отпором, что тысячи нападавших были изрублены и потоплены. После этой победы русские, обремененные богатейшей добычей, стали собираться домой и по уговору с хазарским царем, за пропуск их в Каспийское море, послали ему половину всего добытого. Однако хазары решили поступить с нашими предками самым предательским образом. Они собрали в Итиле большую силу и напали на возвращавшихся русских. Жестокая битва продолжалась три дня, и наконец наши были почти все перебиты. Тысяч пять из них спаслось и направилось вверх по Волге, но там финское племя буртасов и камские болгары добили их окончательно. Много ли воротилось отважных мореплавателей домой — неизвестно. Но нет сомнения, что кто-нибудь принес на родину весть о том, сколько русской крови было пролито изменническим образом на Волге. Кровь же русская никогда и нигде даром не пропадала без жестокого мщения; надо было только выждать для этого удобное время и случай.





Вслед за этим несчастьем случилось на русской земле и другое большое горе.

Из Средней Азии пришло, в 915 году, в наши Южные русские степи новое большое хищное племя — печенеги.

Оно, без сомнения, было вызвано греками, которые, видя усиление Руси, а также болгар на Дунае и не рассчитывая больше на ослабевших хазар, призвали против славян печенегов, по примеру императора Юстиниана. Вначале Игорь умирился с ними, и они прошли прямо на болгар, но затем стали прибывать их новые полчища, которые сели восемью ордами по всему побережью между Доном и Дунаем, преградив, разумеется, русским путь из Варяг в Греки.

Конечно, это было для недавно образовавшегося государства Руси большим несчастьем. Со времени прихода печенегов наши предки могли выходить по Днепру к Черному морю — или покоривши печенегов, или умирившись с ними. И вот, уже через пять лет по их прибытии, в 920 году, князь Игорь начинает продолжительную борьбу с этим народом.

Борьба эта сменялась иногда на несколько лет миром, и тогда мы свободно входили в Черное море. Греки же постоянно дружили с печенегами и искусно натравляли их то на нас, то на болгар, а также и на венгров.

Печенеги были народом жадным и ненасытным: они бесстыдно выпрашивали у греков множество дорогих подарков за свои нападения на славян, но при этом печенеги были также народом воинственным и свирепым; они отлично ездили верхом и стреляли из лука.

На венгров они сразу, как появились, навели такой ужас, что те отказались дальше воевать с ними; русских же печенеги всегда сами боялись, так как они наносили им зачастую жестокие поражения.

После занятия печенегами выхода из Руси к Черному морю греки мало-помалу скоро стали опять обижать в Царьграде русских людей и относиться к ним пренебрежительно, так как считали, что нам уже невозможно будет повторить набег на Константинополь, как это было во времена Аскольда и Олега. Однако греки ошиблись в своих расчетах. Заключивши с печенегами мир, Игорь в 941 году поднялся на Царьград с большой силой. У него было не меньше тысячи кораблей. Он по русскому обыкновению быстро подошел к городу, высадился по обоим берегам царьградского пролива и жестоко опустошил все побережье, производя обычные по тому времени ратные дела, сожигая села, церкви и монастыри и без пощады убивая жителей.

Вскоре выступил греческий флот; он был вооружен приспособлениями, из которых пускали на врагов знаменитый в то время Греческий огонь. Эти приспособления были установлены на корме, на носу и по бокам каждого корабля. Византийский флот встретил ладьи Игоря у Искреста, как называли русские башню со светильником, или маяк, стоявший к северу от Босфора на скале.

Русь, конечно, сама выманила греков в открытое море, где надеялась с полным успехом не только разбить, но и захватить своих врагов живьем. На море стояла полнейшая тишина, что, по-видимому, было благоприятно для русских, но на самом деле именно эта тишина и оказалась для них пагубной, так как в ветер греки не могли бы добрасывать со своих судов «греческого огня» в наши корабли; при наступившей же тишине огонь этот действовал без всякой помехи. Главным его составом была нефть, которая горела даже и в воде. Как только приблизились друг к другу корабли — огонь был пущен греками во все стороны. Облитые нефтью русские корабли и люди и вся поклажа мгновенно воспламенялись и производили сильнейший пожар. Спасаясь от огня, русские стали бросаться в море, желая лучше утонуть, чем сгореть. Иные, обремененные кольчугами и шлемами, тотчас шли ко дну, иные, плывя, горели в самых волнах морских. Ушли от погибели только те, которые успели отплыть к Азиатскому низменному берегу, в мелководье, куда греческие огненосные суда не могли пройти вследствие своей величины.

Однако оставшиеся русские были еще очень многочисленны и потому, высадившись на малоазиатском берегу, распространяли свои набеги далеко по побережью, а также углублялись и вовнутрь страны для сбора всякой добычи. Когда с сухого пути их выбивали собравшиеся сухопутные греческие полки, тогда русские отходили в своих малых кораблях на мелководье и, воюя таким образом, успешно держались против греков в течение всего лета. Мелкая вода была для них своего рода крепостью, так что во все это время они жили и ночевали в своих лодках. Наконец настал сентябрь месяц. Запас съестного истощился, и русские порешили отправиться домой, для чего в одну темную ночь и тронулись в путь. Но греческий флот ожидал их ухода и зорко следил за морем. Утром наши были настигнуты большими греческими судами, и произошло второе морское сражение, из которого немногие русские ушли домой; большинство же участников похода погибло, а некоторые взяты в плен. В Царьграде всем русским пленникам, в присутствии иноземных послов, были отрублены головы.

Так неудачно окончился поход Игоря против Царьграда в 941 году.

Возвратившиеся домой русские рассказывали, что случившееся с ними горе произошло от неведомого доселе «греческого огня», который был — «как есть молонья, что на небесах. Эту молонью греки и пущали на нас и пожигали. Оттого нам и нельзя было их одолеть», — говорили они.

Конечно, простить грекам нашу неудачу было невозможно, и, чтобы их тяжко наказать, Игорь по прибытии домой стал сейчас же собирать новую большую рать и послал за море приглашать варягов. Военные сборы русских продолжались три года.

В это самое время, когда по всей стра-

не и даже за морем разносился военный клич, у Игоря родился, в 942 году, сын Святослав, будущий мститель за все обиды русским, причиненные в княженье его отца. Вся русская сила и варяги из-за моря собрелись в 944 году. Кроме варягов, Игорь приманил и печенегов, а для укрепления соглашения взял у них заложников. После этого его огромное войско двинулось в поход на ладьях и конях.

Корсунцы первые узнали об этом походе и послали в Царьград сказать, что «идут русские — кораблей нет числа, покрыли все море кораблями». Болгары, дружившие тогда с греками, тоже с своей стороны дали весть, что «идут русские, наняли себе и печенегов». Видя неминуемую беду, греческий царь Роман поспешил послать навстречу русским не войско, а отправил лучших бояр, со словами к Игорю: «Не ходи, но возьми дань, какую брал Олег, придем и еще к той дани». И к печенегам послал Роман много паволок и золота, разумеется, подкупая их отстать от Руси. Игорь в это время дошел уже до Дуная. Он созвал дружину, и начали думать. Дружина решила: «Если царь говорит о мире и дает дань, еще и с большой прибавкой, то чего же и думать больше». Игорь послушал дружины, взял у греков золото и паволоки на все войско и воротился домой, а печенегам велел воевать болгарскую землю.

На другое же лето греческий император прислал в Киев просить снова построить мир такой, какой был построен при Олеге.

«Говорите, что сказал ваш царь»,— вопросил Игорь, когда греческие послы явились перед его лицом. «Наш царь рад миру»,— отвечали греки. «Мир и любовь хочет иметь с князем русским. Твои послы водили нашего царя к клятве, и наш царь послал водить к клятве тебя и твоих мужей». «Хорошо»,— сказал Игорь. Утром на другой день он вышел с послами на холм, где стоял Перун. Там Русь положила перед истуканом свое оружие: щиты, мечи и прочее, а также золото (запястья с рук и гривны с шей). И клялся Игорь и все люди, сколько их было некрещеных; а христианская Русь клялась в своей Соборной церкви Святого Ильи. Утвердив мир и выгодный договор с греками, Игорь на отпуск одарил греческих послов русскими товарами: дорогими мехами, челядью, воском.

Сосчитавшись таким образом с греками за тяжелую неудачу на море, понесенную три года назад, князь Игорь послал в набег часть дружины и в Каспийское море — отомстить за старое униженье, которое претерпели русские в 914 году. Арабы и армяне сохранили рассказы об этом набеге. «В это время», говорит один армянский писатель, «с севера грянул народ дикий, чуждый Рузики[2]. Они, подобно вихрю, распространились по всему Каспийскому морю, и не было возможности сопротивляться им. Они предали город Бердаа мечу и завладели всем имуществом жителей. Туземный воевода осадил их в городе, но не мог нанести им никакого вреда, так как они были непобедимой силой. Женщины города, прибегнув к коварству, стали отравлять рузиков; но те, узнав об этой измене, безжалостно истребили женщин и детей».

«Только один враг», говорит другой писатель, араб, «мог выжить русских из города — это чрезвычайное изобилие в стране всякого рода садовых плодов, от употребления которых между русскими распространилась повальная болезнь, еще более усилившаяся, когда русские заперлись в крепости. Смерть опустошала их ряды в течение нескольких месяцев. Когда же выпал снег, а осада со стороны туземцев не прекращалась, то русские, видя неминуемую погибель от повальной болезни, решили пробиться и уйти домой. Ночью они перебрались с захваченной добычей на свои корабли и удалились в свою страну». Поход этот, несмотря на успешное возвращение домой, был все-таки не особенно благополучным для нас, ввиду множества умерших от повальной болезни.

В Киеве тоже настало общее горе. Игорь с наступлением осени отправился, как обычно, в полюдье, за сбором дани и для совершения суда и расправы. Прибыв в древлянскую землю и получив дань, он отпустил дружину и направился с небольшим отрядом к городу Искоростеню, чтобы потребовать дани лично для себя. Древляне стали думать и гадать со своим князем Малом, как быть, и решили убить Игоря. Они напали на него, перебили всех его слуг, а самого привязали к двум нагнутым деревьям и заживо растерзали пополам, распустивши связанные деревья. Так несчастливо кончил свою жизнь князь Игорь в 945 году.

Вообще вся жизнь его была не очень удачной: неудачный первый поход за Каспий, приход в Южные русские степи печенегов, а затем и неудачный большой поход на кораблях к Царьграду в 941 году; но, несмотря на все эти сильные невзгоды, Игорь в течение своей долгой жизни упорно работал над делами отца своего Рюрика и вещего Олега: собирать воедино русскую землю и, в случае поражений в военных походах, не падать духом, а готовить новую ратную силу и жестоко мстить врагам за обиду; и Игорь достиг многого: Царьград должен был склонить перед ним свою голову и, заплатив тяжелую дань, просить мира; с печенегами ему удалось заключить соглашение и даже переманить их на свою сторону, затем и за Каспием в армянских владениях часть обид русским людям была уже отомщена под конец его жизни.

За те же обиды Руси, за которые князь Игорь не успел отмстить при своей жизни, и за позорную смерть его у древлян рано или поздно должна была также последовать суровая месть.

---

[2] Так называли армяне русских.

# ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА



## Русская мысль

## «ЖУРНАЛ ВОЛЕВОЙ ИДЕИ»

*Вся жизнь крупнейшего русского философа Ивана Александровича Ильина (1883—1954), наследие которого возвращается нашему читателю одним из последних и далеко не в том объеме, в котором следовало бы, была отдана духовному и государственному возрождению России. В 1922 году его, тогда еще преподавателя юридического факультета Московского университета, в шестой раз арестовывают, приговорив к смертной казни, замененной вечной высылкой из страны.*

*На одном из «философских» пароходов И. А. Ильина отправили в Германию, где он жил и работал вплоть до 1938 года. Там он и приступил к изданию «Русского колокола», по его определению, «журнала волевой идеи». Всего с 1927 по 1930 год было выпущено 9 номеров.*

*«Русский колокол», — писал в первом номере Иван Александрович, — есть журнал национальной и патриотической идеи. Его цель — служение самобытной и великой России. Его задача — глубокое и всестороннее обновление духа в русском образованном слое, укрепление русского самосознания и отбор качественных сил. Мы исповедуем родину как священное начало... Мы верим в величие новой, грядущей России; ею занята наша мысль; ей отдана наша воля. Мы крепко верим в государственную одаренность русского народа и знаем, что Россия восстановится на путях религиозного очищения и самобытного творчества. Мы не связаны ни с какими партиями и организациями. Но мы ищем и зовем единомышленников по всему свету. Мы ждем идейного и волевого отклика живой души, умеющей ставить Россию выше всего. Да поможет нам Господь!»*

*Такие же идеи исповедовали и другие авторы журнала «Русский колокол». И конечно же не случайно многие статьи этого журнала посвящены Русской Армии — краеугольному камню Державы. Полагаем, что отобранные для публикации статьи (и занимавшегося геополитическими проблемами В. Никольского, и известного царского и белогвардейского генерала П. Краснова) окажутся небесполезными не только для наших воинов, независимо от их звания и должности, но и для всех, кому дорога наша Родина, ее территориальная целостность, спокойствие населяющих ее народов.*

\+\+\+

Генерал П. КРАСНОВ

# АРМИЯ[1]

СУЩЕСТВУЕТ мнение — в наше время оно стало очень распространенным, — будто после великой войны, когда «народы устали», достаточно собрать молодых людей (мужчин или женщин, все равно), дать им оружие, обучить их, как им владеть, — и армия готова...

В наши дни военная техника стапа весьма совершенна. Изобретено множество машин для истребления людей: пулеметы, дапьнобойные тяжелые пушки, аэропланы, газы, танки... Но (хотя это и кажется неправдоподобным) научить солдата владеть сложными современными орудиями войны — легче и скорее, чем грошовым орудием далекой старины.

Это не парадокс. Пулемет состоит из сотни мелких частей, гаек, винтов, пружин и колец, а шашка — из рукоятки, клинка и ножен. Но управлять пулеметом легче, чем рубить шашкой. Чтобы хорошо рубить, горцы и казаки с детства обучаются этому искусству: рубить лозу, глину, солому; рубить по водяной струе — по воде, так, чтобы она не давала всплесков; по бараньей туше, по свободно подвешенному арбузу... И точно так же — научиться управлять мудреным танком или броневиком легче, чем научиться ездить верхом на самой немудреной лошади.

Машина упростила и облегчила участие в войне. Отсюда соблазн — сократить сроки службы. Отсюда соблезн — учить сопдата, но не воспитывать его...

Армию называют великой молчальницей — «La grande muette». Ибо армия есть только покорное орудие в руках правительства, слепо и безоговорочно исполняющее все его предписания. Но эта великая молчальница говорит самым громовым голосом — голосом пушек и пулеметов; самым страшным языком — языком смерти. Она убеждает самым жестоким способом — способом крови.

Как же высоко должно быть воспитание Армии, из каких рыцарственных элементов она должна состоять — для того, чтобы иметь право переступать через кровь; для того, чтобы быть готовой отдать все — покой и уют, семейное счастье, силы, здоровье и самую жизнь во имя Родины, во имя ее спасения и блага.

Армия должна защищать Родину от врагов, от всяких врагов — «внешних и внутренних». Она допжна отстаивать неприкосновенность границ государства, обеспечивать в стране мирную жизнь, оборонять Родину от порабощения извне и от унижения и разорения внутри. Если минувшая война была сурова — если она поставила под удар миллионы людей, никогда не готовившихся к войне, то грядущая война (а она придет, рано или поздно!) будет еще более жестока...

Сильно развившаяся военная техника дает неприятепю возможность перенести войну за войсковой фронт — глубоко в тыл, через «позицию», устроенную армией. Соблазн поколебать умы, вызвать у враждебного народа «пораженческую психологию» и тем принудить его к сдаче вызовет попытки разрушить жизненные, питающие армию центры. Дальнобойные пушки будут направлены на города с мирным населением. Аэропланы будут сбрасывать бомбы с удушливыми газами и микробами, будут стремиться достигнуть центров управления страной — столиц, промышленных и фабричных районов, чтобы внести панику среди служащих, разрушить чиновничий, бюрократический аппарат страны, прекратить работу заводов, разогнать рабочих. Специальные армии агитаторов и пропвгандистов заблаговременно направятся в тыл, чтобы сеять смуту. Забастовки, рабочие беспорядки, митинги протеста против войны, поражеическая литература — все это будет мутить и отревлять внутреннюю жизнь страны.

«Внутренний враг» не всегда различаем, плохо осязаем, трудно уловим. Он искусно прячется в лукавых сердцах... Он соблазняет ложными посулами. Бороться с ним тогда, когда он уже развернул флаги мятежа и вышел на улицу, — поздно. Жертвы в столкновениях вызывают жалость и смутное сочувствие к бунтовщикам, и не ослабляют, но разжигают и расширяют мятежное движение... Поэтому Армия должна уметь предупреждать эти болезненные вспышки: она должна иметь такое влияние иа народ, чтобы одна мысль о существовании Армии не допускала в душах и желания беспорядков.

И вот во время войны Армия будет защищать страну свою грудью от вторжения врагов; она близко подойдет к гражданскому населению, и от ее поведения и настроения, от ее духа будет зависеть успех или неуспех, победа или поражение.

А в мирные годы, не угрожаемые внешним врагом, на Армию ляжет тяжелый и ответственный труд такого воспитания народа, чтобы никакие беспорядки, никакие погромы не были возможны. Это будет делом не только Армии, но прежде всего Армии как живого средоточия волевой дисциппины...

Может ли Армия, при таком своем назначении, быть только толпой, обученной владеть орудиями войны? Может ли она представлять из себя только вооруженную массу, не объединенную общими, великими, религиозными и государственными идеями!

Чем лучше будет вооружена такая толпа и чем она лучше будет владеть своим оружием, тем опаснее она будет дпя самого государства. Не воспитанная заранее в духе самоотречения и жертвы, в пору войны, ее опасностей и страхов, она дрогнет перед врагом. В ней встанет свое, личное. Она до ужаса осознает силу военного оружия — не своего для неприятеля, а неприятельского для себя, — и побежит, все разрушая на своем пути. В пору мирной жизни не воспитанная в духе дисциплины и повиновения, она забудет свое призвание к «великому молчанию» и, отдаваясь различным течениям, сама внесет в государство кровавый бунт — военный мятеж...

Армия есть как бы лицо государства. Армия есть то открытое, по чему соседи судят о его силе, мощи и значении. Воспитана Армия, дисциплинированна, отлично вооружена, хорошо одеты ее солдаты, сыты, здоровы и сильны — и сдержаннее язык ее соседей, скромнее их притязания.

Армия есть школа для народа. Не только потому, что через ее ряды при всеобщей воинской повинности проходит почти все мужское население нации и учится в ней долгу, мужеству и патриотизму, но еще и потому, что Армия проникает во все слои общества и по ее поведению на маневрах, ученьях, смотрах, по виду ее офицеров и солдат, по их поступкам, по их разговорам все судят о духовной силе своего государства, все учатся уважать и любить свое отечество.

Но Армия — не вооруженный народ, и вооруженный народ — не Армия. Нельзя воспитать весь народ, как Армию, но надо выделить из народа некоторую часть его, сделать из этой части офицеров, унтер-офицеров и кадровый состав, и сказать про них — это Армия! И все, что вольется в нее, должно быть во всем им подобно.

Эта кадровая Армия должна блюсти и разуметь религиозный смысп своего бытия; она должна быть Армией христианской, христолюбивым воинством, ибо только заповедью Христовой — возлюбить ближнего своего так, чтобы положить за него свою душу, могут быть обоснованы и приятие оружия, и своя и чужая кровь, и муки ранения, и самая смерть.

«Воины благочестивые, славою и честию венчанные!»

Эта Армия должна быть патриотичной. Она должна любить Родину, не критикуя ее; она должна уметь ценить ее прошлое, понимать и прощать недостатки этого прошлого и любить величие, красоту и славу своих предков.

«Горжусь, что я — Русский!»

Армия должна быть духовно скромна, нестяжательна, гостеприимна, добра, готова на всякий прекрасный порыв и на великую жертву.

Армия — рыцарский орден! И народу своему она несет защиту и помощь, а не обиду и утеснение.

«Обывателя не обижай — он нас кормит и поит. Солдат не разбойник».

В своей внутренней жизни Армия должна быть дружна. Ее члены — братья. Не равные, не товарищи, но братья. Ни подкопов друг под друга, ни интриг, ни подсиживания, ни карьеризма, ни сплетен, ни наушничания, ни подлизывания к старшим, ни амикошонства — в Армии быть не допжно.

«Зри в части семью. В начальнике — отца, в товарищах — братьев». «Нога ногу подкрепляет, рука руку усиляет». «Чудо-богатыри! Бог вас водит — Он вам генерал».

Этими заветами Суворова должна жить и дышать Армия.

Всегда и везде она должна быть образцом воинского долга и самопожертвования. Может ли быть воинский чин — офицер или солдат — пьян? Может ли он непристойно вести себя? — грабить, насильничать, брать «подарки от благодарного населения», высказывать панические взгляды, поддаваться пораженческому настроению, критиковать свое начальство и свой полк?

«Наш попк», его Знамя, его прошлое, его традиции — святыня для солдата!

В Армию должны идти не только физически наиболее крепкие люди, но и самые сильные духовно, с воспитанною, твердою волею. Принадлежностью к Армии надо гордиться. И весь народ должен любить свою Армию и отдавать ей все лучшее. Семья должна отдать в Армию лучшего ребенка; коннозаводчик — лучшую лошадь; фабрикант — лучшее изделие; заводчик — лучшую машину; рабочий — самую тщательную свою работу.

Еспи я в Армии — то я горжусь и я счастлив тем, что я в Армии, что я солдат.

«Мы — Русские солдаты!»

Если же мне не дана эта высокая честь, то я горжусь тем, что у меня, в моей Родине, в моей России — такая прекрасная Армия. Я снимаю шапку перед ее знаменами. Я с уважением смотрю на своего отца, на своего брата, на своего сына в его военном мундире. Он — рыцарь! Он — лицо нашего народа. По нему судят и обо мне.

В прошлом и Армия грешила против всего этого, и мы грешили против нее. Особенно те, кто называется «обществом». Разве не было в русском обществе, как в сказке про Иванушку-дурачка: «У старинушки три сына. Старший — умный был детина...» — и пошел в институт инженеров путей сообщения или на юридический факультет университета (карьера!..



[1] «Русский колокол», 1928, № 3.

инженер!.. адвокат!.. любовь женщин... деньги... слава...).

— «Средний был и так и сяк...» — и пошел на физико-математический или естественный факультет (семья... профессура... учитель... «Хоть денег и не много, зато хорошая репутация в обществе...»).

— «Младший вовсе был дурак...» — и пошел в юнкерское училище (нищета... казарменная вонь... солдаты... «Мы свою дочь не можем за него отдать — он офицер в полку...»).

Тяжело было Русской Армии. Она была изолирована. Но она держалась — Троном. Неизменною, традиционною любовью, милостями и трогательным вниманием Российских Государей к Армии. Мы же, общество, мы если и подходили к Армии, то или с снисходительной насмешкой («Полковник Скалозуб, прикажете принять?»), или с сентиментальным и любопытствующим сочувствием (капитан Тушин, Максим Максимыч, купринский Ромашов).

Строя великую, могущественную, славную, честную, христианскую и православную Россию, мы должны ответственно и заботливо подойти не только к вооружению и обучению ее Армии, но и к отбору в эту Армию всего лучшего, всего благородного, прекрасного в полном значении этого слова; и, далее, к воспитанию действительно христолюбивого, победоносного Российского Воинства. Так, чтобы с Русскою Армией всегда был «Бог крепок, Властитель, Начальник мира». Ибо этот необходимый России мир, мир прочный, и внешний, и внутренний, даст ей только такая Армия, которая будет покорна сему великому «Начальнику мира»: Он — «Бог крепок! Чудек Советник — миру его несть предела!..».

Таковы заветы Суворова. Они указуют нам путь.

---

Б. НИКОЛЬСКИЙ

# ВОЙНЫ РОССИИ [1]

Русский народ миролюбив. В этом не приходится убеждать того, кто хоть сколько-нибудь знаком с внутренним, духовным обликом среднего русского человека. В этом убеждает всякого и прошлое русского народа, не знающее ни рыцарства, ни ландскнехтов, ни кондотьеров, водивших наемные войска на всевозможные приключения. Русскому народу всегда было чуждо римское «горе побежденным!». О «русском буйстве» не было слышно даже на заре истории.

И все-таки, несмотря на природное миролюбие, русскому народу пришлось воевать без конца. С 1055 года по 1462 Соловьев насчитывает 245 известий о нашествиях на Русь и внешних столкновениях, причем 200 из них приходятся на 1240—1462 гг., что дает в среднем по одному почти не каждый год. В дальнейшем — «с XIV века, с которого можно считать возрождение русского государства, — говорит знаток русской военной истории ген. Н. Н. Сухотин [2] — и до наших дней, в течение 525 лет Россия провела в войнах 305 лет, а считая войну на Кавказе — 329 лет, то есть почти две трети своей жизни.

Бесчетны русские жертвы на полях сражений. Столетиями лились потоки русской крови.— Почему? Зачем? Что куплено такою дорогою ценой?

До середины XVIII века, пока Россия не вмешивалась в дела Европы, все русские войны носили характер защиты собственных интересов, разумно и бережно охраняемых. Войн «династических», «религиозных» или просто от избытка воинственного пыла и стремления господствовать над соседями Россия не знала. Со времени нашествия татар и до Петра Великого России приходилось к тому же думать только об обороне, сопряженной иногда с отступлением, иногда же наступательной. Того требовала историческая обстановка, весьма неблагоприятно складывавшаяся для русского племени.

Запоздав с появлением на исторической сцене, вынужденные двигаться на северо-восток с «общеславянского гнезда», каковым явились первоначально Карпаты, славяне, образовавшие русское государство, зацепились за «великий водный путь из варяг в греки» (Финский залив, Нева, Ладожское озеро, Волхов, озеро Ильмень, Ловать и через волок в Днепр). Этим водным путем, который давал средства и исход для их хозяйственной работы и служил источником торговых выгод и культуры, — определилось основное, северо-южное направление в развитии русской государственной жизни. Водная линия Нева — Днепр стала осью русской истории. Но, на беду, количественный недостаток живой силы у русских славян во времена первоначального расселения помешал им сразу и целиком овладеть этим ценнейшим из всех природных достояний, выпавших на нашу долю. Устья рек (Невы, Западной Двины и Днепра) остались во вражеских руках. Отсюда основное и главное историческое задание, поставленное с первых же дней существования русскому государству: овладеть выходами в северное и южное море. Отсюда самые важные «вопросы», поставленные России историей: Прибалтийский и Южный («проливы»).

Следующим по времени возникновения явился вопрос польский, а затем литовский. Уже с конца X века пограничные столкновения постепенно принимают характер натиска со стороны Польши, в лице которой латинский мир поднимает упорную борьбу с Православием. «Польский» и «литовский» вопросы оказываются навязанными историей русскому народу не только как политические, но и как отголосок европейских религиозных столкновений, совершенно чуждых ищущему покоя Православию. Вопросы эти становятся обостренными, роковыми для независимого бытия русского государства с самого времени татарского нашествия. Последнее раскололо единое до тех пор русское племя, отдав западный его отсек во власть наступающей Польши и Литвы; оно создало тех, про кого Екатерина II, почти завершившая дело собирания русских славян, сказала: «отторгнутые возвратих».

«Татарский вопрос», возникший в XIII веке, оказался несомненно первым и самым важным по грозности. Трудно сомневаться в том, что спор России с Польшей и Литвой окончился бы совершенно иначе, если бы Русь осталась татарским «улусом». Отторгнутые (и сколькие!) оказались бы в таком случае навеки потерянными. Но Россия преодолела татарщину. И борьба с ней, по мере ее вековых успехов, вовлекала Россию в наступление на юго-восток (Персидское направление) и на Дальний Восток; она привела ее к Памиру и Тихому океану. Точно пружина, долго сжимавшаяся натиском Азии, выпрямилась — после взятия в 1552 г. Казани. Россия, распространившись на 10 000 верст, оказалась поставленною перед новыми сложнейшими задачами: они выросли из оборонительного поначалу наступления, вышедшего далеко за пределы тех граней, какие до сих пор еще определяют великодержавное значение России по северо-южной основной исторической линии «из варяг в греки».

Важность этого последнего направления, гениально оцененная Петром Великим, выдвинула в императорский период на первое место задачу овладения южно-морским выходом. Так возник сначала вопрос турецкий, ставший впоследствии в глазах Европы восточным, а с русской точки зрения вопросом о проливах.

Итак, из всех заданий, или «вопросов», которые России пришлось разрешать на протяжении тысячелетней своей истории, только Балтийский и южно-морской были поставлены самим русским народом; они остаются и поныне основной предпосылкой удовлетворения самых жизненных его потребностей. Все остальные в той или иной степени вытекали из обстановки, созданной помимо воли русского народа и в значительной мере в связи с невозможностью разрешить удовлетворительно ту задачу, которую он сам себе поставил. Над этим полезно задуматься тем, кто забывает, что народ, сумевший вырасти в самых тяжелых условиях до численности русского, не может быть произвольно теснимым, без того, чтобы не нашла какого-либо выхода его неизбежная энергия. Азия (половцы, потом татарщина) оттеснила было Русь с «великого водного пути...» И Россия пришла на Тихий океан! Европа, преградившая затем путь к Прибалтике и проливам, уже довела Россию до Памира... А тем временем на месте 12 миллионов населения, с каким начинала свой путь Российская империя при Петре, даже за советской колючей проволокой осталось 150 миллионов, среди которых около 100 миллионов самых настоящих, бесспорных русских, тех, усилиями которых творилась главным образом славная Российская империя.

Все эти усилия отнюдь не питали войн. Наоборот. Задолго до появления на свете Лиги Наций русская государственная власть знала и применяла те способы (разумеется, внешне отличные от применяемых в XX веке), которые ныне считаются действенными в Женеве. Россия, как уже указывалось, до самого XVIII века оборонялась. И обороняясь, она старалась прежде всего заставить время работать в своих интересах. Она стремилась отдалить столкновения, если не вовсе устранить кровопролитие. На это указывает Соловьев, по подсчетам которого из 200 войн, с 1224 по 1462 год, только 61 отмечена известиями о сражениях, остальные же свелись к угрозам передвижениями войск. Так было при великих князьях. Не менее осторожно обращалась с войной царская и императорская власть. За редкими исключениями, известными в позднейшее время, Россия не шла на войну опрометчиво, с легким сердцем. Хотя бы уже потому, что давно обозначившееся превосходство европейской техники над русскими ополчениями являлось постоянно веским предостережением. (Особенно сильно это неравенство вооружений сказалось в борьбе Иоанна Грозного с Баторием, но оно чувствовалось всегда и позже — до наших дней: пример — Нарва, первое поражение Петра, Севастополь и т. д.).

Бережное и ответственное отношение русской государственной власти к объявлению войны постоянно отмечает Ключевский (достаточно вспомнить вопрос о Ливонском походе при Иоанне Грозном; вопрос о войне с Польшей из-за присоединения Малороссии по просьбе Богдана Хмельницкого при Алексее Михайловиче; уступки императора Николая I в переговорах перед Крымской войной; долгие колебания императора Александра II перед объявлением войны Турции из-за славян и

[1] «Русский колокол». 1928. № 3.

[2] «Война в истории русского мира». СПб., 1894.

другое). И если не считать злополучной японской войны, то лишь те немногие войны, в которые Россия была втянута различными европейскими коалициями и комбинациями после 1756 года, могут вызвать сомнение в смысле их неизбежности и соответствия русским жизненным интересам. Во всех остальных случаях русское оружие служило или непосредственно для самозащиты, или для закрепления таких государственных граней, которые отвечали жизненным нуждам великой страны и обеспечивали безопасность для мирного и производительного труда населения.

Из 537 лет, прошедших со времени Куликовской битвы до Брест-Литовска, Россия провела в войнах 334 года. Войны эти распределяются следующим образом, по главнейшим направлениям и воюющим странам: [3]

| Запад | Войн | Лет войны |
|---|---|---|
| Швеция | 8 | 81 |
| Польша | 10 | 64 |
| Литва | 5 | 55 |
| Ливония | 3 | 55 |
| Франция | 4 | 10 |
| Германия | 1 | 3 |
| Пруссия | 2 | 8 |
| Италия | 2 | 4 |
| Австрия | 1 | 1 |
| Венгрия | 1 | 1 |
| Австро-Венгрия | 1 | 3 |
| Англия | 1 | 3 |
| **Юг** | **Войн** | **Лет войны** |
| Турция | 12 | 48 |
| Крым | 8 | 37 |
| Кавказ | 2 | 66 |
| Персия | 4 | 28 |
| **Восток** | **Войн** | **Лет войны** |
| Монголы | ? | 130 |
| Сибирь | 1 | 35 |
| Амур | 1 | 1 |
| Кульджа | 1 | 1 |
| Хива | 4 | 6 |
| Бухара | 1 | 5 |
| Коканд | 3 | 15 |
| Теке | 1 | 3 |
| Афганистан | 1 | 1 |
| Япония | 1 | 2 |

Первый вывод, который напрашивается из приведенной таблицы [4], тот, что нашим главным врагом, натиск и преодоление которого потребовали наибольшего напряжения, были азиатские кочевники. Монгольский погром (1240) явился самым тяжелым ударом, какой пришлось когда-либо вынести России, еще не успевшей утвердить своей государственности. Но если страшен был этот удар, то велики были и силы, собранные русским народом для преодоления татарщины. 130 лет войны после Куликовской битвы на востоке да 37 лет войны с Крымом (не считая отражения отдельных татарских набегов после 1240 года и половецких набегов до того) — такова совокупность неимоверных усилий, приложенных русским народом на протяжении пяти с лишним столетий, чтобы не дать России стать улусом.

За татарами на первом месте по напряженности и продолжительности борьбы идет Швеция. Правда, по степени опасности ее нельзя сравнить с татарами. Но нельзя и преуменьшать значение этого упорного и прекрасно подготовленного к войне врага, стремившегося отбросить Россию от Балтийского моря. Помимо упорства, проявленного Швецией (добившейся захвата Новгорода в Смутное время), она и по численности населения почти равнялась петровской России (около 12 миллионов). Потребовалась гениальная настойчивость Петра Великого, чтобы решительными победами в 20-летней войне окончательно разбить шведский натиск. Полтавская победа (1709), одержанная Петром в неблагоприятных и очень опасных условиях, решила в пользу России многовековой спор, в котором Швеция, будучи зачинщицей, стремилась к верховодству в северной Европе, а Россия билась за выход к морю и за возврат отнятых Швецией русских земель. Почти 5 веков (1240—1721) потребовалось для того, чтобы отстоять эти законнейшие и жизненные требования.

Не менее упорной и грозной была борьба с Польшей и Литвой, растянувшаяся почти на 7 веков от первого столкновения с «ляхами» при Владимире Святом (981) до 1667 года, когда Алексеем Михайловичем был нанесен Польше такой же решительный удар, как Швеции при Полтаве. Особенно яростно наседали наши западные соседи (Польша, Литва и Ливония) в конце XVI века, как раз в то время, когда Россия собралась с силами для перехода в наступление на востоке против Казани. Тем не менее Иоанн Грозный, справившись наконец с Казанью, начал свою знаменитую Ливонскую войну и одержал было несколько успехов. Но вмешательство Польши (Стефан Баторий) не только свело их на нет, но причинило России и очень чувствительные поражения, причем России пришлось вскоре вести 20-летнюю войну против союза западных государств, по временам поддерживаемого набегами диких крымцев. Напор с запада был столь сильным, что в начале XVII века, в Смутное время, Россия снова оказалась в столь же трудном положении, как и во время монгольского нашествия. Русское государство было на краю гибели, а вековой враг в Москве. Однако, как только удалось изжить смуту, натиску Польши был положен конец (1667) и в императорский период войны велись уже не с Польшей, а в Польше.

Войны в южном направлении уступают по своей длительности многовековой и тяжелой обороне на западе и на востоке. И все же это направление бесспорно является главным. Ибо здесь Россия не оборонялась, а наступала, пробивая себе дорогу к южному морю. Заслуживает при этом особого внимания то, что с самых первых походов варяжских князей и до нашего времени наступление на юг, надолго прерывавшееся самообороной, ведется по тем же операционным линиям. Эти основные направления: морской путь от Днепра и от крымского участка побережья (походы 860 г., 907, 941 и 988 г. на Византию); путь через долину Дуная и Болгарию (походы 967—972, 1116 г.); путь в промежуток между Черным и Каспийским морями (походы Святослава, Владимира и др. на Тмутаракань); и, наконец, сочетание этих путей в пользовании ими одновременно (944, 1043 г.).

Продвижение к благодатному югу, стоившее России в новейшее время 18 войн, общей продолжительностью в 142 года, далось очень нелегко. Но за все это время, с первых Азовских походов Петра (1695—1696) до взятия Эрзерума в 1916 г., Россия потерпела на этом длинном пути только два поражения: на Пруте (1711) и в Крымскую кампанию, когда война велась не с Турцией только, а со всей Европой. Три раза заветная цель уже казалась достигнутой: при Екатерине II суворовские победы поставили на очередь «греческий проект», то есть овладение Константинополем; затем при Николае I удачная война 1829 г. и крупная победа русской дипломатии в 1833 г. (договор Ункяр Искелесси) сделали Россию, в качестве союзницы и покровительницы Турции, хозяйкой над проливами. И, наконец, в 1878 г. русские войска стояли в Сан-Стефано, в виду Константинополя. Европейские дипломаты сделали, однако, все, чтобы отложить успешное завершение этого национально-исторического русского дела. И все же в 1915 году удалось добиться от главных противниц появления России в южных водах — Англии и Франции — признания ее прав на проливы (Лондонский договор). «Мир без аннексий и контрибуций» не только разрушил это уже подготовленное торжество вековых стремлений русского народа на юг, но еще (без малейших оснований) отдал во власть побежденной Турции залитый русскою кровью Карс. Вопрос о южно-морском выходе для России и ее вывоза остается, таким образом, и доселе неразрешенным.

Те войны России, которые велись из-за европейских дел и стоили ей огромных жертв, являются самыми безрезультатными, несмотря на блестящие успехи русского оружия, неизменно их сопровождавшие. В 1756—1760 гг. впервые европейской дипломатии (Австрии) удалось втянуть Россию в семилетнюю войну за «австрийское наследство».

Но все результаты побед (даже над самим Фридрихом Великим) были добровольно уничтожены Петром III, ставшим на другую (прусскую) точку зрения в указанном вопросе. Точно так же одну только славу принесли русским орлам блистательные суворовские походы 1798—1799 гг., когда Россия бескорыстно пошла на интервенцию против революционной Франции [5] и затем вышла из коалиции, убедившись в корыстных замыслах Англии и Австрии. Тяжелая борьба с Наполеоном (1805—1806; 1812—1814), снова во имя «освобождения Европы от тирана» (предупредительно предлагавшего России раздел областей влияния), может быть с русской точки зрения оправдана разве лишь тем, что без нее Наполеон окреп бы так, что и России пришлось бы подчиниться его воле. Непосредственную же пользу от наполеоновских войн извлекла Англия. Попутно в Тильзите Александр I спас Пруссию, которую Наполеон хотел уничтожить, а в 1814 году в Париже Францию от неумеренных требований Пруссии и союзников. Позднее, в 1849 году, Николай I спас Австрию от развала. И за все это Европа «отблагодарила» в Крымскую кампанию: когда Австрия помешала развитию русских военных действий на Дунае, «удивив мир неблагодарностью»: Франция, в лице Наполеона III, мстила за Наполеона I, а вся коалиция открыто или тайно спасала Турцию, против которой Россия шла как освободительница угнетаемых на Балканах христиан.

Тем не менее эту последнюю свою историческую миссию Россия блестяще выполнила, вопреки вооруженному сопротивлению турок и дипломатическому препятствованию Европы.

Еще Адрианопольский мир (1829) закрепил независимость Греции и автономию княжеств Молдавии, Валахии и Сербии. Освободительная война 1877—1878 гг. довершила то, чему России помешали в 1854—1855 гг.; она обеспечила независимость Сербии и Болгарии. Наконец, в 1914 году, когда над Сербией повисла новая и тяжкая угроза, Россия обрекла себя на мировую войну, которой она не хотела и не искала, к которой она не была готова и которая ей, по ее внутреннему состоянию, в то время была абсолютно не нужна и вредна.

В итоге — малые славянские народы раскрепощены и возрождаются, а великая славянская страна — лоно и опора славянства в мире — выбыла из строя и стала жертвою и орудием чужеродных и гибельных сил...

Войны великого народа вытекают из его органических нужд и потребностей: отдельные правители могут, конечно, делать ошибки, но в общем ходе истории их произвол не имеет ни последнего, ни решающего значения. России, как великой стране, предуказаны ее исторические пути, задания и опасности, и под их давлением слагались и будут впредь слагаться ее войны. А правителям надлежит только мудро блюсти соразмерность сил и сроков.

**Публикация Ю. ЛИСИЦЫ.**

[3] Общий итог военных лет по этой таблице составляет 666, то есть почти вдвое более приведенной выше цифры (334). Объясняется это тем, что за указанное время России пришлось вести 134 года войны против различных союзов и коалиций, одновременно с несколькими врагами (в том числе одну войну сразу против 9 врагов, 2 — против 5, 25 — против 3 и 37 войн против 2-х).

[4] Она взята из упомянутой уже книги И. Н. Сухотина, появившейся в 1894 г. (стр. 32 и 33), которая использована в дальнейшем.

[5] Правительственная декларация определяла цели войны так: «освободить Францию сохранить ее неприкосновенно в том положении, в каком она была до революции...» Весьма интересная формулировка задач русской интервенции!

# ДНЕВНИК СОВРЕМЕННИКА



АЛЕКСАНДР КАЗИНЦЕВ

## НАШИ — ЧУЖИЕ

### ЗЛОБОДНЕВНЫЕ ЗАМЕТКИ ОБ ИЗВЕЧНОМ ПРОТИВОСТОЯНИИ

В начале 1991 года пропал человек. Его не похитили и не убили. Хотя без выстрелов не обошлось — стреляли дважды: в Ленинграде и под Ригой. Догадались? Я говорю об Александре Невзорове.

Самый популярный советский тележурналист исчез из списков непременных демократов — этих новейших «разрядных книг» радикальной интеллигенции. По-прежнему актуально горькое замечание Б. Пастернака: «Кому быть живым и хвалимым, кто должен быть мертв и хулим,— известно у нас подхалимам...» Разве что подхалимы новые — «демократические».

Еще недавно можно было не смотреть телевизор и все равно ощущать присутствие Невзорова в общественной жизни (у меня, например, телевизора нет, но не проходило недели, чтобы я не прочел о журналисте в газетах, не услышал о нем в разговоре с коллегами). А тут как ветром сдуло. И каким ветром! Это был настоящий ураган поношений, оскорблений, тотальное идеологическое уничтожение.

Шквал обвинений — и тишина. Нет, Невзоров не ушел с телевидения, несмотря на попытки изнутри развалить его группу. Его передачи по-прежнему популярны. Но по-иному, беззвучно как бы. Выяснилось: популярность — этот фетиш современного общества, этот ослепительный монолит, сработанный из цельного куска беспримесной славы,— бывает разной. Молчаливо хранимой в сердце аудитории и громогласно провозглашенной с бумажных небес миллионнотиражных изданий, на каждом перекрестке услужливо повторенной эхом молвы.

Поучительное открытие. Впрочем, история с Невзоровым и задумывалась прессой для того, чтобы поучить и проучить. Продемонстрировать, как по мановению режиссерской руки рушится казавшееся незыблемым реноме. И показать — почему рушится, накрепко вбить в головы, вскруженные славой, чего делать нельзя.

Вина Невзорова, с точки зрения советской прессы, ужасна — он посмел публично защитить *наших*. Надо было обличать, надо было в уши трубить о рабской и агрессивной одновременно (в общем реве нюансов не разбирают) русской душе. Воспользоваться случаем в Вильнюсе, как до этого трагедией в Тбилиси, и даже — с безумной неправотой, цинично попирая кровь жертв погромщиков,— событиями в Баку, Фергане, Оше. Тогда все средства массовой информации (несколько патриотических изданий с их невеликими тиражами не в счет) действовали заодно. Теперь, по вине Невзорова, произошел сбой.

Кто еще, кроме тележурналиста, стал антигероем газетно-журнальных рубрик? Народные депутаты Алкснис, Петрушенко, Коган.

А смотрите, как славно бы все складывалось, если б депутаты вели себя *правильно*. Представьте — латыш Алкснис выступает за независимую Латвию. Возглавляет работу по созданию национальной армии. Какую репутацию создала бы ему союзная пресса? Рыцаря без страха и упрека! Нас бы завалили статьями о его начитанности, остроумии, человеческом обаянии — и это не считая мужества, суровой непреклонности и прочих неотъемлемых достоинств северного воина. Как бы подали Петрушенко, заяви он себя сторонником жовтоблакитного стяга самостийной Украины! О Когане и говорить нечего ...если бы не защищал «русскоязычное» население Эстонии, а ограничился подписью под прошлогодним манифестом о «возросшей угрозе антисемитизма».

Можно и должно защищать интересы евреев, латышей, даже украинцев (даром, что славяне, но сегодня есть шанс и их использовать). Запрещается защита *наших*, русских. Этим — никакой пощады. А заодно их защитникам.

Но если *наши* — для вас враги, то *чьи* вы сами, дорогие коллеги? Такой вопрос я задал журналистам во время телепередачи, посвященной Литве (к сожалению, при монтаже этот эпизод выпал). Один из участников посмотрел на меня с каким-то особым выражением. С изумлением (догадался!) и сожалением (что ж, теперь тебе же будет хуже...) тихо — не для микрофона, — но явственно произнес: *чужие*.

*Наши — чужие*. Извечное противостояние. Нам заморочили голову модными оппозициями: правые — левые (кого сегодня числить справа и слева?), консерваторы — демократы и так далее, до бесконечности. Нас заставили забыть: все решается в том, извечном противоборстве.

Спасибо Невзорову, он нашел одно из двух ключевых слов. Надо внятно произнести и другое. Задуматься о нашем отношении к *чужим*. И об их отношении к *нам*.

Наше отношение... Не хватит слов для передачи всех его оттенков. Восторг, доверчивость, виноватость, самоуничижение. Перед *чужими* любого рода и оттенка. Перед Любимовым и Беллой Курковой, перед Шеварднадзе и многочисленными Яковлевыми, перед литовцами и грузинами (тут восторг настолько велик, что даже геноцид в Южной Осетии не встречает никакого осуждения).

Ну и конечно общество благоговейно взирает за рубеж, на Запад — цитадель гуманности, благосостояния и прочих бесчисленных даров *чужой* цивилизации[1].

Русские по природе своей доверчивы и доброжелательны. Добавьте к этому неустанные усилия пропаганды, внушающей не только любовь к *чужим*, но и чувство коллективной вины перед ними.

С трибун и с телеэкранов в русские головы вбивают: агрессоры — *наши*. Всегда и везде. В Прибалтике. В Польше. Кажется, вот-вот скажут, что и в Германии. Во всяком случае в советской прессе множатся публикации о варварстве наших войск, разрушивших королевский шедевр Кенигсберг.

Вопиющая историческая безграмотность облегчает дело. Газетчики уверены: никто не спросит — разве по нашей вине началась война, закончившаяся на руинах Берлина и Кенигсберга. Тем более никто не вспомнит о перипетиях тысячелетних отношений России с ее соседями.

В общественном сознании маячат фигуры русских десантников у Вильнюсской телебашни, но вымарана, уничтожена память о «десантниках» Ольгерда, бесновавшихся вокруг осажденного Кремля. Им так и не удалось взойти на его высокие стены, в отместку они спалили посад, разорили подмосковные деревни, угнали в Литву бесчисленный «полон»! Пресса во весь голос кричит о злодеянии в Катыни, совершенном не вчера, а полстолетия назад. Но если журналисты возлюбили историю, почему не вспомнят о «смутном времени», о разоренной Москве, о сердце православия — монастыре Святой Троицы, сжатом в тисках польской осады, о *русских* вдовах и сиротах![2]

То и дело читаешь: чтобы жить в мире с соседями, нам надо повиниться. О, русские, как заметил А. Солженицын, щедро наделены даром раскаяния. Но и другим народам есть в чем каяться перед нами. Нам внушают чувство коллективной вины. А следом — иллюзию коллективной безопасности. Если сами не полезем, кто же нас тронет — чуть не в один голос убеждает пресса. Тот же «Огонек» покатывается со смеху: да кому же мы нужны, *нищие*. О том, что нищие, спящие на золоте, на богатейшей в мире кладовой природных ресурсов,— самая лакомая приманка, наиболее вероятная жертва любого сильнейшего... умалчивают. Уверяют: Запад всегда только и думал, как нам помочь, да мы, да эти проклятые *наши* не желали принять помощь.

Застыженное хлесткими обличениями, зачарованное сладкими посулами, общество во многом потеряло способность ориентироваться, утратило чувство самосохранения. На пороге смертельная опасность — не замечают! К тому же центральная пресса заботливо оберегает нас от нежелательной информации. Советский читатель остался в неведении о катастрофическом поражении нашей армии в ходе дипломатического сражения в Париже на совещании глав 34-х государств Европы и Америки в ноябре 1990 года.

Впрочем, сражения не получилось, мидовцы без боя уступили традиционное преимущество СССР в «обычных» вооружениях Западу. Приведу несколько контрольных цифр, взятых из газеты «International Herald Tribune» (20.11.1990). В 1988 году страны НАТО имели в Европе 22 тыс. танков, в том числе США — 5,7 тыс. Им противостояли 46 тыс. советских танков. Сейчас положение таково: 20 тыс.— 5,7 тыс.— 25 тыс. За два года число советских танков уменьшилось почти наполовину. Установленный в Париже лимит предусматривает дальнейшее *сокращение* советского арсенала — до 13,3 тыс. танков и одновременное *увеличение* американского до тех же 13,3 тыс., т. е. в *два* раза! Общее превосходство НАТО над Советским Союзом планируется в соотношении 1,5 : 1.

Та же картина по другим вооружениям. Советская артиллерия уменьшается с 45 тыс. стволов (уровень 1988 года) до 20 тыс. Американская *увеличивается* с 5,5 тыс. до 20 тыс.— почти в *четыре* раза! По вертолетам: СССР — 2,8 тыс. в 1988,— 1,5 тыс. предусматриваются лимитом. США — 700 в 1988, 1,5 тыс.— согласно лимиту. Боевые самолеты: СССР — *сокращение* с 11 тыс. до 5,1 тыс., США — *рост* с 800 до 5,1 тысячи.

Соглашение в Париже — это *капиту-*

---

[1] К сожалению, в статье нет места для детальной дифференциации конгломерата сил, объединенных своей чужеродностью по отношению к *нашим*. Практически невозможно и рассмотреть внутренние связи, проследить взаимодействие между его уровнями — подобная информация недоступна для непосвященных. Лишь изредка из мрака выступает какая-нибудь многозначительная деталь, яркий обрывок нити, ведущей в глубь клубка, вспомним хотя бы архивную фотографию американских отличников А. Яковлева и О. Калугина на ступеньках Колумбийского университета.

[2] Кстати, требуя всенародного покаяния русских за тот же катынский расстрел, пресса предпочитает умалчивать о палачах. А ведь белорусский журнал «Политический собеседник» (1991, № 1) назвал их поименно. Приказ о «ликвидации» отдан начальником управления НКВД Тартаковым, конкретные исполнители: «Лев Рыбак, Хаим Финберг, Абрам Борисович и Павел Бородинский».

ляция. Обычно подобные события вызывают взрыв народных эмоций. И уж во всяком случае становятся объектом детальнейшего обсуждения в средствах массовой информации. У нас — восторг по поводу «дипломатических успехов» в Париже и молчание о роковых последствиях в военной сфере.

Как назвать поведение советских политиков, журналистов и прочих общественных деятелей, я знаю. Но как назвать, а главное, как понять равнодушие общества, миллионов и миллионов наших к этой (и многим подобным) сделке?

Ах, понять-то можно! Инициаторы пропагандистской кампании, развязанной против наших, добились цели. Мы стыдимся своих поступков — в Прибалтике и Восточной Европе. Стыдимся участия в афганской войне и неучастия в иракской (пресса не пожалела сил, чтобы объяснить — позорен отказ русских ребят умирать за американские интересы). Стыдимся своей военной мощи. Даже высочайшая квалификация работников военных предприятий раздражает. И, разумеется, безмерно стыдимся недавно господствовавшей у нас идеологии.

Когда до России доходят несущиеся с окраин грозные крики: русские, убирайтесь домой, мы покаянно разводим руками — что делать, русские ассоциируются с Центром, а Центр, мол, виноват перед республиками. Мы думаем, что нас не любят за нашу недавнюю «агрессивность» и нынешнюю бедность, за «социалистический выбор» и прочие прегрешения. Убеждены — стоит нам покаяться, очиститься, сделаться лучше, и над растроганной Европой грянет бетховенский хор: «Обнимитесь, миллионы, слейтесь в радости единой...».

А между тем нас ненавидели всегда — в богатстве и в бедности, царскую Россию и большевистский Союз. Ненавидели, когда мы грудью заслоняли Европу от азиатских орд и когда шли в Берлин и в Париж за знаниями. Ненавидели и старались покорить. А не удастся покорить, так хотя бы обмануть.

Надо знать свою историю. Изучать ее не по советским учебникам, а по первоисточникам.

Увлекательнейшая тема: Россия глазами Запада. Благо перестроечное пятилетие одарило нас целой библиотекой книг, которые долгое время не издавались: «Записки о Московии» С. Герберштейна, «Сочинения о России» Поссевино, «Записки о России» Д. Горсея, «Россия в 1839 году» А. де Кюстина.

Первое место в этом списке по праву принадлежит книге С. Герберштейна. И по хронологическому принципу — «Записки о Московии» впервые увидели свет еще в середине XVI столетия. И по значению — книга, сразу же переведенная на основные языки Европы, открыла Московию для Запада. Более того, на столетия вперед сформировала определенный стереотип восприятия России европейцами.

Но прежде чем говорить о книге, уясним, зачем австрийский барон оказался в Москве. В немногочисленной отечественной литературе о сочинениях европейцев, побывавших у нас, вопрос о цели вояжеров, как правило, опускается. Записки всякого рода рассматриваются как зеркало, бесстрастно отразившее все встретившееся на пути. А ведь вопрос о цели едва ли не важнейший. Пусть зеркало, пусть отражение увиденного, но какое зеркало, под каким углом установленное. Не уразумев этого, мы не поймем логики отбора впечатлений и фактов, авторских пристрастий, авторской концепции России.

Путешествие Герберштейна (точнее, его приезд в Москву с дипломатической миссией в 1526 году) как событие в международной жизни Европы само по себе не менее интересно и значимо, чем его широко известные «Записки». Перипетии, связанные с этой миссией, могут показаться даже злым памфлетом, из глубины столетий обличающим манипуляции политиков сегодняшнего дня.

Герберштейн появился в Москве в составе тройного посольства. Он представлял австрийского эрцгерцога Фердинанда, его коллеги — императора священной Римской империи Карла V, происходившего, как и Фердинанд из рода Габсбургов, и папу Римского. Официальная цель визита — посредничество в переговорах Василия III с польским королем Сигизмундом. Правда, ни Польша, ни Россия о таком посредничестве не просили, да ситуация и не требовала его: долголетнее замирение без подписания договора характерно для отношений Москвы со своим западным соседом.

И вот в конфузливой паузе, сопутствующей появлению послов, расцветают цветы дипломатического красноречия, до ужаса напоминающего риторику сегодняшних международных соглашений. «...Благодаря благоприятному стечению обстоятельства, которое имеет ныне место в христианском мире и которого не было много лет до этого», посольские лисы предлагали «переговоры о союзничестве, согласии и братстве». Василию предлагалось «вместе с прочими христианскими государями присовокупить свои силы к (силам) христианского сообщества». Это знаменательное выражение, слишком похожее на нынешнее «мировое сообщество», повторялось на все лады.

Забавны и иные параллели. «Христианское сообщество», сообщали послы, только что смирило международного смутьяна XVI века, французского короля, вторгшегося было в Италию. «Цесарское величество, движимые (чувством) справедливости и правосудия, послали против него свое войско, в котором была и подмога его брата, светлейшего государя Фердинанда. Когда же тот король не пожелал отступиться от задуманного, наше войско бесстрашно напало на него и, разбив крепчайшие стены, за которыми он искал защиты, ворвалось к нему штурмом и победило в открытом бою, взяло в плен самого короля с множеством вельмож, прочих же всех перебило, и немногим из (его) войска (удалось) бежать. Так как господь даровал эту победу Цесарскому величеству ради общего блага христиан, то Его величество не сомневаются, что и Ваша светлость поздравит его и весь христианский мир».



Всеобщее благо, пример человечности, образец миролюбия — витийствовали послы. Тайные инструкции свидетельствовали о другом. Предписывалось не давать «(договаривающимся) сторонам возможности проникнуть в тайны нашей души и наших замыслов, которые следует внести в инструкцию значительно более размыто...» От послов требовали, чтобы они «не обещали ничего определенного».

Такие приготовления побуждают заподозрить в представителях «христианского сообщества» шайку разбойников. И не без основания. Тройное посольство к московскому и польскому дворам призвано было не примирить их, напротив, осложнить отношения, разжечь взаимное недоверие. Раздувая пожар на Востоке, Габсбурги стремились обеспечить свои интересы в центре Европы. Хитроумный план сводился к тому, чтобы связать Польшу нестабильностью на московской границе и таким образом лишить ее возможности оказывать влияние на положение в Чехии и Венгрии, где польские Ягеллоны и австрийские Габсбурги поддерживали противоборствующие партии. «Христианское сообщество», громогласно призывавшее устами Габсбургов к установлению всеобщего мира, готовило молниеносную агрессию против вполне католической Венгрии. Момент был удачный — страна обескровлена в борьбе с турецким войском Сулеймана Великолепного. Осталось только втянуть Ягеллонов в распри с Москвой.

Любопытно наблюдать за развитием этой интриги! Не доверяя австрийцам, поляки были все-таки польщены вниманием Европы. Сигизмунд в беседах с послами охотно обличал варварство московитов.

Как удачно были розданы роли участникам этой трагикомедии. Все получилось, как и задумывалось в Вене,— уже в следующем, 1527 году эрцгерцог Фердинанд был провозглашен чешским королем и сразу же за тем венчался венгерской короной.

Но не только этот конкретный успех я имею в виду, говоря об удачно розданных ролях. Сколько раз с тех пор Запад заставлял Польшу играть в ту же игру, стравливая ее с Россией во имя своих интересов. В XVII, XVIII, XIX веках. А почитайте только что изданную книгу одного из виднейших политиков Америки З. Бжезинского «Большой провал». Та же схема — дежурная ссылка на принадлежность Польши к западной цивилизации, стоящей якобы на более высокой ступени развития, чем русская, а потом неприкрытое натравливание на Москву.

Знакомая игра, хотя, казалось бы, историческая бездна отделяет Василия III от нынешних хозяев Кремля! Общество наивно полагает, что наши проблемы и беды родились сегодня, ну, максимум семьдесят лет назад. Полноте! Их столетиями подготавливали, бережно пестовали всякого рода мировые сообщества.

Вернемся, однако, к Герберштейну. Теперь, зная о цели его путешествия, можно обратиться к «Запискам». Что увидел в Московии человек, приехавший сюда с задачей обмануть?—«Великое лукавство и коварство». Если этого мало, в книге несложно найти и другие слова, например, «вероломство». Коварен великий князь, его царедворцы, вообще московиты.

О купцах разговор особый. «Иностранцам любую вещь они продают дороже и за то, что при других обстоятельствах можно купить за дукат, запрашивают пять, восемь, десять, иногда двадцать дукатов», — жалуется барон. Тут же добавляет: «Впрочем, и сами они в свою очередь иногда покупают у иностранцев за десять или пятнадцать флоринов редкую вещь, которая на самом деле вряд ли стоит один или два».

Обратили внимание — в первом случае сказано: продают. Русские продают иностранцам вещи втридорога. Коварно, не так ли? Во втором — стороны как будто сквитались. Нет! Русские покупают втридорога. Не иностранцев тут вина — самих московитов. В первом случае — коварны, во втором — глупы.

Один и тот же поступок оценивается по-разному в зависимости от того, кто его совершил. Русский дипломат не желает первым слезть с лошади — гордец. Барону удалось обмануть русского: сделав вид, что слезает, он в последний момент задержался, так что русский, повторивший движение Герберштейна, все-таки ступил на землю первым — блестящая уловка, демонстрирующая преимущество европейского ума. И такой двойной счет во всем.

Разумеется, при подобном отношении барону не пришлось долго раздумывать, чтобы изречь приговор России и русскому характеру. Европа, а за ней мы сами, навечно согласились с ним. Повторяют, как само собой разумеющееся, фразу о русском рабстве. А первым произнес ее Герберштейн. «Этот народ находит больше удовольствия в рабстве, чем в свободе»,— навсегда заклеймил он нас. Основание? «...По большей части господа перед смертью отпускают иных своих рабов на волю, но эти последние тотчас отдают себя за деньги в рабство другим господам».

Отпускают на волю? Вроде бы благородно? Но благородство, по твердому убеждению европейца, не пристало русскому. Барон предпочитает заметить конечную фазу: самопродажу. А кстати, много ли подобных случаев наблюдал Герберштейн во время своего пребывания в России? Наверное, не так много знатных людей умерло при нем. Несомненно, что свой глобальный вывод, отказывающий целому народу едва ли не в коренном человеческом качестве — стремлении к свободе, автор «Записок» основывает на считанных примерах.

Я намеренно опускаю социальную сторону проблемы — как бы самостоятельно прокормились бывшие дворовые, не умеющие ничего, кроме как прислуживать господину. В любой стране слуги переходят с места на место, не прельщаясь «свободными» профессиями. Но социальный аспект — предмет другого разговора. В данном случае речь о добросовестности наблюдателя.

Герберштейну для его констатации не требовалось даже двух-трех свидетельств.

Хватало одного. Со слов немецкого кузнеца, работавшего в Москве и жестоко обращавшегося с русской женой, Герберштейн заключает, что наш народ любит насилие.

Вообще европейский дипломат склонен принимать на веру любой слух, если он рисует русских с невыгодной стороны. Так, он рассказывает вымышленную историю о присоединении Серпухова к землям Василия III, охотно приписывая великому князю «безбожное злодейство». Не скрывая удовлетворения, Герберштейн пересказывает слухи об унижении князя (спасаясь от татар, тот будто бы «несколько дней прятался в стогу сена»). Автор неоднократно возвращается к этому эпизоду. Зато рассказывая о судьбоносной победе русских на Куликовом поле, ограничивается однострочным протокольным упоминанием.

Охотно принимая на веру «негатив», барон с крайней подозрительностью относится к сведениям, свидетельствующим о мощи и богатстве России. Отказывается верить русским данным о количестве домов в Москве. Пытаясь уличить окружающих во лжи, Герберштейн, не замечая того, ставит себя в комичное, нелепое положение. Например, он украдкой взвешивает в руке чашу на пиру, стараясь определить, действительно ли князь, как о том говорили, потчует гостей на золотой посуде.

Читателя XVI века, воспитанного еще в духе средневековой воинственности, автор «Записок» пичкает рассказами о трусости, якобы неизменно проявляемой русскими на поле боя. Но ведь им случалось и одерживать победы, да и вообще Россия уже и к тому времени объединила обширнейшие территории. Как эти земли покорились трусам? Тут из-под пера барона выходят страницы, одушевленные такой фантазией, что они по праву могли открыть написанные много позднее русские главы «Удивительных приключений барона Мюнхгаузена».

Оказывается, русское войско никогда не одержало бы ни одной победы, если бы не иностранные наемники. В первую очередь немцы. Вдохновенно рассказывается история некоего пушкаря Иоганна, который при осаде Рязани войском крымского хана самолично «выстрелил из выстроенных в ряд орудий», чем привел татар в такой ужас, что они «разбежались прочь от крепости».

И так каждый раз: когда московиты «в совершенном отчаянии» готовились — по своему обыкновению — бежать, находился какой-нибудь бравый Иоганн и в одиночку вырывал победу у неприятеля.

Иной раз история ставила перед Герберштейном, казалось бы, неразрешимую задачу. Ведь русские, случалось, побивали и немцев. «Доблестное» и «стойкое» войско Ливонского ордена. Но хитроумный барон недаром был дипломатом. Все дело в том, сообщает он, что в рядах немцев в подобных случаях оказывался изменник. Какой-нибудь злодей передавался русским, так вот именно из-за этого проигрывалось сражение.

Это не просто наивное германофильство. Автор «Записок» убежден и других убеждает — русский человек лишен волевого начала. В любой ситуации он не субъект, а объект чьей-то чужой воли.

Вот мы и подошли к главному. Ясно, что автор «Записок» несправедлив. Это легко обнаруживается при сопоставлении с книгами объективных наблюдателей. Например, с описанием России, составленным православным священником из Сирии Павлом Алеппским. Благородство и простота, сила веры и врожденная любовь к прекрасному — такие качества русского человека открывает и выделяет этот вдумчивый, наблюдательный путешественник. Однако мало констатировать пристрастность Герберштейна, надо уяснить причину такого отношения.

Отказывая русским в собственной воле, сообразительности, смелости, барон глядит на нас глазами потенциального завоевателя. Точнее, он выступает пропагандистом грядущих завоеваний. Обмануть русских, использовать их для достижения австрийских целей в центральной Европе — это, так сказать, задача-минимум. Но очень уж заманчиво было пойти дальше, захватить этот богатейший рынок, и не только рынок.

Рынок отправились завоевывать сразу — английский купец Ричард Ченслер предпринял свое путешествие, прочитав книгу Герберштейна. Ему удалось утвердиться в России и добиться особых привилегий для английских купцов.

Но не только торговцы зачастили к нам из Европы. Бескрайние просторы России манили западных завоевателей. Поляки, шведы, немцы, французы — сколько этих злых, беспощадных волн нахлынуло к нам за прошедшие столетия. Конечно, большинство завоевателей и не читало книгу австрийского барона. Но они твердо усвоили сформулированную им мысль: русские — нация рабов, и хотели, на свой лад, облагодетельствовать их, сделавшись господами.

Впрочем, не следует недооценивать прямое, вдохновляющее агрессоров агитационное воздействие книг такого рода. Расскажу еще одну историю.

Спустя три века после Герберштейна в Россию прибыл путешественник, книге которого суждено было стать не только всеевропейским бестселлером, но и своего рода символом отношения Запада к России.

Его появлению предшествовала «легенда» настолько привлекательная, что ее до сих пор регулярно воспроизводят исследователи. Хотя она разлетается вдребезги при сопоставлении с простейшими анкетными данными. «Легенда» такова: потомок французских аристократов, пострадавших в революцию 1789 годе, убежденный монархист, отправился в Россию как в землю обетованную. Однако увиденное там повергло его в ужас и сделало непримиримым врагом восточной деспотии.

Читатели, наверное, поняли, что речь о маркизе Астольфе де Кюстине. Его предки действительно были аристократами. Однако принадлежали к той меньшей части родового дворянства, которая примкнула к революции и деятельно служила ей до тех пор, пока не была в свою очередь уничтожена машиной репрессий. Отец и дед маркиза были казнены, но не как роялисты, а как заподозренные в измене предводители революционной армии. Пользуясь терминологией новейшего бестселлера, автора «России в 1839 году» можно с известной долей условности назвать сыном детей Арбата.

Что до врожденного монархизма, то вряд ли такой человек заслужил бы пламенную любовь московских либералов, в частности Грановского. А они дарили маркиза своей любовью еще до российского «перерождения».

Обычно путешественники, отправляясь в дорогу, не измышляют себе хитроумные легенды. Но маркиза трудно назвать простым путешественником, к тому же он ехал в Россию в непростое время. Книга, которую Кюстин привез по возвращении в Европу, называлась «Россия в 1839 году», но не одну, а десятки книг можно было бы написать под общим заглавием: «Россия и Европа в 1839 году». И не только в тридцать девятом — в период с 1815 по 1856 год.

Это было время беспримерного возвышения страны, вершина, достичь которой она уже не смогла ни в XIX, ни в нынешнем столетии. Победа над Наполеоном и послевоенный Венский конгресс закрепили ее главенствующую роль в Европе. Но сорокалетие русской славы сопровождалось непрерывной чередой истеричных антирусских кампаний в западной прессе и постоянными закулисными маневрами европейской дипломатии с целью создания коалиции против России. Деятельная поддержка польского восстания 1830-31 года, интенсивное перевооружение Турции и натравливание ее на Россию, послужившее одной из причин русско-турецкой войны 1828—29 годов,— лишь несколько фрагментов этой деятельности.

Вот в какое время отправился в Россию французский маркиз, поклонник побежденного Кутузовым Наполеона. Он еще не ступил на нашу землю, но произнес свой приговор этой земле. Маркиз беспощаден: «Я невольно спрашивал себя, чем так жестоко провинился человек перед господом богом, что 60 миллионов ему подобных обречены на жизнь в России?» Эта тирада произнесена на борту корабля, подплывающего к Петербургу.

Едва завидев Кронштадт — морской форпост России,— Кюстин восклицает: «Еще не коснувшись этого малопривлекательного берега, хочется уже от него удалиться». Этот мотив станет сквозным в записках Кюстина. «Жалкие, чахлые березы», «безотрадные» берега — Россия предстает в книге проклятой землей, краем света, пригодным разве что для обитания антиподов. Все попытки обмануть природу, украсить бесплодную землю городами, построенными в европейском стиле, автор с ходу объявляет неудачными. «...Подражание классической архитектуре... просто шокирует»,— заключает он, едва бросив взгляд на Петербург. «Глупое подражание», «все показное», «исключительно неприятное впечатление» — вариации темы бесчисленны.

Но Россия — это не только проклятая земля, это народ рабов. Проведя день в Петербурге, маркиз итожит: «...Весь русский народ от мала до велика опьянен своим рабством до потери сознания». Впрочем, для подобного заключения ему не требовалось и дня — он в прямом смысле слова привез его в своем кармане. Кюстин ссылается на книжку, читанную на пароходе. Догадайтесь, чью? Ну, конечно же, Герберштейна. Подобные «беспристрастные очевидцы» ходят след в след, даже если между ними дистанция в три столетия. Ведь у них одна цель, и они идут к ней кратчайшим путем.

Собственно, Кюстин мог бы и не сходить на берег — основные темы его памфлета намечены еще на корабле. Дальнейшие главы — лишь многословная разработка.

История путешествий, наверное, не знает второго такого случая. Путешественник едет в страну, одна мысль о которой вызывает у него содрогание. Едет, несмотря на то, что не связан никакими обязательствами, не имеет — Кюстин тщательно подчеркивает это — никакой конкретной цели.

Необъяснимо! Следует предположить, что цель все-таки была, И достаточно очевидная — оживить, придать красочную достоверность простенькому сюжету легенды о монархисте, отправившемся припасть к русской земле и разочаровавшемся в своих иллюзиях. После этого можно было и возопить, как Иов на пепелище, привлекая внимание европейских читателей, которых уже не трогала привычная газетная пропаганда, направленная против России.

Не следовало бы раскрывать карты в первых же главах. Но... французы так темпераментны! «Я, как француз» — беспрестанно повторяет Кюстин, исполненный восторга от принадлежности к своей нации; и впрямь счастье, переполняющее автора, столь велико, что он не задумываясь нарушает правила политико-литературной игры.

Между прочим, в чем-то Кюстин пошел дальше Герберштейна. Обогатил его арсенал новейшей теорией. В описание противостояния Европы и России он вносит расовые мотивы, теперь, после Гитлера, столь знакомые человечеству. Уже на корабле, глядя на русских матросов, маркиз замечает: «...казавшихся по своему облику людьми какой-то особой, чуждой нам расы...» Дальнейшие наблюдения привели его к мысли, что это и не люди вовсе: «Население, состоящее из автоматов...».

Книга Кюстина вышла в 1843 году. А спустя ровно десять лет французские и английские войска высадились в Крыму. Им предстояло убить как можно больше русских. И они знали — в окопах, по другую сторону фронта, сидят автоматы. Стрельба по такой цели не должна вызывать неприятных эмоций.

Думаю, нелишним будет уточнение: в числе «движущихся целей» на русской стороне фронта был молодой артиллерийский офицер граф Лев Толстой...

К началу войны книга Кюстина была переведена на все основные европейские языки. Ее тираж достиг баснословной в прошлом веке цифры — двести тысяч экземпляров. Последнее прижизненное издание вышло в 1854 году. Потом наступил перерыв. Больше в то время не требовалось. В России уже шла война.

В наши дни вновь зазвучало имя Кюстина. «Чрезвычайно проницательная книга

маркиза де Кюстина»; «книга маркиза Астольфа де Кюстина «Россия в 1839 году», написанная им после посещения страны, наводит на мысль о поразительной преемственности между политикой России в XIX в. и политикой сегодняшнего Советского Союза... Оценку де Кюстина царского режима можно с легкостью экстраполировать и на советский опыт».

Откуда это? Из новейшего шедевра «русистики» — «Большого провала» Збигнева Бжезинского.

Как будто бы книга Бжезинского посвящена кризису современного марксизма. А это уже никак не русское изобретение, что вынужден признать автор на первых же страницах. Но так велико искушение похоронить вместе с «Капиталом» и русский дух, усмотреть в крахе западного учения поражение ненавистной России.

Небольшой идеологический кульбит — и желаемое достигнуто: «Хотя марксизм зародился в Западной Европе, его адаптация восточной деспотической политической культурой России огрубила его изначально гуманистическую ориентацию». А дальше — уже по хорошо знакомым образцам. Но представьте, до чего велика нелюбовь к нашей стране, если убежденный антикоммунист готов признать «гуманистическую ориентацию» подлинного марксизма, чтобы тем вернее обличить его искажения русской деспотией.

На страницах книги разыгрывается любопытная душевная драма. Идеолог вступает в конфликт с националистом, русофоб борется с антикоммунистом. И русофоб побеждает! Первоначальный, в заглавии обозначенный сюжет отодвигается на задний план. О Марксе, чей портрет с советскими пятаками на глазах помещен на обложке, автор под конец и не вспоминает. Вся сила его ненависти сконцентрирована на России.

Раз уж политик-практик, человек с холодной головой и железными нервами, не в силах справиться с русофобией, можно представить, какая страшная сила заключена в этом иррациональном чувстве, как много определяет оно в отношениях между странами и народами.

Разумеется, это лишь часть эмоционального спектра отношения людей Запада к России. Европа обратилась к нашей стране не только неприязненно любопытным лицом барона Герберштейна, — мудрым, исполненным любви и сострадания ликом Максима Грека, приехавшего к нам в том же XVI веке.

Россия стала средоточием нравственных исканий Квирина Кульмана (XVII в.) и Франца Баадера (XIX в.)— наследников мистической традиции Якова Беме, этой наиболее утонченной духовно ветви германской философии. Выдающийся поэт-мыслитель Райнер-Мария Рильке пылко клялся: «Если бы я пришел в этот мир как пророк, я бы всю жизнь проповедовал Россию как избранную страну...»

В этом устремлении лучших творческих сил Европы к русскому духовному источнику можно различить два уровня. Эстетический — восхищение художественными ценностями нашей культуры. Крупнейший французский поэт и теоретик искусства Поль Валери рассматривал русскую литературу XIX века как одно из трех чудес мировой культуры — в ряду с искусством Древней Греции и шедеврами европейского Ренессанса.

Но и более всеобъемлющее чувство было знакомо европейским мыслителям и художникам, в первую очередь немецким. «Я внутренне настолько полон Россией и одарен ее красотой, что, находясь за границей, я едва ли буду замечать что-либо», — признавался Рильке. «Трудно высказать, сколько новизны в этой стране и сколько будущности»; «она открыла мне ни с чем не сравнимый мир, мир неслыханных измерений... Благодаря свойствам русских людей я почувствовал себя допущенным в человеческое братство»; «у меня такое ощущение, как будто я увидел работу Творца», — этими восторженными признаниями переполнены статьи и письма Рильке.

И как ответный дар, как щедрый отзыв на восторженную любовь к России дается удивительное прозрение, позволяющее в совершенно новом для европейца свете увидеть русский характер с его вошедшим в поговорки смирением. Более того, через осмысление русского национального характера западному сознанию приоткрываются начала общечеловеческой мудрости. Рильке писал друзьям: «Во всем русском есть великая гордость, но думали ли вы когда-нибудь о том, что гордость и смирение — почти одно и то же... А чувствовали ли вы когда-нибудь, что к этому возрению можно прийти в России, **только** в России? Перед маленькой часовней Иверской Богоматери в Москве: коленопреклоненные люди в ней выше тех, которые стоят, а те, что склоняются, выпрямляются до гигантской величины: так это бывает в России».

Какой контраст с памфлетами русофобов! Какой резкой чертой отношение к нашей стране делит западное общество. Конечно же, такая поляризация не случайна. В этом споре в конечном счете решался вопрос о выборе приоритетов развития самого Запада. Удастся ли утвердить в этом прагматическом обществе начало живой жизни, «мир неслыханных измерений», идеал «человеческого братства», или же окончательно восторжествует механистическая вещная цивилизация и ее порождение — мировой самодовольный мещанин.

Творческие, духовные силы Запада глядели на Россию с надеждой и любовью. Но не они определяли политику государств, разрушительная сила оружия и денег неподвластна рукам художника. Она у тех, кто смотрит на нашу землю глазами Герберштейна, Кюстина, Бжезинского. Из века в век повторялось: алчный взгляд европейца — и доверчивый, восторженный блеск в широко распахнутых глазах славянина. И всякий раз такая встреча была началом трагедии.

*Солдату надлежит быть здорову, храбру, тверду, решительну, правдиву, благочестиву.*

*А. В. Суворов. Наука побеждать.*





Еще вчера лицемерно превозносимая с высоких трибун, а сегодня с этих же трибун поносимая, армия, под прицельным огнем газетных и журнальных полос, под пулями экстремистов, оставаясь армией Державы, выполняет свою ежедневную, священную работу — работу сохранения Отечества.

Фото В. Хабарова



